БАЛЬЗАК

19

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 24 ТОМАХ

ТОМ 19

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

Философские этюды

ЭЛИКСИР ДОЛГОЛЕТИЯ

Зимним вечером дон Хуан Бельвидеро угощал одного из князей д'Эсте в своем пышном феррарском палаццо. В ту эпоху праздник превращался в изумительное зрелище, устраивать которое мог лишь неслыханный богач или могущественный князь. Семеро женщин вели веселую, приятную беседу вокруг стола, на котором горели благовонные свечи; по сторонам беломраморные изваяния выделялись на красной облицовке стен и контрастировали с богатыми турецкими коврами. Одетые в атлас, сверкающие золотом, убранные драгоценными каменьями,— менее яркими все же, чем их глаза,— всем своим видом эти семь женщин повествовали о страстях, одинаково сильных, но столь же разнообразных, сколь разнообразна была их красота. Их слова, их понятия сходствовали между собой; но выражение лица, взгляд, какой-нибудь жест или оттенок в голосе придавали их речам беспутный, сладострастный, меланхолический или задорный характер.

Казалось, одна говорила: «Моя красота согреет оледенелое сердце старика».

Другая: «Мне приятно лежать на подушках и опьяняться мыслью о тех, кто меня обожает».

Третья, еще новичок на этих празднествах, краснела: «В глубине сердца слышу голос совести! — как бы говорила она.— Я католичка и боюсь ада. Но вас я так люблю, так люблю, что ради вас готова пожертвовать и вечным спасением».

Четвертая, опустошая кубок хиосского вина, воскли-

цала: «Да здравствует веселье! С каждой зарей обновляется моя жизнь. Не помня прошлого, каждый вечер, еще пьяная после вчерашних поединков, я снова до дна пью блаженную жизнь, полную любви!»

Женщина, сидевшая возле Бельвидеро, метала на него пламя своих очей. Она безмолвствовала. «Мне не понадобятся bravi [1], чтобы убить любовника, ежели он меня покинет!» Она смеялась, но ее рука судорожно ломала чеканную золотую бонбоньерку.

— Когда станешь ты герцогом? — спрашивала шестая у князя, сверкая хищной улыбкой и очами, полными вакхического бреда.

— Когда же твой отец умрет? — со смехом говорила седьмая, пленительным, задорным движением кидая в дон Хуана букет. Эта невинная девушка привыкла играть всем священным.

— Ах! Не говорите мне о нем! — воскликнул молодой красавец дон Хуан Бельвидеро.— На свете есть только один бессмертный отец, и, на беду мою, достался он именно мне!

Крик ужаса вырвался у семи феррарских блудниц, у друзей дон Хуана и самого князя. Лет через двести, при Людовике XV, франты расхохотались бы над подобной выходкой. Но, может быть, в начале оргии еще попросту не совсем замутились души? Несмотря на пламя свечей, на страстные возгласы, на блеск золотых и серебряных ваз, на хмельное вино, несмотря на то, что взорам являлись восхитительнейшие женщины,— может быть, сохранялась в глубине этих сердец чуточка стыда перед людским и божеским судом — до тех пор, пока оргия не затопит ее потоками искрометного вина! Однако цветы уже измялись и глаза стали шалыми,— опьянели уже и сандалии, как выражается Рабле. И вот в тот миг, когда господствовало молчание, открылась дверь, и, как на пиршестве Валтасара, явился сам дух божий в образе старого седого слуги с колеблющейся походкой и насупленными бровями; он вошел уныло, и от взгляда его поблекли венки, кубки рдеющего вина, пирамиды плодов, блеск празднества, пурпуровый румянец изумленных лиц и яркие ткани подушек, служивших опорою белым

---

[1] Наемные убийцы *(итал.)*.

женским плечам; и весь этот сумасбродный праздник подернулся флером, когда слуга глухим голосом произнес мрачные слова:

— Ваша светлость, батюшка ваш умирает...

Дон Хуан поднялся, послав гостям молчаливый привет, который можно было истолковать так: «Простите, подобные происшествия случаются не каждый день».

Нередко смерть отца застает молодых людей среди праздника жизни, на лоне безумной оргии. Смерть столь же прихотлива, как своенравная блудница; но смерть более верна и еще никого не обманула.

Закрыв за собой дверь залы и направившись по длинной галерее, темной и холодной, дон Хуан пытался принять надлежащую осанку: ведь войдя в роль сына, он вместе с салфеткой отбросил свою веселость. Чернела ночь. Молчаливый слуга, провожавший молодого человека к спальне умирающего, настолько слабо освещал путь своему хозяину, что смерть, найдя себе помощников в стуже, безмолвии и мраке, а может быть, и в упадке сил после опьянения, успела навеять на душу расточителя некоторые размышления: вся его жизнь возникла перед ним, и он стал задумчив, как подсудимый, которого ведут в трибунал.

Отец дон Хуана, Бартоломео Бельвидеро, девяностолетний старик, большую часть своей жизни потратил на торговые дела. Изъездив вдоль и поперек страны Востока, прославленные своими талисманами, он приобрел там не только несметные богатства, но и познания, по его словам, более драгоценные, чем золото и бриллианты, которыми он уже не интересовался. «Для меня каждый зуб дороже рубина, а сила дороже знания»,— улыбаясь, восклицал он иногда. Снисходительному отцу приятно было слушать, как дон Хуан рассказывал о своих юношеских проделках, и он шутливо говаривал, осыпая сына золотом: «Дитя мое, занимайся только глупостями, забавляйся, мой сын!» То был тот редкий случай, когда старик любуется юношей; с отеческой любовью взирая на блистательную жизнь сына, он забывал о своей дряхлости. В прошлом, когда Бартоломео достиг шестидесятилетнего возраста, он влюбился в ангела кротости и красоты. Дон Хуан оказался единственным плодом этой поздней и кратковременной любви. Уже пятна-

дцать лет оплакивал старик кончину милой своей Хуаны. Многочисленные его слуги и сын объясняли стариковским горем странные привычки, которые он усвоил. Удалившись в наименее благоустроенное крыло дворца, Бартоломео покидал его лишь в самых редких случаях, и даже дон Хуан не смел проникнуть в его апартаменты без особого разрешения. Когда же добровольный анахорет проходил по двору или по улицам Феррары, то казалось, что он чего-то ищет; он ступал задумчиво, нерешительно, озабоченно, подобно человеку, борющемуся с какой-нибудь мыслью или воспоминанием. Меж тем как молодой человек давал пышные празднества и палаццо оглашалось радостными кликами, а конские копыта стучали на дворе, и пажи ссорились, играя в кости на ступеньках лестницы, Бартоломео за целый день съедал лишь семь унций хлеба и пил одну лишь воду. Иногда полагалось подавать ему птицу, но лишь для того, чтобы он мог бросить кости своему верному товарищу — черному пуделю. На шум он никогда не жаловался. Если во время болезни звук рога и лай собак нарушали его сон, он ограничивался словами: «А, это дон Хуан возвращается с охоты!» Никогда еще не встречалось на свете отца, столь покладистого и снисходительного, поэтому, привыкнув бесцеремонно обращаться с ним, юный Бельвидеро приобрел все недостатки избалованного ребенка; как блудница с престарелым любовником, держал он себя с отцом, улыбкою добиваясь прощения за наглость, торгуя своей нежностью и позволяя себя любить. Мысленно восстанавливая картины юных своих годов, дон Хуан пришел к выводу, что доброта его отца безупречна. И чувствуя, пока он шел по галерее, как в глубине сердца рождаются угрызения совести, он почти прощал отцу, что тот зажился на свете. Он вновь обретал в себе сыновнюю почтительность, как вор готовится стать честным человеком, когда предвидит возможность пожить на припрятанные миллионы. Вскоре молодой человек достиг высоких и холодных зал, из которых состояли апартаменты его отца. Вдоволь надышавшись сыростью, затхлостью, запахом старых ковровых обоев и покрытых пылью и паутиной шкафов, он очутился в жалкой спальне старика, перед тошнотворно пахнущей постелью, возле полуугасшего очага. На столике готической

формы стояла лампа, время от времени она освещала ложе вспышками света, то ярче, то слабее, каждый раз по-новому обрисовывая лицо старика. Сквозь плохо прикрытые окна свистел холодный ветер, и снег хлестал по стеклам с глухим шумом. Эта картина создавала такой резкий контраст празднику, только что покинутому дон Хуаном, что он не мог сдержать дрожи. А затем его пронизал холод, когда он подошел к постели и при сильной вспышке огня, раздуваемого порывом ветра, увидел голову отца: уже черты лица его осунулись, а кожа, плотно обтянувшая кости, приобрела страшный, зеленоватый цвет, еще более заметный из-за белизны подушки, на которой покоилась голова старика; из полуоткрытого и беззубого рта, судорожно сведенного болью, вырывались вздохи, сливавшиеся с воем метели. Даже в последние мгновения жизни его лицо сияло невероятным могуществом. Высшие духовные силы боролись со смертью. Глубоко впавшие от болезни глаза сохраняли необычайную живость. Своим предсмертным взглядом Бартоломео как бы старался убить врага, усевшегося у его постели. Острый и холодный взор был еще страшнее из-за того, что голова оставалась неподвижной, напоминая череп, лежащий на столе у врача. Под складками одеяла ясно вырисовывалось тело старика, такое же неподвижное. Все умерло, кроме глаз. Невнятные звуки, исходившие из его уст, носили как бы механический характер. Дон Хуан немножко устыдился, что подходит к ложу умирающего отца, не сняв с груди букета, брошенного ему блудницей, принося с собой благоухание праздника и запах вина.

— Ты веселился! — воскликнул отец, приметив сына.

В ту же минуту легкий и чистый голос певицы, которая пела на радость гостям, поддержанный аккордами ее виолы, возобладал над воем урагана и донесся до комнаты умирающего... Дон Хуану хотелось бы заглушить этот чудовищный ответ на вопрос отца.

Бартоломео сказал:

— Я не сержусь на тебя, дитя мое.

От этих нежных слов не по себе стало дон Хуану, который не мог простить отцу его разящей, как кинжал, доброты.

— О, как совестно мне, отец! — сказал он лицемерно.

— Бедняжка Хуанино,— глухо продолжал умирающий,— я всегда был с тобою так мягок, что тебе незачем желать моей смерти!

— О! — воскликнул дон Хуан.— Я отдал бы часть своей собственной жизни, только бы вам вернуть жизнь! «Что мне стоит это сказать! — подумал расточитель.— Ведь это все равно, что дарить любовнице целый мир!»

Едва он так подумал, залаял старый пудель. От его умного лая задрожал дон Хуан — казалось, пес проник в его мысли.

— Я знал, сын мой, что могу рассчитывать на тебя! — воскликнул умирающий.— Я не умру. Да, ты будешь доволен. Я останусь жить, но это не будет стоить ни одного дня твоей жизни.

«Он бредит»,— решил дон Хуан.

Потом добавил вслух:

— Да, мой обожаемый отец, вы проживете еще столько, сколько проживу я, ибо ваш образ непрестанно будет пребывать в моем сердце.

— Не о такой жизни идет речь,— сказал старый вельможа, собираясь с силами, чтобы приподняться на ложе, ибо в нем возникло вдруг подозрение — одно из тех, что рождаются лишь в миг смерти.— Выслушай меня, мой сын,— продолжал он голосом, ослабевшим от этого последнего усилия,— я отказался бы от жизни так же неохотно, как ты — от любовниц, вин, коней, соколов, собак и золота...

«Разумеется»,— подумал сын, становясь на колени у постели и целуя мертвенно бледную руку Бартоломео.

— Но, отец мой, дорогой отец,— продолжал он вслух,— нужно покориться воле божьей.

— Бог — это я! — пробормотал в ответ старик.

— Не богохульствуйте! — воскликнул юноша, видя, какое грозное выражение появилось на лице старика.— Остерегайтесь, вы удостоились последнего миропомазания, и я не мог бы утешиться, если бы вы умерли без покаяния.

— Выслушай же меня! — воскликнул умирающий со скрежетом зубовным.

Дон Хуан умолк. Воцарилось ужасное молчание. Сквозь глухой свист ветра еще доносились аккорды вио-

лы и прелестный голос, слабые, как утренняя заря. Умирающий улыбнулся.

— Спасибо тебе, что ты пригласил певиц, что ты привел музыкантов! Праздник, юные и прекрасные женщины, черные волосы и белая кожа! Все наслаждения жизни. Вели им остаться, я оживу...

«Бред все усиливается»,— подумал дон Хуан.

— Я знаю средство воскреснуть. Поищи в ящике стола, открой его, нажав пружинку, прикрытую грифом.

— Открыл, отец.

— Возьми флакон из горного хрусталя.

— Он в моих руках.

— Двадцать лет потратил я на...— В эту минуту старик почувствовал приближение конца и собрал все силы, чтобы произнести: — Как только я испущу последний вздох, тотчас же ты натрешь меня всего этой жидкостью, и я воскресну.

— Здесь ее не очень много,— ответил юноша.

Хотя Бартоломео уже не мог говорить, он сохранил способность слышать и видеть; в ответ на слова сына голова старика с ужасной быстротой повернулась к дон Хуану, и шея застыла в этом повороте, как у мраморной статуи, которая по мысли скульптора обречена смотреть в сторону; широко открытые глаза приобрели жуткую неподвижность. Он умер, умер, потеряв свою единственную, последнюю иллюзию. Ища убежища в сердце сына, он обрел могилу глубже той, которую выкапывают для покойников. И вот ужас разметал его волосы, а глаза, казалось, говорили. То был отец, в ярости взывавший из гробницы, чтобы потребовать у бога отмщения!

— Эге! Да он кончился! — воскликнул дон Хуан.

Спеша поднести к свету лампы таинственный хрустальный сосуд, подобно пьянице, который смотрит на свет бутылку в конце трапезы, он и не заметил, как потускнели глаза отца. Раскрыв пасть, пес поглядывал то на мертвого хозяина, то на эликсир, и точно так же сын смотрел поочередно на отца и на флакон. От лампы лился мерцающий свет. Все вокруг молчало, виола умолкла. Бельвидеро вздрогнул, ему показалось, что отец шевельнулся. Испуганный застывшим выражением глаз-обвинителей, он закрыл отцу веки; так закрывают ставни, если они стучат на ветру в осеннюю ночь. Дон Хуан стоял

прямо, неподвижно, погруженный в целый мир мыслей. Резкий звук, подобный скрипу ржавой пружины, внезапно нарушил тишину. Захваченный врасплох, дон Хуан едва не выронил флакон. Вдруг его с ног до головы обдало потом, который был холоднее, чем сталь кинжала. Раскрашенный деревянный петух поднялся над часами и трижды пропел. То был искусный механизм, будивший ученых, когда полагалось им садиться за занятия. Уже порозовели стекла от зари. Десять часов провел дон Хуан в размышлениях. Старинные часы вернее, чем он, исполняли свой долг по отношению к Бартоломео. Их механизм состоял из деревяшек, блоков, веревок и колесиков, а в дон Хуане был механизм, именуемый «человеческое сердце». Чтобы не рисковать потерею таинственной жидкости, скептик дон Хуан вновь спрятал ее в ящик готического столика. В эту торжественную минуту до него донесся из галереи глухой шум, неявственные голоса, подавленный смех, легкие шаги, шуршание шелка — словом, слышно было, что приближается веселая компания. Дверь открылась, вошел князь, друзья дон Хуана, семь блудниц и певицы, образуя беспорядочную группу, как танцоры на балу, врасплох захваченные утренними лучами, когда солнце борется с бледными огоньками свечей. Они все явились, чтобы, как это полагается, выразить наследнику свое соболезнование.

— Ого! Бедняжка дон Хуан, должно быть, принимает эту смерть всерьез? — сказал князь на ухо Брамбилле.

— Но ведь его отец был в самом деле очень добр,— ответила она.

Между тем от ночных дум на лице дон Хуана появилось такое странное выражение, что вся компания умолкла. Мужчины стояли неподвижно, а женщины, хотя их губы иссохли от вина, а щеки, как мрамор, покрылись розовыми пятнами от поцелуев, преклонили колена и принялись молиться. Дон Хуан невольно содрогнулся при виде того, как роскошь, радость, улыбки, песни, юность, красота, власть — все, олицетворяющее жизнь, пало ниц перед смертью. Но в восхитительной Италии беспутство и религия сочетались друг с другом так легко, что религия становилась беспутством и беспутство — религией! Князь сочувственно пожал руку дон Хуану;

потом на всех лицах мелькнула одна и та же полупечальная, полуравнодушная гримаса, и фантасмагорическое видение исчезло, зала опустела. То был образ самой жизни. Сходя по лестнице, князь сказал Ривабарелле:

— Странно! Кто подумал бы, что дон Хуан мог похвалиться безбожием? Он любит отца.

— Обратили вы внимание на черного пса? — спросила Брамбилла.

— Богатствам его счету нет теперь,— со вздохом заметила Бьянка Каватолино.

— Велика важность! — воскликнула горделивая Варонезе, та самая, которая сломала бонбоньерку.

— Велика ли важность? — воскликнул герцог.— Благодаря своим червонцам он стал таким же могущественным властелином, как я!

Сначала дон Хуан, колеблясь между тысячью мыслей, не знал, какое решение принять. Но советчиками его сделались скопленные отцом сокровища, и, когда он вернулся вечером в комнату покойника, душа его была уже полна ужасающего эгоизма. В зале слуги подбирали украшения для того пышного ложа, на котором покойной светлости предстояло быть выставленной напоказ, среди множества пылающих свечей, чтобы вся Феррара могла любоваться этим занимательным зрелищем. Дон Хуан подал знак, и челядь остановилась, онемев и дрожа.

— Оставьте меня здесь одного,— сказал он странно изменившимся голосом,— вы войдете сюда потом, когда я выйду отсюда.

Лишь только шаги старого слуги, ушедшего последним, замерли вдалеке на каменных плитах пола, дон Хуан поспешно запер дверь и, уверившись в том, что никого, кроме него, здесь нет, воскликнул:

— Попытаемся!

Тело Бартоломео покоилось на длинном столе. Чтобы спрятать от взоров отвратительный труп дряхлого и худого, как скелет, старика, бальзамировщики покрыли тело сукном, оставив открытой одну только голову. Это подобие мумии лежало посреди комнаты, и хоть мягкое сукно неявственно обрисовывало очертания тела, видно было, какое оно угловатое, жесткое и тощее. Лицо уже

покрылось большими лиловатыми пятнами, напоминавшими о том, что необходимо поскорее закончить бальзамирование. Хотя дон Хуан и вооружен был скептицизмом, но он дрожал, откупоривая волшебный хрустальный сосуд. Когда он приблизился к голове, то был принужден передохнуть минуту, так его лихорадило. Но его уже в эти юные годы до мозга костей развратили нравы беспутного двора; и вот размышления, достойные герцога Урбинского, придали ему храбрости, поддержанной к тому же острым любопытством; казалось, что сам демон шепнул ему слова, отозвавшиеся в сердце: «Смочи ему глаз!» Он взял полотенце и, осторожно обмакнув самый кончик его в драгоценную жидкость, легонько провел им по правому веку трупа. Глаз открылся.

— Ага! — произнес дон Хуан, крепко сжимая в руке флакон, как мы во сне хватаемся за сук, поддерживающий нас над пропастью.

Он увидел глаз, ясный, как у ребенка, живой глаз мертвой головы, свет дрожал в нем среди свежей влаги; и, окаймленный прекрасными черными ресницами, он светился подобно тем одиноким огонькам, что зимним вечером видит путник в пустынном поле. Сверкающий глаз, казалось, готов был броситься на дон Хуана, он мыслил, обвинял, проклинал, угрожал, судил, говорил; он кричал, он впивался в дон Хуана. Он был обуреваем всеми страстями человеческими. Он выражал то нежнейшую мольбу, то царственный гнев, то любовь девушки, умоляющей палачей о помиловании,— словно это был глубокий взгляд, который бросает людям человек, поднимаясь на последнюю ступеньку эшафота. Столько светилось страсти в этом обломке жизни, что дон Хуан в ужасе отступил; он прошелся по комнате, не смея взглянуть на глаз, видневшийся ему повсюду: на полу, на потолке и на стенных коврах. Всю комнату усеяли искры, полные огня, жизни, разума. Повсюду сверкали глаза и преследовали его, как затравленного зверя.

— Он прожил бы еще сто лет! — невольно воскликнул дон Хуан в ту минуту, когда дьявольская сила опять привлекла его к ложу отца и он вглядывался в эту светлую искорку.

Вдруг веко, в ответ на его слова, закрылось и открылось вновь, как то бывает у женщины, выражающей со-

гласие. Если бы дон Хуан услышал «да!», он не так испугался бы.

«Как быть?» — подумал он.

Он храбро протянул руку, чтобы закрыть белеющее веко. Усилия его оказались тщетными.

«Раздавить глаз? Не будет ли это отцеубийство?» — задал он себе вопрос.

«*Да*»,— ответил глаз, подмигнув с жуткой насмешливостью.

— Ага! — воскликнул дон Хуан. — Здесь какое-то колдовство!

Он подошел ближе, чтобы раздавить глаз. Крупная слеза потекла по морщинистой щеке трупа и упала на ладонь Бельвидеро.

— Какая жаркая слеза! — воскликнул он, садясь. Этот поединок его утомил, как будто он, наподобие Иакова, боролся с ангелом. Наконец он поднялся, говоря: — Только бы не было крови.

Потом, собрав в себе все мужество, необходимое для подлости, он, не глядя, раздавил глаз при помощи полотенца. Нежданно раздался чей-то ужасный стон. Взвыв, издох пудель.

«Неужели он был сообщником этой тайны?» — подумал дон Хуан, глядя на верную собаку.

Дон Хуан Бельвидеро прослыл почтительным сыном. Он воздвиг на могиле отца памятник из белого мрамора и поручил выполнение фигур знаменитейшим ваятелям того времени. Полное спокойствие он обрел лишь в тот день, когда статуя отца, склонившая колена перед изображением Религии, огромной тяжестью надавила на могилу, где сын похоронил единственный укор совести, тревоживший его сердце в минуту телесной усталости. Произведя подсчет несметным богатствам, которые скопил старый знаток Востока, дон Хуан стал скупцом: ведь ему нужны были деньги на целые две жизни человеческие. Его глубоко испытующий взгляд проник в сущность общественной жизни и тем лучше постиг мир, что видел его сквозь замогильный мрак. Он стал исследовать людей и вещи, чтобы раз навсегда разделаться с прошлым, о котором представление дает история, с настоящим, образ которого дает закон, с будущим, тайну которого открывают религии. Душу и материю бросил

он в тигель, ничего в нем не обнаружил и с тех пор сделался истинным *дон Хуаном!*

Став владыкой всех житейских иллюзий, молодой, красивый, он ринулся в жизнь, презирая свет и овладевая светом. Его счастье не могло ограничиться мещанским благополучием, которое довольствуется неизменной вареной говядиной, грелкой — на зиму, лампой — на ночь и новыми туфлями — каждые три месяца. Нет, он постиг смысл бытия! — так обезьяна хватает кокосовый орех и без промедления ловко освобождает плод от грубой шелухи, чтобы заняться сладкой мякотью. Поэзия и высшие восторги страсти были уже не для него. Он не повторял ошибок тех властителей, которые, вообразив, что маленькие душонки верят в души великие, решают разменивать высокие мысли будущего на мелкую монету нашей повседневной жизни. Конечно, и он мог, подобно им, ступая по земле, поднимать голову до небес, но предпочитал усесться и осушать поцелуями нежные женские губы, свежие и благоуханные; где он ни проходил, повсюду он, подобно Смерти, все бесстыдно пожирал требуя себе любви-обладания, любви восточной, с долгими и легкими наслаждениями. В женщинах он любил только *женщину*, и ирония стала его обычной манерой. Когда его возлюбленные превращали ложе любви в средство для взлета на небо, чтобы забыться в пьянящем экстазе, дон Хуан следовал за ними с той серьезностью, простодушием и откровенностью, какую умеет напустить на себя немецкий студент. Но он говорил *Я*, когда его возлюбленная безумно и страстно твердила *Мы*! Он удивительно искусно позволял женщине себя увлечь. Он настолько владел собой, что внушал ей, будто бы дрожит перед нею, как школьник, который, впервые в своей жизни танцуя с молодой девушкой, спрашивает ее: «Любите ли вы танцы?» Но он умел и зарычать, когда это было нужно, и вытащить из ножен шпагу, и разбить статую командора. Его простота заключала в себе издевательство, а слезы — усмешку; умел он и заплакать в любую минуту, вроде той женщины, которая говорит мужу: «Заведи мне экипаж, иначе я умру от чахотки». Для негоциантов мир — это тюк товаров или пачка кредитных билетов, для большинства молодых людей — женщина, для иных женщин — мужчина, для остря-

ков — салон, кружок, квартал, город; для дон Хуана вселенная — это он сам. Образец изящества и благородства, образец чарующего ума, он готов был причалить лодку к любому берегу; но когда его везли, он плыл только туда, куда сам хотел. Чем дольше он жил, тем больше во всем сомневался. Изучая людей, он видел, что часто храбрость — не что иное, как безрассудство, благоразумие — трусость, великодушие — хитрость, справедливость — преступление, доброта — простоватость, честность — предусмотрительность; люди действительно честные, добрые, справедливые, великодушные, рассудительные и храбрые, словно по воле какого-то рока, нисколько не пользовались уважением.

«Какая же все это холодная шутка! — решил он.— Она не может исходить от бога».

И тогда, отказавшись от лучшего мира, он уже не обнажал головы, если перед ним произносили священное имя, и статуи святых в церквах стал считать только произведениями искусства. Однако, отлично понимая механизм человеческого общества, он никогда не вступал в открытую борьбу с предрассудками, ибо он не мог противостоять силе палача; но он изящно и остроумно обходил общественные законы, как это отлично изображено в сцене с господином Диманшем. И в самом деле, он сделался типом в духе мольеровского Дон Жуана, гетевского Фауста, байроновского Манфреда и матюреновского Мельмота. Великие образы, начертанные величайшими талантами Европы, образы, для которых никогда не будет недостатка в аккордах Моцарта, а может быть, и в лире Россини! Эти грозные образы, увековеченные существующим в человеке злым началом, переходят в копиях из века в век: то этот тип становится посредником между людьми, воплотившись в Мирабо, то действует исподволь по способу Бонапарта, то преследует вселенную иронией, как божественный Рабле, или, чаще, смеется над людьми, вместо того чтобы издеваться над порядками, как маршал де Ришелье, а еще чаще глумится и над людьми и над порядками, как знаменитейший из наших посланников. Но глубокий гений дон Хуана Бельвидеро предвосхитил все эти гении вместе. Он надо всем смеялся. Жизнь его стала издевательством над людьми, порядками, установлениями и идеями.

А что касается вечности, то он однажды непринужденно беседовал полчаса с папой Юлием II и, улыбаясь, заключил беседу такими словами:

— Если уж безусловно надо выбирать, я предпочел бы верить в бога, а не в дьявола: могущество, соединенное с добротой, все же обещает больше выгод, чем дух зла.

— Да, но богу угодно, чтобы в этом мире люди каялись...

— Вечно вы думаете о своих индульгенциях,— ответил Бельвидеро.— Для раскаяния в грехах моей первой жизни у меня имеется про запас еще целая жизнь.

— Ах, если так ты понимаешь старость,— воскликнул папа,— то, чего доброго, будешь причислен к лику святых...

— Все может статься, раз вы достигли папского престола.

И они отправились посмотреть на рабочих, воздвигающих огромную базилику св. Петра.

— Святой Петр —гениальный человек, вручивший нам двойную власть,— сказал папа дон Хуану.— Он достоин этого памятника. Но иногда ночью мне думается, что какой-нибудь новый потомок смоет это все губкою и придется все начинать сначала...

Дон Хуан и папа расхохотались, они поняли друг друга. Человек глупый пошел бы на следующий день развлечься с Юлием II у Рафаэля или на прелестной вилле «Мадама», но Бельвидеро пошел в собор на папскую службу, чтобы еще укрепиться в своих сомнениях. Во время кутежа папа мог бы сам себя опровергнуть и заняться комментариями к Апокалипсису.

Впрочем, мы пересказываем эту легенду не для того, чтобы снабдить будущих историков материалами о жизни дон Хуана, наша цель — доказать честным людям, что Бельвидеро вовсе не погиб в единоборстве с каменной статуей, как это изображают иные литографы. Достигнув шестидесятилетнего возраста, дон Хуан Бельвидеро обосновался в Испании. Здесь на старости лет он взял себе в жены молодую, пленительную андалузку. Но он рассчитал, что не стоит быть хорошим отцом, хорошим супругом. Он замечал, что нас нежно любят только женщины, на которых мы мало обращаем внимания. Воспитанная в правилах религии старухой теткой

в глуши Андалузии, в замке неподалеку от Сан-Лукара, донья Эльвира была сама преданность, само очарование. Дон Хуан предугадывал в девушке одну из тех женщин, которые, прежде чем уступить страсти, долго борются с нею, и поэтому он надеялся сберечь ее верность до самой смерти. Эта его шутка была задумана всерьез, как своего рода партия в шахматы; он приберег ее на последние дни жизни. Наученный всеми ошибками своего отца Бартоломео, дон Хуан решил, что в старости все его поведение должно содействовать успешному развитию драмы, которой суждено было разыграться на его смертном ложе. Поэтому большую часть богатств своих он схоронил в подвалах феррарского палаццо, редко им посещаемого. А другую половину своего состояния он поместил в пожизненную ренту, чтобы жена и дети были заинтересованы в длительности его жизни,— хитрость, к которой надлежало бы прибегнуть и его отцу; но в этой макиавеллической спекуляции особой надобности не оказалось. Юный Филипп Бельвидеро, его сын, вырос в такой же мере религиозным испанцем, в какой отец его был нечестив, как бы оправдывая пословицу: у скупого отца сын расточитель. Духовником герцогини де Бельвидеро и Филиппа дон Хуан избрал санлукарского аббата. Этот церковнослужитель, человек святой жизни, отличался высоким ростом, удивительной пропорциональностью телосложения, прекрасными черными глазами и напоминал Тиберия чертами лица, изможденного от постов и бледного от постоянных истязаний плоти; как всем отшельникам, ему были знакомы повседневные искушения. Может быть, старый вельможа рассчитывал, что успеет еще присоединить к своим деяниям и убийство монаха, прежде чем истечет срок его первой жизни. Но то ли аббат обнаружил силу воли, не меньшую, чем у дон Хуана, то ли донья Эльвира оказалась благоразумнее и добродетельнее, чем полагается быть испанкам, во всяком случае дон Хуану пришлось проводить последние дни у себя дома в мире и тишине, как старому деревенскому попу. Иногда он с удовольствием находил у сына и жены погрешности в отношении религии и властно требовал, чтобы они выполняли все обязанности, налагаемые Римом на верных сынов церкви. Словом, он чувствовал себя совершенно счастливым, слушая, как га-

лантный санлукарский аббат, донья Эльвира и Филипп обсуждают какой-нибудь вопрос совести. Но сколь чрезмерно ни заботился о своей особе сеньор дон Хуан Бельвидеро, настали дни дряхлости, а вместе со старческими болезнями пришла пора беспомощным стонам, тем более жалким, чем ярче были воспоминания о кипучей юности и отданных сладострастью зрелых годах. Человек, который издевательски внушал другим веру в законы и принципы, им самим предаваемые осмеянию, засыпал вечером, произнося: *быть может!* Образец хорошего светского тона, герцог, не знавший устали в оргиях, великолепный в .. волокитстве, встречавший неизменное расположение женщин, чьи сердца он так же легко подчинял своей прихоти, как мужик сгибает ивовый прут,— этот гений не мог избежать неизлечимых мокрот, докучливого воспаления седалищного нерва, жестокой подагры. Он наблюдал, как зубы у него исчезают один за другим,— так по окончании вечеринки одна за другой уходят белоснежные и расфранченные дамы, и зал остается пустым и неприбранным. Наконец, стали трястись его дерзкие руки, стали подгибаться стройные ноги, и однажды вечером апоплексический удар сдавил ему шею своими ледяными, крючковатыми пальцами. Начиная с этого рокового дня он сделался угрюм и жесток. Он усомнился в преданности сына и жены, порой утверждая, что их трогательные, деликатные, столь щедрые и нежные заботы объясняются только пожизненной рентой, в которую вложил он свое состояние. Тогда Эльвира и Филипп проливали слезы и удваивали уход за хитрым стариком, который, придавая нежность своему надтреснутому голосу, говорил им:

— Друзья мои, милая жена, вы меня простите? Я вас мучаю немножко! Увы! Великий боже! Ты избрал меня орудием, чтобы испытать эти небесные создания! Их утешением нужно бы мне быть, а я стал их бичом...

Таким способом приковывал он их к изголовью своего ложа и за какой-нибудь час, пуская в ход все новые сокровища своего обаяния и напускной нежности, заставлял их забывать целые месяцы бессердечных капризов. То была отеческая система, увенчавшаяся несравнимо более удачными результатами, чем та, которую когда-то к нему самому применял его отец. Наконец болезнь

достигла такой степени, что, укладывая его в постель, приходилось с ним возиться, точно с фелугой, когда она входит в узкий фарватер. А затем настал день смерти. Блестящий скептик, у которого среди ужаснейшего разрушения уцелел один только разум, теперь переходил в руки то к врачу, то к духовнику, внушавшим ему одинаково мало симпатий. Но он встречал их равнодушно. За покровом будущего не искрился ли ему свет? На завесе, свинцовой для других, прозрачной для него, легкими тенями играли восхитительные утехи его юности.

Однажды, в прекрасный летний вечер, дон Хуан почувствовал приближение смерти. Изумительною чистотой сияло небо Испании, апельсиновые деревья благоухали, трепещущий и яркий свет струили звезды,— казалось, вся природа дает верный залог воскрешения; послушный и набожный сын смотрел на него любовно и почтительно. К одиннадцати часам отец пожелал остаться наедине с этим чистосердечным существом.

— Филипп,— сказал он голосом настолько нежным и ласковым, что юноша вздрогнул и заплакал от счастья; суровый отец еще никогда так не произносил: *Филипп!*— Выслушай меня, сын мой,— продолжал умирающий.— Я великий грешник. Оттого всю свою жизнь я думал о смерти. В былые годы я дружил с великим папой Юлием Вторым. Преславный глава церкви опасался, как бы крайняя моя вспыльчивость не привела меня к смертному греху перед самой кончиной, уже после миропомазания, и он подарил мне флакон со святой водой, некогда брызнувшей в пустыне из скалы. Я сохранил в тайне это расхищение церковных сокровищ, но мне разрешено было открыть тайну своему сыну in articulo mortis [1]. Ты найдешь фиал в ящике готического стола, который стоит у изголовья моей постели. Драгоценный хрусталь еще окажет услугу тебе, возлюбленный Филипп. Клянись мне вечным спасением, что в точности исполнишь мою волю!

Филипп взглянул на отца. Дон Хуан умел различать выражения чувств человеческих и мог почить в мире, вполне доверившись подобному взгляду, меж тем как его отец умер в отчаянии, поняв по взгляду своего сына, что ему довериться нельзя.

---

[1] В смертный час *(лат.)*.

— Другого отца был бы ты достоин,— продолжал дон Хуан.— Отважусь признаться, дитя мое, что, когда почтенный санлукарский аббат провожал меня в иной мир последним причастием, я думал, что несовместимы две столь великие власти, как власть дьявола и бога...

— О! Отец!

— ...и рассуждал: когда сатана будет заключать мир, то непременным условием поставит прощение своих приверженцев, иначе он оказался бы самым жалким существом. Мысль об этом меня преследует. Значит, я пойду в ад, сын мой, если ты не исполнишь моей воли.

— О! Отец! Скорей же сообщите мне вашу волю!

— Едва я закрою глаза, быть может, через несколько минут,— продолжал дон Хуан,— ты поднимешь мое тело, еще не остывшее, и положишь его на стол, здесь посреди комнаты. Потом погасишь лампу; света звезд тебе будет достаточно. Ты снимешь с меня одежду и, читая *Pater* и *Ave* [1], а в то же время душу свою устремляя к богу, ты тщательно смочишь этой святой водой мои глаза, губы, всю голову, затем постепенно все части тела; но, дорогой мой сын, могущество божье так безмерно, что не удивляйся ничему!

В этот миг, чувствуя приближение смерти, дон Хуан добавил ужасным голосом:

— Смотри, не оброни флакона!

Затем он тихо скончался на руках у сына, проливавшего обильные слезы на ироническое и мертвенно бледное его лицо.

Было около полуночи, когда дон Филипп Бельвидеро положил труп отца на стол. Поцеловав его грозный лоб и седеющие волосы, он погасил лампу. При мягком свете луны, причудливые отблески которой ложились на поля, благочестивый Филипп неясно различал тело отца, белеющее в темноте. Юноша смочил полотенце жидкостью и с молитвой, среди глубокого молчания, послушно совершил омовение священной для него головы. Он явственно слышал какие-то странные похрустывания, но приписывал их ветерку, играющему верхушками деревьев. Когда же он смочил правую руку, то ощутил, как мощно охватила его шею молодая и сильная рука —

---

[1] «Отче наш» и «Богородица» *(лат.)*.

рука отца! Он испустил раздирающий крик и выпустил флакон, который разбился. Жидкость поднялась паром. Сбежалась вся челядь замка с канделябрами в руках. Крик поверг их в ужас и изумление, как если бы сама вселенная содрогнулась при трубном звуке Страшного суда. В одно мгновение комната наполнилась народом. Трепещущая от страха толпа увидала, что дон Филипп лежит без чувств, а его держит могучая рука отца, сдавившая ему шею. А затем присутствующие увидали нечто сверхъестественное: лицо дон Хуана было юно и прекрасно, как у Антиноя,— черные волосы, блестящие глаза, алый рот; но голова ужасающе шевелилась, будучи не в силах привести в движение связанный с нею костяк.

Старый слуга воскликнул:

— Чудо!

И все испанцы повторили:

— Чудо!

Донья Эльвира при своем благочестии не могла допустить мысли о чудесах магии и послала за санлукарским аббатом. Когда приор собственными глазами убедился в чуде, то, будучи человеком неглупым, решил извлечь из него пользу: о чем же и заботиться аббату, как не об умножении доходов? Он тотчас объявил, что дон Хуан безусловно будет причислен к лику святых, и назначил торжественную церемонию в монастыре, которому, по его словам, отныне предстояло именоваться монастырем святого Хуана Лукарского. При этих словах покойник скорчил шутовскую гримасу.

Всем известно, до чего испанцы любят подобного рода торжества, а потому нетрудно поверить в то, какими религиозными феериями отпраздновало санлукарское аббатство перенесение тела *блаженного дон Хуана Бельвидеро* в церковь. Через несколько дней после смерти знаменитого вельможи из деревни в деревню на пятьдесят с лишком миль вокруг Сан-Лукара стремительно распространилось известие о чуде его частичного воскресения, и сразу же необыкновенное множество зевак потянулось по всем дорогам; они подходили со всех сторон, приманиваемые пением *Te Deum*[1] при свете факелов. Построенное маврами изумительное здание старинной мечети в санлукарском монастыре, своды которой

[1] Тебе, бога [хвалим] — католический гимн (*лат.*).

уже три века оглашались именем Иисуса Христа, а не Аллаха, не могло вместить толпу, сбежавшуюся поглядеть на церемонию. Как муравьи, собрались идальго в бархатных плащах, вооруженные своими славными шпагами, и стали вокруг колонн, ибо места не находилось, чтобы преклонить колена, которые больше нигде ни перед чем не преклонялись. Очаровательные крестьянки в коротеньких расшитых юбочках, которые обрисовывали их заманчивые формы, приходили под руку с седовласыми старцами. Рядом с расфранченными старухами сверкали глазами молодые люди. Были здесь и парочки, трепещущие от удовольствия, и сгорающие от любопытства невесты, приведенные женихами, и вчерашние новобрачные; дети, боязливо взявшиеся за руки. Вся эта толпа, привлекающая богатством красок, поражающая контрастами, убранная цветами и пестрая, неслышно двигалась среди ночного безмолвия. Распахнулись широкие церковные двери. Запоздавшие остались на паперти и издали, через три открытых портала, смотрели на зрелище, о котором лишь слабое понятие дали бы воздушные декорации современных опер. Святоши и грешники, спеша заручиться милостями новоявленного святого, зажгли в его честь множество свечей по всей обширной церкви — корыстные приношения, придававшие монументальному зданию волшебный вид. Чернеющие аркады, колонны и капители, глубокие ниши часовен, сверкающие золотом и серебром, галереи, мавританская резьба, тончайшие детали этих тонких узоров — все вырисовывалось благодаря чрезвычайному обилию света,— так в пылающем костре возникают прихотливые фигуры. Над этим океаном огней господствовал в глубине храма золоченый алтарь, где возвышался главный престол, который своим сиянием мог поспорить с восходящим солнцем. В самом деле, сверкание золотых светильников, серебряных канделябров, хоругвей, свисающих кистей, статуй святых и ex voto [1] бледнело перед ракою, в которой положен был дон Хуан. Тело безбожника сверкало драгоценными каменьями, цветами, хрусталем, бриллиантами, золотом, перьями, белоснежными, как крылья серафима, и заняло на престоле то место, которое отведено

[1] Приношения по обету *(лат.)*

изображению Христа. Вокруг горели бесчисленные свечи, распространяя волнами сияние. Почтенный санлукарский аббат, облекшись в одежды священнослужителя, в митре, изукрашенной дорогими самоцветами, в ризе и с золотым крестом, восседал, как владыка алтаря, в царственно пышном кресле, среди клира бесстрастных седовласых старцев, одетых в тонкие стихари и окружавших его, как на картинах святители группами стоят вокруг творца. Староста певчих и должностные лица капитула, убранные блестящими знаками своего церковного тщеславия, двигались среди облаков ладана, подобно светилам, свершающим свой ход по небесному своду. Когда наступил час великого прославления, колокола разбудили окрестное эхо, и многолюдное собрание кинуло господу первый клик хвалы, которым начинается «Te Deum laudamus» [1]. Какая возвышенность в этом клике! Голосам чистейшим и нежным, голосам женщин, молящихся в экстазе, мощно и величаво вторили мужчины. Тысячи громких голосов не мог покрыть орган, как ни гудели его трубы. И лишь пронзительные ноты, выводимые хором мальчиков, да плавные возгласы первых басов, вызывая прелестные представления, напоминая о детстве и о силе, выделялись среди восхитительного концерта голосов человеческих, слитых в едином чувстве любви:

— Te Deum laudamus!

Из собора, где чернели коленопреклоненные мужские и женские фигуры, неслось пение, подобное вдруг сверкнувшему в ночи свету, и как будто раскаты грома нарушали молчание. Голоса поднялись ввысь вместе с облаками ладана, набросившими прозрачное голубоватое покрывало на фантастические чудеса архитектуры. Повсюду богатство, благоухание, свет и мелодичные звуки! В то мгновение, когда музыка любви и признательности вознеслась к престолу, дон Хуан, чересчур вежливый, чтобы пренебречь благодарностью, чересчур умный, чтобы не понять этого глумления, разразился в ответ ужасающим хохотом и небрежно развалился в раке. Но так как дьявол внушил ему мысль, что он рискует быть принятым за самого обыкновенного человека, за одного из святых, за какого-нибудь Бонифация или за Панталео-

---

[1] Тебе, бога, хвалим! *(лат.)*

не, он нарушил мелодию воем, к которому присоединилась тысяча адских голосов.

Земля благословляла, небо проклинало.

Дрогнули древние основания церкви.

— Te Deum laudamus! — гласило собрание.

— Идите вы ко всем чертям, скоты! Все бог да бог! Carajos demonios [1], животные, дурачье вы все, вместе с вашим дряхлым богом!

И вырвался поток проклятий, подобно пылающей лаве при извержении Везувия.

— Deus sabaoth!.. sabaoth! [2]—воскликнули верующие.

— Вы оскорбляете величие ада! — ответил дон Хуан, заскрежетав зубами.

Вскоре ожившая рука высунулась из раки и жестом, полным отчаяния и иронии, пригрозила собравшимся.

— Святой благословляет нас! — сказали старухи, дети и женихи с невестами, люди доверчивые.

Вот как мы ошибаемся, поклоняясь кому-нибудь. Выдающийся человек глумится над теми, кто его восхваляет, а иногда восхваляет тех, над кем глумится в глубине души.

Когда аббат, простершись перед престолом, пел: «Святый Иоанне, моли бога о нас!» — до него явственно донеслось:

— O coglione [3].

— Что там происходит? — воскликнул заместитель приора, заметив какое-то движение в раке.

— Святой беснуется,— ответил аббат.

Тогда ожившая голова с силой оторвалась от мертвого тела и упала на желтый череп священнослужителя.

— Вспомни о донье Эльвире! — крикнула голова, вонзая зубы в голову аббата.

Тот испустил ужасный крик, прервавший церемонию. Сбежались все священники.

— Дурак, вот и говори, что бог существует! — раздался голос в ту минуту, когда аббат, укушенный в мозг, испускал последнее дыхание.

Париж, октябрь 1830 г.

---

[1] Испанское ругательство.
[2] Бог Саваоф!.. Саваоф!
[3] Дурак *(итал.)*.

ИИСУС ХРИСТОС ВО ФЛАНДРИИ

Марселине Деборд-Вальмор.
Вам, дочери Фландрии, ее нынешней славе, посвящается эта простодушная фландрская легенда.

В незапамятные времена истории Брабанта жители острова Кадзант могли попадать на побережье Фландрии, только переправляясь на лодке. Мидельбург — столица острова, прославленная впоследствии в анналах протестантизма,— насчитывал в ту пору всего лишь двести или триста дворов. Богатый ныне Остенде был тогда безвестной гаванью, у которой раскинулось небольшое селение, где жили рыбаки, бедные торговцы и дерзкие корсары. И тем не менее в этом селении, состоявшем из двух десятков домов и трехсот хижин, крытых соломой и сколоченных из обломков разбитых кораблей, был свой наместник, своя милиция, виселица, монастырь, бургомистр — словом, все признаки развитой цивилизации. Кто правил в ту пору Брабантом, Фландрией, Бельгией? Об этом история умалчивает. Признаться ли? От нашей легенды исходит странный аромат неясного, неопределенного и чудесного — того, чем дышали предания замечательных певцов, которые множество раз скрашивали долгие фламандские вечера своими песнями, столь же ярко расцвеченными поэзией, сколь противоречивыми в описании событий. Передаваясь из уст в уста, от поколения к поколению, эта легенда в каждом веке обретала новые краски. Подобная старинным памятникам

архитектуры, построенным по прихоти зодчих разных эпох и пленяющим воображение поэтов своими мрачными и причудливыми формами, такая хроника способна привести в отчаяние историков и прочих придирчивых исследователей текстов, фактов и дат. Однако рассказчик простодушно ей верит, как верили ей суеверные жители Фландрии, не становясь от этого ни ученее, ни невежественнее.

Невозможно было согласовать между собой все версии легенды, и в нашем изложении она теряет, быть может, свою неповторимую романтическую свежесть, зато сохранила смелость вымысла, рожденного воображением и опровергнутого историей, истинно христианскую мораль и скрытый смысл, покоряющий даже холодный разум. Пусть каждый возьмет на себя труд найти в ней пищу по своему вкусу и выбрать из плевел доброе семя.

Лодка, перевозившая путешественников с острова Кадзант в Остенде, собиралась отчалить. Прежде чем сбросить железную цепь, которой лодка была привязана к каменной тумбе на молу, перевозчик несколько раз протрубил в рожок, созывая опоздавших, ибо эта переправа сегодня была последней. Близилась ночь, в последних лучах заходящего солнца едва виднелись берега Фландрии, и трудно было разглядеть, не бредет ли еще кто-нибудь из запоздалых путников вдоль земляных изгородей, окружавших поля, или же в высоком болотном тростнике. Лодка была уже полна, и кто-то крикнул: «Чего мы ждем? Отчаливай!» В эту минуту в нескольких шагах от мола появился человек; перевозчик, не заметивший его раньше, удивился. Этот человек словно вдруг вырос из-под земли, точно крестьянин, который прилег в поле в ожидании отъезда и встрепенулся при звуке рожка. Уж не вор ли он? А может быть, таможенник или стражник? Когда он подошел к тумбе, к которой была привязана лодка, семь человек, стоявшие на корме, торопливо расселись на скамьях, чтобы не подпустить к себе чужого. Мысль об этом возникла у них инстинктивно и одновременно, мысль, которая может прийти на ум только аристократам и богачам. Четверо из этой компании принадлежали к высшей знати Фландрии. Среди них был молодой рыцарь с двумя великолепными борзыми. На его длинных волосах красовалась

шапочка, усеянная драгоценными камнями; он позванивал золотыми шпорами и с заносчивым видом покручивал ус, окидывая своих спутников презрительным взглядом. Сидевшая подле него надменная девушка не расставалась с соколом, которого она держала на руке, и обращалась лишь к своей матери и важному духовному лицу, видимо, родственнику. Все четверо громко переговаривались, словно были в лодке одни. А между тем тут же находился и закутанный в широкий плащ тучный буржуа из Брюгге — особа весьма значительная в этих краях. Вооруженный до зубов, его слуга поставил у своих ног два мешка, набитых деньгами. Немного подальше уселся ученый муж, доктор наук Лувенского университета, с книгами в руках, в сопровождении своего писца. Скамья с гребцами отделяла всех этих людей, втайне презиравших друг друга, от носовой части лодки.

Шагнув в лодку, запоздавший путник бросил быстрый взгляд на корму, убедился, что здесь сесть ему негде, и перебрался на нос, чтобы попросить себе места там. На носу приютился бедный люд. Увидев человека с непокрытой головой, в скромном платье из коричневого камлота и простых брыжжах из накрахмаленного полотна, без шляпы в руке, без кошелька и меча у пояса, все подумали, что это какой-нибудь бургомистр, пользующийся большим весом среди своих сограждан, спокойный и приветливый, похожий на тех старых фламандцев, чьи открытые лица запечатлели для нас художники этой страны. Простые люди встретили незнакомца с почтительностью, вызвавшей насмешливый шепот пассажиров на корме. Старый солдат, истомленный долголетним трудом, встал и пересел поближе к борту, стараясь сохранить равновесие, для чего уперся ногами в перекладины, имевшие форму рыбьих костей и служившие для скрепления досок лодки. Молодая женщина с ребенком, видимо, принадлежавшая к ремесленному сословию Остенде, потеснилась, чтобы дать больше места вновь прибывшему. В этом движении не было ни угодливости, ни презрения. Оно свидетельствовало о том, что бедняки, столь бесхитростные в выражении и добрых и дурных чувств и чьи сердца столь правдивы и искренни, умеют ценить услугу и братскую заботу. Незнакомец поблагодарил жестом, полным достоинства. Затем он расположился между

молодой матерью и старым солдатом. Позади него сидел крестьянин с десятилетним сыном. Беззаботная горемыка — старая, сморщенная нищенка в лохмотьях и с почти пустой котомкой съежилась на груде канатов у самого носа лодки. Ее пустил туда «ради бога» — по прекрасному народному выражению — один из гребцов, знававший ее некогда красивой и богатой.

— Большое спасибо тебе, Томас,— сказала старуха,— нынче вечером прочитаю за тебя дважды «Отче наш» и дважды молитву богородице.

Хозяин лодки еще раз протрубил в рожок, окинул взглядом пустынный берег, швырнул цепь себе под ноги и, пробежав вдоль борта, взялся за руль, затем, когда суденышко уже вышло в открытое море, посмотрел на небо и крикнул гребцам:

— Гребите, гребите сильнее, надо торопиться! Море — дьявольское семя — грозит непогодой! Я чую, оно так и вздымается в глубине, и раны мои заныли перед бурей.

При этих словах, произнесенных на языке моряков и понятных только ушам, привычным к шуму волн, ритмичные взмахи весел участились; если сначала можно было сравнить согласные движения гребцов с рысью лошади, то теперь они напоминали ее галоп. Сидевшие на корме забавлялись, разглядывая жилистые руки, смуглые лица, горящие глаза, напряженные мускулы людей, соединивших свои усилия, чтобы за ничтожную плату перевезти их через пролив. Чуждые сострадания, высокородные пассажиры смеялись, показывая друг другу измученные, искаженные страшной натугой лица матросов. А солдат, крестьянин и старуха смотрели на гребцов с естественным сочувствием тружеников, знакомых с лихорадочным напряжением изнурительной, тяжелой работы. Привыкшие к жизни под открытым небом, они вскоре поняли по виду облаков, что им грозит опасность, и насторожились. Молодая мать укачивала ребенка, напевая мелодию старинного церковного гимна.

— Если мы доберемся до берега,— сказал солдат крестьянину,— значит, господь бог крепко постарался, чтобы не дать нам протянуть ноги.

— Да, он наш владыка,— ответила нищенка,— но сдается мне, что он торопится призвать нас к себе. По-

смотри-ка туда, на это зарево! — И движением головы она указала на запад, где сверкали огненные зарницы, прорезая красновато-бурые тучи, вот-вот готовые разразиться яростным ливнем. Глухой рокот моря напоминал угрожающее ворчание собаки. До Остенде было уже не так далеко. В эту минуту небо и море являли собой одно из тех зрелищ, перед которыми живопись и поэзия равно бессильны. Человек в своем творчестве жаждет мощных контрастов. Отчаявшись запечатлеть высокую поэзию будничного течения жизни, художники ищут самых ярких ее проявлений, забывая, что покой и тишина порой так же глубоко волнуют душу человека, как смятение и буря. Была минута, когда все в лодке невольно умолкли, всматриваясь в море и небо, под влиянием то ли какого-то предчувствия, то ли набожной грусти, охватывающей почти всех нас в часы молитвы на исходе дня, когда затихает природа и заговаривают колокола. Море слабо светилось, переливаясь множеством тусклых оттенков свинцового цвета. Небо было сплошь серое. На западе его пересекали длинные узкие полосы, словно кровавые волны, а на востоке толпились облака, сморщенные, как чело старца, и между ними то появлялись, то исчезали блистающие, точно выведенные тонкою кистью линии. На блеклом фоне моря и неба резко выделялись зловещие огни заката. В это мгновение лик природы вселял в душу ужас. Если дозволят нам сдобрить литературную речь смелыми народными выражениями, мы повторим за солдатом, что погода сбилась с пути, или скажем вместе с крестьянином, что небо насупилось, как палач. Внезапно подул восточный ветер; рулевой, не отрывавший взгляда от моря, увидел, как оно вздулось на горизонте, и крикнул: — Хо-хо! Гребцы тотчас опустили весла в воду.

— Хозяин прав,— хладнокровно сказал Томас, когда лодка взметнулась на гребне огромной волны и затем ринулась словно на самое дно разверзнувшегося моря.

При этом неслыханном взрыве внезапного гнева океана люди, сидевшие на корме, смертельно побледнели и в страхе воскликнули: — Мы погибаем!

— Погодите, еще нет,— спокойно ответил им рулевой.

В эту минуту прямо над их головами под напором ветра разорвались тучи. Серые массы облаков со зловещей поспешностью заволокли все небо, и свет заходящего солнца, устремившись отвесно в узкую щель между ними, озарил лица людей. Все в лодке — дворяне, богачи, бедняки и матросы — невольно обратили взгляд к незнакомцу и на миг замерли от изумления. Его золотистые волосы, разделенные прямым пробором, обрамляли спокойный, чистый лоб и густыми волнами ложились на плечи; лицо его вырисовывалось на сером фоне неба, сияя возвышенной добротой и неземной любовью. В нем не было презрения к смерти — он знал, что не подвластен ей. Даже пассажиры с кормы забыли на мгновение о неумолимой и грозной ярости стихии; вскоре, однако, к ним вновь вернулось привычное себялюбие.

— Везет же этому тупому бургомистру. Он даже не замечает опасности, которая над всеми нами нависла! Он равнодушен, как скотина, и умрет без мучений,— проворчал ученый муж. Не успел он произнести эту умную фразу, как буря разразилась с диким неистовством. Ветры задули со всех сторон, лодка завертелась волчком, и в нее хлынули волны.

— Дитя мое, бедное мое дитя! Кто спасет его? — воскликнула мать душераздирающим голосом.

— Вы сами,— ответил чужеземец.

Его голос проник в сердце молодой женщины и вселил в нее надежду; она услышала эти сладостные слова, несмотря на завывание урагана и крики своих спутников.

— Пресвятая дева, заступница Антверпенская, жертвую тысячу фунтов воска и поставлю тебе статую, если ты вызволишь меня отсюда! — воскликнул житель Брюгге, стоя на коленях на своих мешках с золотом.

— Да нет ее, пресвятой девы, ни здесь, ни в Антверпене,— ответил ему ученый.

— Она на небесах,— произнес голос, который, казалось, донесся со дна морского.

— Кто это сказал?

— Это голос дьявола,— вскричал слуга,— он смеется над пресвятой девой Антверпенской!

— Да оставьте вы в покое свою пресвятую деву,— сказал перевозчик пассажирам,— возьмите-ка лучше чер-

паки и выкачивайте воду из лодки. А вы, ребята,—обратился он к гребцам,— поднажмите! У нас минута передышки, так давайте же во имя сатаны, который еще держит вас на этом свете, послужим сами себе провидением. Всем известно, что этот узкий пролив дьявольски опасен, вот уже тридцать лет моя лодка бороздит его. И не впервой мне воевать со штормом!

Стоя у руля, перевозчик попеременно вглядывался то в лодку, то в море и небо.

— Хозяин вечно над всем насмехается,— сказал вполголоса Томас.

— Неужели господь бог допустит, чтобы мы погибли вместе со всем этим сбродом? — спросила рыцаря надменная девушка.

— Нет, нет, благородная госпожа, послушайте-ка меня! — Он привлек ее к себе за талию и прошептал ей на ухо: — Я отлично плаваю, только молчите! Я зажму в руке ваши прекрасные волосы и тихонько поплыву с вами к берегу; но спасти я могу только вас одну.

Девушка взглянула на свою старую мать. Та на коленях просила отпущения грехов у епископа, который ее не слушал. Рыцарь прочитал в глазах своей прекрасной дамы слабый проблеск дочернего чувства и промолвил, понизив голос:

— Покоритесь воле божией! Если он хочет призвать к себе вашу мать, то, без сомнения, для ее же счастья... на том свете,— сказал он еще тише.— Да и для нашего на этом,— добавил он в душе. Ведь дама из Рюпельмонда была собственницей семи обширных владений, не считая баронского поместья близ Гавра. Девушка прислушивалась к голосу, сулившему ей жизнь и любовь, к голосу статного искателя приключений, юного нечестивца, который и в церковь-то ходил ради поживы — в поисках богатой невесты или блестящих звонких денье. Епископ осенял крестным знамением бурные воды и, не зная иного средства, приказывал им утихнуть. Мысленно он видел свою наложницу, поджидавшую его с изысканным ужином; быть может, в этот час она принимала ванну, душилась, облачалась в бархат или примеряла свои ожерелья и другие драгоценности. Далекий от помышлений о могуществе святой церкви и от того, чтобы утешить своих ближних, призывая их положиться

на милость господню, развратный епископ примешивал к священным словам молитвы слова плотской любви и сожалений о мирских усладах.

Слабый свет озарял бледные лица, отражавшие противоречивые чувства. Внезапно волна взметнула суденышко высоко в воздух, затем швырнула его в пропасть, и, содрогаясь, словно осенний лист под ударами холодного ветра, лодка треснула, готовая развалиться на куски. Отчаянные вопли погибающих сменялись минутами зловещей тишины. Простые люди с носовой части лодки являли своим поведением разительный контраст богатым и знатным, сидевшим на корме. Мать прижимала ребенка к груди каждый раз, когда волны угрожали поглотить утлый челнок; но в сердце у нее таилась надежда, которую заронили слова чужеземца; она устремила к нему свой взгляд и исполнилась веры, сильной веры слабой женщины — веры матери. Уповая на божественное слово, слово любви, слетевшее с уст этого человека, простодушное создание доверчиво ожидало обещанного им и почти уже не испытывало страха. Точно пригвожденный к борту лодки, солдат не сводил глаз с бесстрастных черт необыкновенного человека; на грубом загорелом лице солдата отражались проснувшиеся ум и воля, пронесенные нерастраченными через всю жизнь, полную смирения и труда. Стремясь подражать спокойствию и мужеству высшего существа, он бессознательно приобщился к тайному источнику духовной силы. Его восхищение вылилось в безграничное, фанатическое поклонение и веру в этого человека; так солдаты проникаются восторженной любовью к своему полководцу, когда он, в расцвете своих сил, овеянный славой, одерживает блистательные победы одну за другой. Старая нищенка бормотала:

— Ах, я, бесстыжая греховодница! Разве искупить мне нечестивые утехи моей юности? Зачем, злосчастная, вела ты разгульную жизнь, словно валлийка, пировала на церковные денежки с монахами и на бедняцкие гроши с ненасытными сборщиками налогов! Да, тяжка моя вина! Господи боже, дай мне отстрадать за мои грехи в этой земной юдоли! Пресвятая дева, матерь божья, смилостивься надо мной!

— Успокойся, мать, господь бог не ростовщик. Хоть

я уложил на своем веку немало людей, и дурных и хороших, я не боюсь страшного суда.

— Ох, господин солдат, повезло же этим благородным дамам, возле них епископ, святой человек,— продолжала старуха,— он-то уж отпустит им грехи. Вот если бы и мне услышать от священника: твои грехи отпустятся тебе,— я бы ему поверила!

Чужеземец обернулся к ней, и она затрепетала под его милосердным взглядом.

— Преисполнитесь веры,— произнес он,— и обретете спасение.

— Да наградит вас бог, добрый господин,— ответила женщина.— Если вы сказали правду, я за вас и за себя готова дойти босиком до самой божьей матери Лоретской.

Крестьянин с сыном молча покорились воле всевышнего, привыкнув подчиняться стихии, не раздумывая, как животные. Итак, на одном конце лодки — богатство, гордыня, наука, разврат, преступление — словом, все то, что воспитывается в людях под влиянием искусства, философии, образования, высшего света и его законов; именно эти люди в смятении издавали вопли отчаяния, терзаясь убийственными сомнениями и гнетущим страхом. И рядом с ними рулевой — сильный, не ведающий сомнений человек, который верил в свою звезду и сам творил свою судьбу; он кричал «Святой черпак!» вместо «Пресвятая дева!..» и, бросая вызов природе, врукопашную сражался с морем. А на другом конце лодки — смиренные: мать, качающая на груди ребенка, улыбающегося буре; женщина, некогда беспутная, а теперь вся во власти жгучего раскаяния; покрытый шрамами воин, в воздаяние за увечья получивший лишь омоченный слезами кусок хлеба. И все же, доверив себя заботам господа бога, солдат этот беспечно шагал по жизни и радовался возможности хоть изредка утопить былую доблесть в кружке пива или похвастать перед восхищенной молодежью рассказами о прежних подвигах. Наконец, два труженика-земледельца — воплощение того тяжкого труда, на котором зиждется мир. Эти простодушные создания не пеклись о сокровищах мысли и готовы были поступиться ими ради веры, крепкой тем, что они никогда не рассуждали и не спорили о ней; совесть этих нетронутых

натур была чиста, а чувство сильно; раскаяние, невзгоды, любовь и труд помогли им закалить, очистить, удесятерить свою волю, а ведь лишь она одна напоминает в человеке то, что мудрецы именуют душой.

Когда лодка, повинуясь чудодейственному искусству рулевого, почти достигла Остенде и не более пятидесяти футов отделяли ее от берега, вихрь снова отбросил ее обратно в море, и она внезапно перевернулась. Тогда светлоликий чужеземец сказал отчаявшимся людям:

— Кто верует, тот спасется. Следуйте за мной!

И человек этот встал и твердой поступью зашагал по волнам. Молодая мать с младенцем поднялась и пошла вслед за ним. Солдат вскочил и произнес простодушно:

— Разрази меня гром! Да я пойду за тобой хоть к черту в зубы! — И он уверенно ступил в воду.

Старая грешница, веря во всемогущество бога, также двинулась за незнакомцем и пошла по морю.

Оба крестьянина подумали:

«Раз они идут по воде, почему бы и нам не попробовать?» — и оба бросились за ними.

Томас решил последовать их примеру, но он колебался в своей вере и трижды падал в воду, но трижды поднимался и затем тоже пошел по волнам. Смелый рулевой, уподобясь *рыбе-прилипале*, крепко обхватил обломок своей лодки. Скупец верил в бога и тоже встал было; но он хотел унести с собой золото, и золото увлекло его на дно морское.

Когда незнакомец призвал всех идти за ним, ученый стал смеяться над шарлатаном и теми дураками, кто поверил ему, и море поглотило нечестивца. Молодую девушку увлек в бездну ее возлюбленный. Забыв о милосердии и истинной религии, епископ и старая дама пошли ко дну, отягченные своими преступлениями, а еще больше неверием, ханжеством и приверженностью к суетным благам.

Вокруг небольшой группы верующих, твердо ступавших сухими ногами по бушующим водам, с ужасным воем неистовствовала буря. Огромные волны расступались на их пути, словно чья-то непобедимая сила укрощала океан. Сквозь туман верующие различили вдали на берегу слабый огонек, мерцавший в окне рыбацкой хижины. Каждому, кто, преодолевая страх, шел к этому огонь-

ку, чудилось, будто в грохоте урагана он слышит крик товарища: «Мужайся!» А между тем, поглощенные мыслью об опасности, они не произносили ни слова.

Но вот путники достигли берега. Когда все наконец уселись в хижине вокруг очага, они стали оглядываться, ища глазами своего светлоликого проводника. А он сидел на скале и смотрел, как налетевший шквал выбросил на берег рулевого, вцепившегося в доску с такой силой, на какую способны моряки в схватке со смертью. Тогда человек спустился со скалы, поднял полумертвого рулевого и, простерши милосердную длань над его головой, промолвил:

— На этот раз пусть будет так, но впредь поостерегись, а не то послужишь слишком дурным примером!

Он взвалил себе на плечи моряка и донес его до рыбацкой лачуги. Он постучал в дверь и попросил, чтобы несчастного впустили в скромное убежище; свершив это, Спаситель исчез. Моряки воздвигли на этом месте монастырь Милосердия, и там, как гласит легенда, долго сохранялись отпечатки ног Иисуса, оставшиеся на песке.

В 1793 году, когда в Бельгию вступили французы, монахи унесли с собой эту драгоценную реликвию, свидетельство последнего сошествия Иисуса Христа на землю.

Париж, февраль 1831 г.

КРАСНАЯ ГОСТИНИЦА

Маркизу де Кюстин.

Не помню уж теперь, в каком году парижский банкир, у которого были обширные торговые связи в Германии, чествовал одного из своих приятелей-незнакомцев, повсюду появляющихся у коммерсантов через деловую переписку. Приятель этот, глава довольно крупной нюрнбергской фирмы, оказался благодушным толстым немцем, человеком образованным и со вкусом, заядлым трубокуром с великолепной чисто нюрнбергской широкой физиономией, которую осеняли белокурые жиденькие кудряшки, падавшие на крутой, порядком облысевший лоб. Он представлял собою достойный образец сыновей целомудренной и благородной Германии, которая изобилует почтенными характерами и по-прежнему слывет миролюбивою, даже после семи нашествий. Немец смеялся простодушно, слушал внимательно, пил рьяно, и, видимо, шампанское нравилось ему не менее бледно-палевого иоганнисберга. Звали его Герман, как почти всех немцев, которых сочинители выводят в книгах. Как человек, привыкший все делать основательно, он прочно уселся за столом банкира, ел с прославленным по всей Европе немецким аппетитом, добросовестно прощаясь с кухней великого Карема. В честь гостя хозяева пригласили близких друзей — капиталистов, коммерсантов и нескольких приятных дам, милое щебетание которых и непринужденность обращения были под стать германской сердечности. Право, если бы вы, как я в тот вечер, имели удовольствие

понаблюдать за этим веселым обществом людей, спрятавших когти наживы ради наслаждения утехами жизни, трудно вам было бы возненавидеть учетный процент ростовщиков или проклинать банкротства. Злодеи не могут всегда злодействовать. Даже в шайке пиратов, должно быть, выпадают приятные часы, когда на их разбойничьем корабле вы, пожалуй, почувствуете себя как в кресле-качалке.

— Надеюсь, господин Герман расскажет нам на прощание какую-нибудь страшную-страшную историю в немецком духе.

Слова эти произнесла за десертом прелестная юная особа, белокурая и бледная, очевидно, начитавшаяся сказок Гофмана и романов Вальтера Скотта. Была она единственной дочкой банкира и свое воспитание завершала в театре Жимназ, восторгаясь пьесами, которые там ставились. В тот час все гости пребывали в счастливом состоянии ленивой неги, в которое приводит нас вкусный обед, превзошедший силу нашего пищеварения. Каждый сидел, откинувшись на спинку стула, и, деликатно положив руку на край стола, поигрывал золоченым десертным ножичком. Обычно к концу обеда, в такие минуты затишья, одни вертят в пальцах зернышко груши, другие скатывают шарики из хлебного мякиша; влюбленные составляют из кожуры фруктов бесформенные инициалы; скряги пересчитывают косточки от плодов и выстраивают их на тарелке полукругом, как драматург располагает статистов в глубине сцены. Эти маленькие радости чревоугодия упустил в своей книге Брийа-Саварен, писатель, вообще говоря, чрезвычайно добросовестный. Слуги ушли. Стол с остатками десерта напоминал эскадру после боя, когда все в ней пришло в расстройство, все разграблено, изуродовано. Блюда беспорядочно передвигали по столу, несмотря на упорные старания хозяйки дома расставить их по местам. Некоторые гости рассматривали виды Швейцарии, симметрично развешанные по серым стенам столовой. Никто не скучал. Нам еще не случалось встретить человека в унылом расположении духа, когда он переваривает изысканный обед. Всякому тогда приятно бывает посидеть в некоем кротком покое, представляющем собой золотую середину между задумчиво-

стью мыслителя и сытым спокойствием жвачного животного,— такое состояние следовало бы назвать материальной, гастрономической меланхолией. И поэтому все гости дружно повернулись к благодушному немцу, радуясь, что могут послушать какую-нибудь балладу, хотя бы и вовсе не занимательную. В подобные минуты блаженной тишины голос рассказчика как-то зачаровывает наши отяжелевшие чувства и способствует ощущению, так сказать, отрицательного счастья. Искатель всего живописного залюбовался бы этими лицами, расцветшими улыбкой, озаренными свечами и побагровевшими от вкусной еды: среди канделябров, фарфоровых корзинок, фруктов и хрусталя разнообразные их выражения были весьма занятны.

Вдруг мое воображение поразила внешность одного из гостей, сидевшего как раз напротив меня. Это был господин среднего роста, довольно тучный, с повадками биржевого маклера, несомненно, весельчак и по виду — ума весьма ограниченного. Я как-то не обращал на него внимания до этой минуты, а тут мне показалось, что его лицо — вероятно, от обманчивого света — сразу изменилось, стало землистым, покрылось лиловатыми пятнами. Точь-в-точь лицо умирающего, почти трупа. Застыв недвижно, как нарисованные фигуры диорам, он тупо уставился глазами на сверкающие грани хрустальной пробки, но было ясно, что не их он видел перед собою, а, должно быть, забылся, созерцая какое-то видение из своего будущего или прошлого. Я долго рассматривал это странное лицо и думал: «Нездоровится ему? Выпил слишком много? Разорился на понижении акций фондовой биржи? Обдумывает, как надуть кредиторов?»

— Взгляните! — сказал я своей соседке, указывая на незнакомца.— Какая физиономия! Воплощение банкротства.

— О-о! Тогда бы он был веселее,— ответила она и, грациозно покачав головкой, добавила: — Если такой человек когда-нибудь разорится, об этом надо будет протрубить по всему свету! У него в одни только поместья вложен целый миллион. Это бывший поставщик императорских армий, довольно оригинальный старик. Он женился вторым браком по расчету, и, представьте,

его жена живет с ним очень счастливо. У него хорошенькая дочка, которую он долго не желал признавать. Но после смерти сына, к несчастью, убитого на дуэли, он смирился и взял ее к себе, так как уже больше не может иметь детей. И вот девушка-бесприданница стала одной из самых богатых в Париже невест. Но этого славного человека, потерявшего единственного сына, гложет тоска, и порою он не может ее скрыть.

В эту минуту поставщик поднял на меня глаза, и от его взгляда я вздрогнул — такое в нем было мрачное раздумье. Вероятно, вся его жизнь выразилась в этом взгляде. Но вдруг лицо его повеселело, он взял в руки хрустальную пробку и, машинально закрыв ею графин с водой, стоявший перед его тарелкой, с улыбкой повернулся к г-ну Герману. Несомненно, этот человек безмятежно предавался радостям чревоугодия, в голове у него не было ни единой мысли и никаких забот.

Мне даже стало как-то стыдно, что свои познания в разгадывании характеров я расточал на такое животное, как тупоголовый финансист. Пока я был занят бесплодными френологическими наблюдениями, благодушный немец зарядил нос понюшкой табака и начал свой рассказ. Мне было бы трудно передать эту историю в тех же самых выражениях, со всеми паузами рассказчика и его многословными отступлениями. Поэтому я записал ее по-своему, изъяв все погрешности нюрнбержца и оставив лишь то, что можно было счесть поэтическим и увлекательным, с обычным простодушием писателей, забывающих поставить под заглавием своей книги: «Переведено с немецкого».

МЫСЛЬ И ДЕЙСТВИЕ

В один из последних дней вандемьера VII года республиканской эпохи, а по обычному календарю — двадцатого октября 1799 года, двое юношей, выехав утром из Бонна, на закате приближались к Андернаху, маленькому городку, расположенному на левом берегу Рейна, в нескольких милях от Кобленца. В ту пору французская армия под командой генерала Ожеро маневрировала на глазах австрийцев, занимавших правый берег реки. Главная квартира республиканской

дивизии, входившей в корпус генерала Ожеро, расположилась в Кобленце, а одна из ее полубригад стояла в Андернахе. Оба молодых путника были французы. Взглянув на их синие мундиры с белой выпушкой и красными бархатными отворотами, на их сабли, а главное — на кивера, обтянутые зеленой клеенкой и украшенные трехцветным плюмажем, даже немецкие крестьяне распознали бы в них военных врачей — людей ученых и достойных, в большинстве случаев любимых не только в армии, но и в странах, захваченных нашими войсками. В те годы многие юноши из хороших семей были оторваны от медицинской стажировки по новому закону о наборе в армию, проведенному генералом Журденом, и, разумеется, предпочитали продолжать на полях сражений занятия медициной, чем нести строевую службу, мало соответствовавшую их образованию и мирному назначению. Эти молодые почитатели науки, люди миролюбивые и услужливые, делали доброе дело в годы великих бедствий и сочувственно относились к ученой братии различных стран, по которым шествовала жестокая цивилизация Французской республики. Наши юные путешественники, оба снабженные подорожной и приказом о назначении на должность подлекаря, за подписями Ко́ста и Бернадота, направлялись в полубригаду, к которой их причислили. И тот и другой были уроженцами Бове и происходили из буржуазных семей, небогатых, но зато отличавшихся благонравием и честностью, которые в провинции передаются из поколения в поколение, составляя как бы часть родительского наследства. Прибыв на театр военных действий ранее срока, назначенного для вступления в должность, они из любопытства, свойственного молодости, совершили поездку в дилижансе до Страсбурга.

Благоразумные их родительницы позволили сыновьям взять из дому очень небольшие деньги, но они считали себя богачами, имея в кармане несколько луидоров — подлинное сокровище в те времена, ибо ассигнации обесценились до последней степени, а золото стало много дороже серебра. Оба подлекаря были не старше двадцати лет от роду и с юношеским восторгом воспринимали поэтические стороны нового своего положения. По дороге из Страсбурга в Бонн оба побывали во

дворце курфюрста и полюбовались берегами Рейна, как натуры художественные, любознательные и философического склада. Люди, избравшие себе научное поприще, бывают в этом возрасте чрезвычайно многосторонними. Даже в любовных приключениях и в путешествиях молодой подлекарь должен накапливать наблюдения, являющиеся залогом будущей его карьеры и славы. Юноши отдали дань глубокому восторгу, который обычно испытывают люди образованные, увидев берега Рейна и разнообразные швабские пейзажи между Майнцем и Кельном; природа тут богатая, на крутых холмах разбросано много памятников средневековья, кругом все зелено, и повсюду, однако ж, видны следы огня и меча. Людовик XIV и Тюренн выжгли этот прекрасный край. Там и сям чернеют развалины, свидетельствующие о гордыне или предусмотрительности версальского владыки, повелевшего снести живописные замки, которые когда-то украшали эту часть Германии. Увидев этот очаровательный лесистый край, живописные остатки средневековья, обращенные в руины, вы постигнете мечтательный и мистический дух Германии. Однако поездка двух молодых друзей в Бонн имела своей целью и удовольствие и науку. Как раз во дворце курфюрста устроен был главный госпиталь франко-голландской армии и дивизии Ожеро. Новоиспеченные подлекари отправились туда навестить товарищей, передать начальству рекомендательные письма и освоиться с первыми впечатлениями от своих обязанностей. Кстати сказать, там они, как и многие путешественники, несколько отрешились от упорного и исключительного нашего пристрастия к родным памятникам старины и красотам родной природы. Они полюбовались мраморными колоннами, украшающими дворец курфюрста, и, следуя дальше, оба дивились монументальности германского зодчества, на каждом шагу наталкиваясь на сокровища древнего или же современного искусства. Иногда дорога, по которой кружили два друга, приближаясь к Андернаху, приводила их на острую вершину гранитного утеса, вздыбленного над другими скалами. Оттуда, сквозь лесную просеку или впадину меж гор, перед ними открывалось течение Рейна в рамке из серых песчаников или зубчатых буйных зарослей. От

долин, тропинок и деревьев разливались осенние запахи, склоняющие к задумчивости, верхушки лесных чащ начинали золотиться, а кое-где уже проступали теплые, темные тона — примета старости; листья опадали, но небо было лазурно-голубым, подсохшие дороги выделялись желтыми линеечками, расчертив пейзаж, освещенный косыми лучами заходящего солнца. У самого Андернаха стояла такая тишина, как будто и не было войны, опустошавшей этот прекрасный край. Два друга свернули на тропки, проложенные козами по гребням синеватых гранитных кряжей, меж которых бурлит Рейн. Вскоре они спустились по склону на дно ущелья, к берегу реки, в том месте, где она образовала удобную для судов гавань, у которой кокетливо расположился маленький городок.

— А красивая страна эта Германия! — воскликнул один из молодых путников, по имени Проспер Маньян, завидев разноцветные домики Андернаха, собранные кучкой, как яйца в лукошке, и разделенные деревьями, садиками, цветниками. Он с удовольствием смотрел на островерхие кровли, выступавшие балки, на деревянные лестницы, на галереи теснившихся друг к другу мирных жилищ и на лодки, тихо колыхавшиеся у пристани на речной волне....

Лишь только г-н Герман произнес имя Проспера Маньяна, поставщик схватил графин, налил воды в стакан и выпил ее залпом. Я заметил быстрые его движения, и мне показалось, что руки богача слегка дрожали, а на лбу выступила испарина.

— Как фамилия этого бывшего поставщика? — спросил я у своей милой соседки.

— Тайфер,— ответила она.

— Вам нездоровится? — воскликнул я, увидев, как побледнел этот странный человек.

— Нет, нисколько,— ответил он, поблагодарив меня за внимание учтивой улыбкой.— Я слушаю,— добавил он, кивая головой гостям, так как все сразу повернулись к нему.

— Имя второго молодого человека я позабыл,— сказал г-н Герман,— но со слов Проспера Маньяна мне известно, что его спутник был смуглый и черноволосый, худощавый и веселый. С вашего позволения, я буду на-

зывать его... ну, хотя бы Вильгельмом, чтобы придать больше ясности своему рассказу.

Окрестив француза немецким именем, без всякого уважения к романтизму и его требованиям «местного колорита», толстяк немец возобновил повествование о двух подлекарях.

— Итак, когда молодые люди прибыли в Андернах, было уже совсем темно. Рассудив, что придется потерять немало времени на розыски начальства, на предъявление документов и получение билета на постой в городе, переполненном солдатами, друзья решили последнюю ночь, которой могли еще располагать по своему желанию, провести в ста шагах от Андернаха — в гостинице, пленившей их, когда они с высокого утеса любовались богатыми тонами ее окраски, казавшимися еще роскошнее в огнях заката. Вся она была окрашена в красный цвет и выделялась большим багровым пятном, резко отличавшимся и от светлых тонов городских домиков, и от зеленой листвы разнообразных деревьев, и от сероватых переливов реки. Название этой гостиницы происходило от цвета ее стен, который, должно быть, в незапамятные времена избрала фантазия ее основателя. Из довольно естественных суеверных и коммерческих соображений последующие владельцы этого заведения, хорошо известного рейнским судовщикам, старательно сохраняли его внешний облик.

Заслышав стук конских копыт, хозяин «Красной гостиницы» вышел на порог.

— Честное слово, господа,— воскликнул он,— еще немного, и пришлось бы вам ночевать под открытым небом, как большинству ваших соотечественников,— они ведь расположились на бивуаках за Андернахом! У меня полным-полно проезжих. Могу только предложить вам собственную свою комнату, если вы желаете поспать на кровати. А лошадям вашим я велю сейчас бросить во дворе соломы для подстилки. Нынче у меня и в конюшне-то спят христианские души. Вы из Франции изволили прибыть? — немного помолчав, спросил он.

— Из Бонна! — воскликнул Проспер.— И с самого утра мы ничего не ели!

— О-о! Насчет еды не беспокойтесь! — отозвался немец, закивав головой.— Из всей округи за десять миль

приезжают попировать в «Красную гостиницу». Угощу вас на славу! Подам свежую рейнскую рыбу. Чего уж тут говорить!

Поручив усталых лошадей заботам хозяина, который, однако, тщетно звал своих слуг, оба подлекаря вошли в общую залу гостиницы. Густое облако сизого дыма, окутавшее многочисленных курильщиков, сперва мешало юношам разглядеть, в какую компанию они попали; но когда оба уселись за стол с философским терпением путешественников, познавших на практике бесполезность шумных требований, сквозь дымную завесу они различили обычные приметы немецкой гостиницы: стенные часы, столы, пивные кружки, трубки с длинными чубуками, разношерстное сборище гостей — кучки евреев, немцев, топорные лица судовщиков. Как в тумане поблескивали эполеты французских офицеров; по плиточному полу позвякивали шпоры и сабли. Одни играли в карты, другие спорили либо молчали, ели, пили, прохаживались по комнате. Низенькая толстуха, несомненно, хозяйка заведения, судя по признакам, обычным для всех хозяек немецких гостиниц: черному бархатному чепчику, корсажу, шитому серебром, клубку шерсти, связке ключей, серебряной брошке, косам, уложенным вокруг головы, по всему костюму, впрочем с величайшей точностью изображенному на сотнях гравюр и поэтому не заслуживающему описания,— словом, жена трактирщика с необычайной ловкостью то успокаивала нетерпение двух друзей, то вновь возбуждала его. Шум постепенно стихал, проезжие разошлись по комнатам, облако дыма рассеялось. Когда на стол поставили тарелки для подлекарей и подали знаменитого рейнского карпа, пробило уже одиннадцать часов, и зала совсем опустела. В ночной тишине раздавалось фырканье лошадей и хруст сена у них на зубах, журчание рейнских струй и самые разнообразные звуки, оживляющие битком набитую гостиницу, когда постояльцы ее собираются опочить сном: затворялись и отворялись двери и окна, гудел невнятный говор, доносились из спален какие-то оклики. В этот час тишины и суматохи оба француза и хозяин, усердно расхваливавший Андернах, свой ужин, свою супругу, свой рейнвейн и республиканскую армию, с некоторым интере-

сом прислушивались к плеску весел и хриплым голосам судовщиков, подводивших лодку к пристани. Трактирщик, вероятно, привыкший различать их гортанные возгласы, быстро вышел. Вскоре он вернулся и привел с собою коротенького тучного человека, за которым два лодочника внесли тяжелый баул и несколько тюков. Когда все это было сложено на полу, приземистый толстяк сам поднял баул и, не расставаясь с ним, без церемоний уселся за стол напротив двух подлекарей.

— Ступайте,— сказал он судовщикам,— переночуйте в лодке, а то в гостинице полно народу. Да, так будет лучше.

— Сударь,— сказал хозяин новому гостю,— вот все, что у меня осталось из съестных припасов.

И он указал на кушанья, поданные двум французам.

— Больше в доме нет даже корки хлеба, даже обглоданной косточки.

— А кислой капусты нет?

— Дочиста выгребли! И, как я уже имел честь объяснить, не могу предложить вам другой постели, кроме стула, на котором вы сидите, и другой комнаты, кроме общей залы.

При этих словах приземистый человечек окинул хозяина и обоих французов взглядом, в котором сквозили осторожность и страх...

— ...Должен заметить,— сказал г-н Герман, прерывая свой рассказ,— что нам так и не удалось узнать ни настоящей фамилии, ни истории этого незнакомца; из его бумаг явствовало, что он прибыл из Аахена; он значился в них под фамилией Вальгенфер и был владельцем довольно большого предприятия близ Нейвида, изготовляющего булавки. Как все фабриканты этого края, он носил сюртук из толстого сукна, короткие панталоны и темно-зеленый бархатный жилет, сапоги и широкий кожаный пояс. Лицо у него было совершенно круглое, манеры простые и сердечные. Но в тот вечер ему, видимо, очень было трудно скрывать какие-то опасения, а может быть, жестокие заботы. Трактирщик говорил потом, что этот немец-фабрикант, должно быть, бежал из своей страны. Позднее я узнал, что фабрику его сожгли по несчастной случайности, как это часто бы-

вает во время войны. Несмотря на озабоченное выражение, его физиономия говорила о большом благодушии, черты его были приятны, толстая шея отличалась молочной белизной, которую так подчеркивал черный галстук, что Вильгельм, усмехаясь, указал на нее Проспер у...

Тут г-н Тайфер выпил стакан воды.

— Проспер учтиво предложил фабриканту разделить с ними ужин, и Вальгенфер недолго думая согласился, как человек, чувствующий себя в силах отплатить за такое радушие. Положив баул на пол, он поставил на него ноги, затем снял шляпу и придвинулся к столу, освободившись от перчаток и двух пистолетов, заткнутых за пояс. Хозяин тотчас принес для него прибор, и трое сотрапезников молча принялись утолять голод. В комнате было так жарко, такое множество жужжало в ней мух, что Проспер не выдержал и попросил хозяина открыть окно, выходившее на пристань. Окно было защищено железной перекладиной, укрепленной концами в двух гнездах, сделанных в оконной нише. Для большей безопасности ставни закладывались изнутри двумя болтами, которые завинчивались гайками. Случайно бросив взгляд на окно, Проспер увидел, каким сложным способом хозяин запирает его...

— Но раз я заговорил о месте действия,— заметил г-н Герман,— я должен описать расположение комнат в гостинице,— подробности эти необходимы, так как без них история моя не будет вполне понятна. Зала, где ужинали три действующих лица, о которых я сейчас упоминал, имела два выхода,— один из них на андернахскую дорогу, тянувшуюся по берегу Рейна; как раз перед гостиницей находилась пристань, где причалена была лодка, нанятая фабрикантом для его путешествия; вторая дверь вела во двор гостиницы. Двор, огороженный высоким забором, в ту ночь был забит хозяйской скотиной и лошадьми постояльцев, так как даже в конюшнях спал вповалку народ. Ворота так старательно были забаррикадированы, что хозяин для скорости провел фабриканта и лодочников через дверь, выходившую на улицу. Открыв по просьбе Проспера Маньяна окно, он принялся запирать эту дверь, заложил засовы, завинтил болты гайками. Хозяйская комната,

где должны были ночевать оба подлекаря, находилась рядом с общей залой и отделялась тонкой переборкой от кухни, где, вероятно, устроились на ночь хозяйка и ее супруг. Служанка только что вышла поискать себе убежища в яслях, или на сеновале, или в каком-нибудь другом месте. Как видите, общая зала, хозяйская спальня и кухня были несколько в стороне от остальных помещений гостиницы. Во дворе держали двух больших псов, их басистый лай изобличал бдительных и злых сторожей.

— Какая тишина, какая ночь прекрасная! — глядя на небо, воскликнул Вильгельм, когда хозяин перестал греметь запором и только слышался плеск речной волны.

— Господа,— сказал фабрикант,— позвольте мне поставить несколько бутылок, чтобы оросить вашего карпа. Мы будем попивать вино, отдыхая после утомительного дня. По вашим усталым лицам да и по одежде сразу видно, что вы, как и я, проделали нынче немалый путь.

Два друга согласились, и хозяин вышел в кухню, чтобы спуститься в подвал, устроенный, как видно, в этой части здания. Когда трактирщик принес и поставил на стол пять почтенных бутылей, его супруга подала последнее блюдо, окинула залу и все кушанья хозяйским зорким оком и, убедившись, что предупредила все желания постояльцев, вернулась в кухню. Четыре собутыльника — хозяин тоже приглашен был выпить — не слышали, как она укладывалась спать, но позднее, в краткие минуты молчания, прерывавшего беседу за стаканами, могучий храп, гулко разносившийся с высоты антресолей, где приютилась хозяйка, не раз вызывал улыбку у троих проезжающих и особливо у ее супруга. После полуночи, когда на столе оставались только бисквиты, сухие фрукты и крепкое вино, собеседники стали весьма общительны, особенно молодые французы. Они заговорили о своей родине, о своих занятиях, о войне. Словом, разговор оживился. На глазах беглеца-фабриканта заблестели слезы, когда Проспер Маньян с откровенностью пикардийца и простодушием доброй, нежной натуры вслух подумал о том, что̀ делает его мать в этот час, когда ее сын находится далеко от нее, на берегах Рейна.

— Я так и вижу ее,— сказал он.— Ложится спать и перед сном читает вечернюю молитву. И меня, конечно, не забыла в ней и, верно, думает: «Где-то сейчас бедный мой Проспер?» А если она сегодня выиграла в карты у соседки несколько су,— может быть, у твоей матушки,— добавил он, подталкивая локтем Вильгельма,— то наверняка положила их в глиняный горшок — это ее копилка. Она все хочет собрать столько денег, чтобы можно было купить клин земли в тридцать арпанов, который врезался в ее маленькое лешвильское поместье. Но эти тридцать арпанов стоят тысяч шестьдесят. Зато какие там луга! Ах, если б удалось купить их когда-нибудь, весь век прожил бы я в Лешвиле, позабыв про всякое честолюбие! Сколько раз отец мечтал вслух об этих тридцати арпанах, о красивом ручье, который змеится в лугах. Но так он и умер, не купив их. Не хватало денег. Я там часто играл в детстве.

— А у вас, господин Вальгенфер, нет какого-нибудь заветного желания? — спросил Вильгельм.

— О да, сударь, о да! Оно уже было, исполнилось, а теперь...

И, не договорив, толстяк умолк.

— А я вот,— сказал хозяин, лицо которого несколько раскраснелось,— я лет десять все хотел купить один лужок и в прошлом году купил наконец.

Так они беседовали, как это обычно водится, когда вино развяжет людям язык, и уже чувствовали друг к другу ту мимолетную дружескую приязнь, на которую мы не скупимся в путешествиях, так что, когда настало время ложиться спать, Вильгельм даже решил уступить фабриканту свою постель.

— Вы со спокойной совестью можете принять эту услугу,— сказал он,— я лягу вместе с Проспером. Это будет не в первый и, верно, не в последний раз. Вы в нашей компании старше всех, мы должны уважать старость.

— Погодите,— сказал хозяин.— На кровати моей жены положено несколько тюфяков, один можно снять и разостлать на полу.

Из благоразумной предосторожности он пошел запереть окно и долго громыхал засовами.

— Что ж, я согласен,— сказал фабрикант.— При-

знаться, я даже рад,— добавил он, понизив голос и поглядывая на двух друзей.— Мои лодочники — народ ненадежный. Я далеко не в обиде, что эту ночь мне придется провести в обществе двух храбрых и честных молодых людей, двух французских военных. У меня вот в этом бауле сто тысяч франков — золотом и в бриллиантах.

Ласковая сдержанность, с которой молодые люди встретили неосторожное это признание, успокоила благодушного немца. Хозяин помог проезжим разобрать одну из двух постелей и, когда все было устроено как можно лучше, пожелал им спокойной ночи и отправился на боковую. Фабрикант и подлекари пошутили над своими своеобразными подушками. Проспер подложил под голову две шкатулки с набором хирургических инструментов — свою собственную и своего друга,— то ли для того, чтобы возместить отсутствие валика в изголовье, то ли от избытка осторожности, а Вальгенферу подушкой служил его баул.

— Ну вот, мы с вами оба будем спать на нашем богатстве: вы — на своем золоте, а я — на хирургических ножах! Любопытно, принесут ли мне мои ножи столько золота, сколько нажили вы?

— Будем надеяться! — сказал фабрикант.— Трудом и честностью всего добьешься. Только запаситесь терпением.

Вальгенфер и Вильгельм заснули скоро. Но Проспер не мог сомкнуть глаз: то ли жесткая постель была причиной этой бессонницы, то ли крайняя усталость, а быть может, роковой поворот, совершавшийся в его душе. Мысли его неприметно обратились к дурному. Он все думал об одном: о ста тысячах, которые лежали под головой фабриканта. Сто тысяч! Для него это — огромное богатство, и вот оно само просится в руки. Сначала он придумал тысячу способов употребить сто тысяч и строил воздушные замки, как все мы это с наслаждением делаем, когда дремота уже затуманивает сознание, порождая в нем неясные образы и зачастую наделяя мысли магической силой. В мечтах Проспер исполнил все желания матери, купил тридцать арпанов луга, женился на девице из Бове, руки которой до тех пор не смел искать из-за разницы в состоянии. На эти

сто тысяч он устроил себе блаженную жизнь и видел себя в грезах отцом семейства, богачом, уважаемым во всей округе, и, может быть, даже мэром города Бове. Голова пикардийца запылала, он перешел к способам обратить мечтания в действительность и с чрезвычайным жаром принялся обдумывать преступление — пока еще в теории. Он мечтал о смерти фабриканта и так явственно видел его золото и бриллианты! Их блеск слепил ему глаза. Сердце его колотилось. Сами его мысли были, конечно, уже преступлением. Зачарованный блеском золота, он одурманивал себя, рассуждая, как настоящий убийца. Он задался вопросом, зачем жить этому старому немцу, убеждал себя, что немец этот вообще мог бы и не существовать. Словом, он замыслил преступление и обдумал способ совершить его безнаказанно. Правый берег Рейна занят австрийцами, под окнами — пристань, а там лодка с гребцами; можно перерезать горло этому человеку, бросить тело в Рейн, схватить баул, вылезть через окно, дать лодочникам золота и бежать в Австрию. Он дошел до того, что старался определить, насколько искусно научился владеть хирургическими инструментами и сумеет ли перерезать человеку горло так, чтобы жертва не успела издать ни единого крика...

Тут г-н Тайфер отер себе лоб и еще отхлебнул воды.

— ...Проспер медленно и совершенно бесшумно поднялся. Убедившись, что никого не разбудил, он оделся и вышел в общую залу. Затем, с той роковой догадливостью, какая сразу пробуждается у преступников, с той особой осторожностью и решимостью, которые никогда не изменяют им при совершении злодеяний, он отвинтил гайки, без малейшего шума вынул из гнезд железные перекладины, прислонил их к стене и открыл окно, сильно нажимая на шарниры, чтобы заглушить скрип. Сразу же бледный луч луны протянулся через залу, и Проспер смутно различил предметы в той комнате, где спали Вильгельм и Вальгенфер. И в эту минуту, как он потом рассказывал мне, он замер на мгновение. Сердце его билось так сильно, такими быстрыми, шумными толчками, что его охватил ужас. И еще он боялся, что не в силах будет действовать хладнокровно. Руки его дрожали, а ноги жгло, как будто он стоял на

горящих угольях. Но он так удачно выполнил первую часть плана, что увидел в этом особую милость судьбы, своего рода предопределение. Он распахнул окно, затем вернулся в спальню, взял шкатулку и выбрал хирургический инструмент, самый подходящий для того, чтобы довести преступный замысел до конца.

«Подходя к кровати, я машинально попросил помощи у бога»,— рассказывал он мне. В то мгновение, как он, собрав все силы, уже занес руку, вдруг какой-то голос заговорил в нем и будто свет блеснул перед глазами. Он бросил инструмент на постель, выбежал в залу и стал у окна. Глубочайший ужас перед самим собою охватил его; но, чувствуя, что добродетель в нем все еще слаба, страшась вновь поддаться искушению, он выскочил в окно и долго бродил по берегу Рейна, расхаживая перед гостиницей, как часовой. Стремительными шагами не раз доходил он почти до самого Андернаха, не раз приближался к горному склону, по которому они с приятелем спускались, подъезжая к гостинице. Ночная тишина была так глубока, он так полагался на сторожевых псов, что иногда терял из виду оставленное открытым окно. Ему хотелось крайним физическим утомлением призвать к себе сон. И вот, во время этой прогулки под ясным небом, любуясь прекрасными звездами, быть может, очарованный чистым ночным воздухом и меланхолическим плеском реки, он впал в задумчивость и постепенно пришел к целительным, добродетельным мыслям. Разум в конце концов совершенно рассеял кратковременное исступление. Наставления его воспитателей, правила веры, а главное,— говорил мне он,— картина скромной жизни, которую он вел под отеческой кровлей, восторжествовали над дурными помыслами. Очнувшись после долгого раздумья, в котором он забылся на берегу Рейна, опершись локтем о каменную глыбу,— он мог бы, как сказал мне потом, не только спать, но и бодрствовать спокойно возле целого миллиарда в золотых монетах. И в ту минуту, когда его честность вышла сильной и гордой победительницей из этой борьбы, он стал на колени и в радостном, восторженном порыве возблагодарил бога. Он чувствовал себя счастливым, на душе у него было легко, хорошо, как в день первого причастия, когда ему

казалось, что он уподобился ангелам, потому что за целый день не согрешил ни словом, ни делом, ни помышлением. Он вернулся в гостиницу, запер окно, уже не боясь шуметь, и тотчас лег в постель. Телесная и душевная усталость отдала его беззащитным во власть сна. Лишь только он опустил голову на тюфяк, подкралась дремота, возникли первые фантастические образы, обычные предвестники сна. Все наши органы чувств в такие минуты цепенеют, жизнь постепенно замирает в них, мысли расплываются, и последний трепет ощущений уже кажется сонною грезою. «Какой воздух тяжелый,— думал Проспер.— Дышишь словно влажным теплым паром». У него мелькнула смутная мысль, что это впечатление объясняется разницей в температуре комнаты и чистого воздуха полей. Вскоре он услышал равномерные звуки, которые очень напоминали стук капель воды, падающих из крана. Ему почему-то стало так жутко, что он хотел вскочить, кликнуть хозяина, разбудить фабриканта или Вильгельма, но вдруг, на свою беду, он вспомнил о деревянных стенных часах, как будто расслышав в раздававшихся звуках тиканье маятника, и сразу уснул с этим неясным, смутным представлением...

— Вам хочется пить, господин Тайфер? — спросил хозяин дома, заметив, что поставщик машинально взялся за графин.

Графин уже был пуст.

После краткой паузы, вызванной этим замечанием банкира, г-н Герман продолжал рассказ:

— Утром Проспера Маньяна разбудил какой-то сильный шум. Ему почудились дикие пронзительные крики, и все нервы его затрепетали, как это бывает, когда, пробуждаясь, мы еще не освободились от тяжких ощущений, владевших нами во сне. В нас происходит тогда особое физиологическое явление — встряска, выражаясь языком грубым, явление, еще недостаточно изученное, хотя в нем содержатся феномены, любопытные для науки. Это страшное чувство смертной тоски, вызванной, быть может, мгновенным воссоединением двух начал человеческой натуры, почти всегда разъединенных во время сна, обычно бывает мимолетным, но у бедняги подлекаря оно затянулось и обратилось в

беспредельный ужас, когда он увидел лужу крови между своим тюфяком и кроватью Вальгенфера. Голова несчастного немца валялась на полу, а тело вытянулось на постели. Вся кровь его вылилась из обрубка шеи. Увидев недвижные открытые глаза, увидев пятна крови на своих простынях и даже у себя на руках, заметив на своей постели скальпель, Проспер лишился чувств и упал на пол, в лужу крови. «Это было карой за мои мысли»,— говорил он мне. Когда сознание вернулось к нему, он увидел, что сидит в общей зале. Вокруг его стула стояли французские солдаты, а перед ним сгрудилась внимательная, любопытная толпа. Он тупо взглянул на офицера, который допрашивал свидетелей и, очевидно, составлял протокол. Он узнал трактирщика, его жену, двух судовщиков, служанку гостиницы. Хирургический нож, которым воспользовался убийца...

Господин Тайфер кашлянул, вынул из кармана платок, отер лоб, высморкался. Никто, кроме меня, не заметил этих вполне естественных мелочей,— все глаз не сводили с рассказчика и с жадным вниманием слушали его. Поставщик облокотился на стол и пристально смотрел на г-на Германа. В дальнейшем он уже не выказывал ни малейшего волнения или любопытства, но лицо его все время оставалось землистым и задумчивым, как в ту минуту, когда он играл хрустальной пробкой от графина.

— ...Хирургический нож, которым воспользовался убийца, находился на столе вместе со шкатулкой, бумажником и документами Проспера. Люди, теснившиеся в комнате, смотрели то на эти вещественные доказательства преступления, то на самого Проспера, а он, казалось, был при смерти и ничего не различал угасшим своим взором. Неясный шум, доносившийся с улицы, свидетельствовал о том, что перед гостиницей собралась толпа, которую привлекла весть о преступлении и, вероятно, также желание посмотреть на убийцу. Шаги часовых под окнами общей залы и позвякивание их ружей выделялись на фоне глухого говора собравшегося народа, но гостиница была заперта, в опустевшем дворе царила тишина. Проспер Маньян потупился, не в силах выдержать взгляда офицера, составлявшего про-

токол, но вдруг почувствовал, что кто-то сжал его руку, и тогда он поднял глаза, чтоб посмотреть, кто же стал его покровителем перед всей этой враждебной толпой. По мундиру он узнал, что около него — старший хирург полубригады, размещенной в Андернахе. Но взгляд этого человека был так пронзителен, так суров, что несчастный юноша весь задрожал и голова его запрокинулась на спинку стула. Солдат дал ему понюхать крепкого уксуса, и он пришел в чувство. Однако его глаза казались такими безжизненными, такими безумными, что врач, пощупав его пульс, сказал офицеру:

— Капитан, сейчас невозможно допрашивать этого человека...

— Ну-ка, уведите его! — крикнул капитан, прервав врача и обращаясь к капралу, стоявшему позади Проспера.

— Трус проклятый! — вполголоса сказал ему капрал.— Постарайся хоть пройти твердым шагом мимо этих окаянных немцев. Не позорь Республику!

Слова эти как будто пробудили Проспера Маньяна, у него хватило сил подняться, сделать несколько шагов, но, когда отворилась дверь и на него пахнуло ветром, когда ринулась к нему толпа, он вдруг вновь ослабел, ноги у него подкосились, и он покачнулся.

— Уж за одну только трусость надо расстрелять этого поганца лекаришку! Иди ты! — говорили два солдата, поддерживая его под руки.

— А-а! Вот он, негодяй! Негодяй! Вот он! Вот он!

Восклицания эти как будто издавало одно огромное существо, в голосе которого сливались все голоса толпы, следовавшей за Проспером и разраставшейся с каждым шагом. Всю дорогу, от гостиницы до тюрьмы, топот провожающих и конвоиров, гул разговоров, лазурь небес, рокот Рейна, свежесть воздуха, картина Андернаха вызывали в душе Проспера неясные, смутные, тусклые впечатления, как и все, что окружало его с той минуты, как он пробудился. Порой ему казалось, что он уже больше не существует...

— ...Как раз в это время я находился в тюремном заключении,— заметил г-н Герман, оборвав нить рассказа.— Я был тогда энтузиастом, какими все мы бываем

в двадцать лет: решив защищать родину, я командовал вольной дружиной, которую сам же и собрал в окрестностях Андернаха. За несколько дней до этого убийства мы натолкнулись на французский отряд в восемьсот штыков, а нас было человек двести, не больше. Мои лазутчики предали нас. Меня бросили в андернахскую тюрьму, хотели даже расстрелять для острастки всему нашему краю. Французы говорили также, что нужно применить репрессии, но убийство, которое они хотели вымести на мне, совершено было не во владениях курфюрста. Мой отец добился отсрочки казни на три дня, чтобы съездить к генералу Ожеро, и испросил у него помилование. И вот я видел, как привели в андернахскую тюрьму Проспера Маньяна, и с первого же взгляда почувствовал к нему глубокую жалость. Хотя он был бледен, в растерзанной одежде и перепачкан кровью, в его лице было что-то простодушное, чистое, и это поразило меня. Длинными белокурыми волосами и голубыми глазами он напоминал сыновей порабощенной Германии. Я видел в нем печальный образ моей родины, он казался мне жертвой, а не убийцей. Когда его проводили под моим окном, он улыбнулся какой-то горькой и грустной улыбкой, словно сумасшедший в минутном проблеске рассудка. Конечно, убийца не мог бы так улыбаться. Когда зашел ко мне тюремный сторож, я стал расспрашивать его о новом заключенном.

— Что ж,— ответил он,— заперли в камеру, и с тех пор все молчит. Сидит, обхватив голову руками,— может, дремлет, может, думает о своем деле. Французы говорят, что завтра утром рассчитаются с ним на суде, а через двадцать четыре часа расстреляют.

Под вечер все то время, которое отводилось мне для короткой прогулки, я простоял под окном нового заключенного. Мы беседовали с ним, он чистосердечно рассказал мне все, что приключилось с ним, и довольно толково ответил на все мои вопросы. И после этого первого разговора я уже не сомневался в его невиновности. Я выпросил разрешение посетить его в этот день. Итак, мы виделись несколько раз, и бедный мальчик бесхитростно посвятил меня во все свои мысли. Он считал себя и невиновным и одновременно преступником. Вспоминая чудовищное искушение, побороть которое у него хва-

тило сил, он все же опасался, что мог встать во сне, в состоянии лунатизма, и совершить то преступление, какое замышлял наяву.

— А ваш спутник? — намекнул я.

— О-о! — с жаром воскликнул он.— Вильгельм неспособен...

Он даже не договорил. В ответ на эти горячие слова, полные юной чистоты, я пожал ему руку.

— ...Должно быть, Вильгельм так испугался, когда проснулся, что потерял голову и убежал.

— Не разбудив вас! — заметил я.— Но вам легко будет защищаться, если баул с деньгами Вальгенфера не украден.

Вдруг он заплакал.

— Нет, я не виновен, не виновен! — воскликнул он.— Я не убил. Я вспомнил, какой сон мне снился: я играл в горелки с товарищами во дворе коллежа. Нет, я не мог отсечь голову этому человеку, раз я видел во сне, что играю в горелки.

Но потом опять, несмотря на проблески надежды, порою возвращавшей ему немного спокойствия, его все время мучили угрызения совести. Ведь он все же занес руку, хотел перерезать горло спящему человеку. Он строго осуждал себя, он не мог считать свое сердце чистым после того, как мысленно совершил преступление.

— А ведь я же добрый! — воскликнул он.— Бедная моя матушка... Может быть, в эту самую минуту она беззаботно играет в империал со своими соседками в нашей маленькой гостиной, где стоят ковровые кресла. Если б она узнала, что я хотя бы только замыслил убить человека и поднял на него руку... О-о! Она умерла бы! А я вот — в тюрьме и обвиняюсь в том, что на самом деле совершил убийство! Ну, пусть я не виновен в смерти этого несчастного,— в смерти моей матери я, конечно, буду виновен.— При этих словах он не заплакал, но вдруг в порыве неистовой ярости, характерной для пикардийцев, бросился к стене, и, если б я не схватил его, он размозжил бы себе голову о камни.

— Дождитесь суда,— сказал я ему.— Вас оправдают, ведь вы не виновны. А ваша матушка...

— Матушка! — воскликнул он гневно.— Ей прежде всего сообщат, в чем меня обвинили. Так уж водится в маленьких городишках! И бедняжка умрет от горя. Да ведь я и не могу считать себя невиновным. Хотите узнать всю правду? Я чувствую, что навеки утратил девственную чистоту совести.

Сказав это, он сел, скрестив руки на груди, понурил голову и с мрачным видом вперил глаза в пол. В эту минуту вошел сторож и велел мне идти обратно в свою камеру. Досадуя, что я должен покинуть товарища в такую минуту, когда он совсем пал духом, я крепко обнял его, как друг.

— Потерпите,— сказал я.— Может быть, все еще кончится хорошо. Если голос честного человека может заставить ваши сомнения умолкнуть, знайте, что я вас уважаю и люблю. Примите мою дружбу, положитесь на мое сердце, если в вашем собственном сердце разлад.

На следующий день, около девяти часов утра, за ним явились четыре солдата и капрал. Я услышал их топот и подошел к окну. Когда заключенного вывели во двор, он бросил на меня взгляд. Никогда мне не забыть этого взгляда,— столько было в нем раздумья, предчувствий, смирения и какой-то кроткой, тихой грусти. Это было безмолвное, но внятное душе завещание человека, отдающего в руки последнего друга погибшую свою жизнь! Какой, верно, тяжкой была для него истекшая ночь, каким одиноким он был! Но выражение его бледного лица говорило также о стоицизме, почерпнутом в новом еще для него уважении к самому себе. Быть может, он очистился в мучениях совести и считал, что скорбью и позором искупит свою вину. Он шел твердым шагом; к утру он отмыл пятна крови, которой нечаянно запачкался. «Ведь кровь обагрила мои руки по роковой случайности,— говорил он мне с ужасом и отчаянием в голосе.— Я всегда сплю беспокойным сном». Я узнал, что его будет судить военно-полевой суд. Через день дивизия должна была двинуться дальше, и командир полубригады хотел перед выступлением из Андернаха покарать преступление в той самой местности, где оно было совершено... Все время, пока шел суд, меня терзала тревога. Наконец около по-

лудня Проспера Маньяна привели обратно в тюрьму; в тот час я был, как обычно, на прогулке во дворе; он увидел меня и бросился ко мне в объятия.

— Я погиб! — сказал он.— Погиб! Нет никакой надежды. И, значит, в глазах всех людей я буду убийцей! — Он гордо поднял голову. — Такая несправедливость вернула мне чувство невиновности. Однако я все равно был бы запятнан на всю жизнь, смерть же моя будет безупречной. Но существует ли будущая жизнь?

Весь восемнадцатый век сказался в этом вопросе. Проспер задумался.

— Подождите,— сказал я.— О чем же вас спрашивали? Что вы отвечали? Вы чистосердечно рассказали все, как рассказывали мне?

Мгновение он пристально и молча глядел на меня и после этой жуткой паузы заговорил с какой-то лихорадочной торопливостью и горячностью:

— Они сначала спросили меня: «Вы выходили ночью из гостиницы?» Я ответил: «Да».— «Каким способом?» Я покраснел и ответил: «Вылез в окно».— «Значит, вы его отворили?» — «Да»,— ответил я. «Вы проделали это очень осторожно: трактирщик ничего не слыхал!» Меня эти слова ошеломили. Судовщики показали, что видели, как я ходил по берегу — то к Андернаху, то к лесу. По их словам, я несколько раз проделал этот путь и, должно быть, зарыл в землю золото и бриллианты. Ведь баула-то не нашли! А меня все время мучили угрызения совести. Когда я хотел оправдываться, безжалостный голос кричал мне: «Ты же замышлял преступление!» Все было против меня, даже я сам!.. Они спрашивали меня о моем товарище. Я стал горячо защищать его. Тогда они сказали: «Искать преступника надо только между вами, вашим товарищем, трактирщиком и его женой. Утром все окна и двери оказались запертыми!..» Когда судья сказал это,— заметил Проспер,— я онемел, лишился сил, душа у меня замерла. Я был уверен в своем друге более, чем в самом себе, и не мог обвинить его. Я понял, что нас считают сообщниками, но меня менее ловким, чем он! Я попытался оправдать своего друга, объснить преступление возможным моим лунатизмом и запутался. Я погубил себя. В глазах судей я читал свой приго-

вор: они не могли сдержать насмешливой улыбки. Все кончено. Все ясно. Завтра меня расстреляют. Я не о себе думаю,— сказал он, помолчав,— я думаю о бедной матушке.— Он умолк, взглянул на небо и не проронил ни единой слезинки. Глаза его были сухи, одно веко судорожно дергалось.— Фредерик...

— ...Ах, вот... вспомнил! Товарища его звали Фредерик. Ну, конечно, Фредерик! Вспомнил, как его звали,— торжествующе воскликнул г-н Герман.

Соседка толкнула своей ножкой мою ногу и неприметно указала на г-на Тайфера. Бывший поставщик небрежным жестом прикрыл глаза рукой, но нам показалось, что между пальцами блестит мрачным огнем его взгляд.

— Послушайте! — шепнула она мне на ухо.— А что, если его имя — Фредерик?

В ответ я мигнул ей, желая сказать: «Молчите».

Герман тотчас вернулся к рассказу.

— Фредерик подло покинул меня,— воскликнул Проспер.— Верно, перепугался. Может, спрятался где-нибудь в гостинице,— ведь обеих наших лошадей утром нашли во дворе. Какая-то непостижимая тайна! — добавил он.— Лунатизм! Лунатизм!.. Но ведь только один раз в моей жизни проявился этот недуг, когда мне было всего шесть лет. С чем же я уйду отсюда? — воскликнул он, ударив ногой оземь.— Унесу ли с собою все, что может дать дружба в этом мире? Или дважды придется мне умереть, усомнившись в братской близости, которая возникла между нами в пятилетнем возрасте, продолжалась и в школе и в годы студенческой жизни? Где же ты, Фредерик? — И он заплакал. Как видите, чувства нам дороже, чем сама жизнь.

— Пойдемте,— сказал он.— Лучше мне побыть в камере. Не хочу, чтобы люди видели, что я плачу. Я мужественно встречу смерть, но сейчас трудно мне геройствовать: признаюсь, мне жаль моей молодой, прекрасной жизни. Нынче ночью я не смыкал глаз, все мне вспоминались картины детства, и те луга я видел, где бегал мальчиком,— может быть, они-то и погубили меня. Передо мною открывалось будущее,— сказал он, оборвав воспоминания.— А теперь!.. Двенадцать сол-

дат. Сублейтенант скомандует: «*Целься! Пли!*» Треск барабанов и позор! Вот оно, мое будущее! Ах, должен же быть бог, иначе все это слишком глупо! — Тут он обнял меня и крепко-крепко прижал к себе.— Вы единственный человек, которому я в последний свой час могу излить душу! Вы-то получите свободу, увидите свою мать. Не знаю, богаты вы или бедны, но какое это имеет значение?.. В вас вся моя надежда. Не вечно же будет длиться война. Так вот, когда заключат мир, поезжайте в Бове. Если матушка переживет мою смерть, разыщите ее. Утешьте ее, скажите ей: «*Он не виновен!*» Она поверит вам,— прошептал он.—Я ей напишу сейчас. Но вы отнесите ей мой последний вздох, скажите, что вы были последним, кого я обнял. Как она, бедняжка, полюбит вас за то, что вы были последним моим другом! — И, умолкнув, он поник головой, словно под бременем воспоминаний, а потом сказал: — Здесь я никого не знаю — ни среди командиров, ни среди солдат, и всем я внушаю ужас. Если б не вы, моя невиновность осталась бы тайной между небом и мною.

Я поклялся ему, что свято выполню его последнюю волю. Мои слова, мой сердечный порыв тронули его. Спустя некоторое время за ним опять пришли солдаты и снова повели его в суд. Его приговорили к расстрелу. Не знаю, какие формальности сопровождали решение суда, какие последовали за ним и воспользовался ли Проспер всеми законными средствами для защиты своей жизни, но он ожидал, что на другой день утром его поведут на казнь, и ночь провел за письмом к матери.

— Ну вот, мы оба получили свободу! — улыбаясь, сказал он мне, когда я утром вошел в его камеру.— Мне сообщили, что генерал подписал вам помилование.

Я молча смотрел на него, стараясь запечатлеть в памяти его черты. А он вдруг поморщился брезгливо и сказал мне:

— Я был таким жалким трусом! Всю ночь я молил вот эти стены о помиловании.— И он повел рукой, указывая на стены камеры.— Да, да,— повторил он.— Я выл от отчаяния, я возмущался, я пережил ужаснейшие муки предсмертных часов. Я был тогда один.

Теперь же я думаю о том, что скажут люди... Мужество — это как нарядная одежда. Надо в пристойном виде встретить смерть. Поэтому...

ДВА ПРАВОСУДИЯ

— Ах, не договаривайте!..— прервала вдруг нюрнбержца юная девица, та самая, которая просила его рассказать «страшную историю».— Я хочу остаться в неведении и думать, что он спасся. Если я узнаю, что его расстреляли, мне не уснуть всю ночь. Завтра!.. Вы доскажете эту историю завтра!

Все встали из-за стола. Г-н Герман предложил руку моей соседке, и она спросила:

— Его расстреляли? Да?

— Да. Я был свидетелем казни.

— Что?! — воскликнула она.— Как вы только могли, сударь?..

— Он сам пожелал этого, сударыня. А какой это ужас проводить на смерть живого человека, которого любишь, и знать, что он погибает безвинно. Бедный юноша не отрывал от меня взгляда. Казалось, он уже жил только во мне! Ведь он мне завещал передать его матери последний его вздох.

— Ну и как? Вы видели ее?

— После заключения Амьенского мира я поехал во Францию, чтобы сказать его матери прекрасные слова: «Он не виновен». Я благоговейно совершил это паломничество. Но госпожа Маньян к тому времени умерла от тоски. Я с глубоким волнением сжег письмо, которое вез ей. Вы, пожалуй, посмеетесь над моей немецкой чувствительностью, но я увидел драму, возвышенную и тяжелую драму в том, что прощальный призыв, посланный из одной могилы в другую, останется погребенным в вечной тайне и никто в мире не услышит его, как крик путника в пустыне, на которого внезапно бросился лев.

— А если бы вас подвели к кому-нибудь из гостей, мирно беседующих в этой комнате, и сказали вам: «Вот убийца!» Разве в этом не было бы иной драмы? — спросил я, прервав его.— Интересно, что бы вы тогда сказали?

Господин Герман разыскал свой цилиндр и ушел.

— Вы юношески опрометчивы в своих заключениях,— сказала мне соседка.— Взгляните на Тайфера,— вон он сидит в кресле у камина, а мадемуазель Фанни подает ему чашку кофе. Он улыбается. Разве мог бы убийца, выслушав рассказ об этой драме, который был бы для него пыткой, проявлять такое спокойствие? Посмотрите, у него самый патриархальный вид.

— Да... Но попробуйте-ка спросить у него, не был ли он на войне в Германии.

— А почему бы не спросить?

И с тою смелостью, которую почти всегда чувствует женщина, когда какая-либо загадка забавляет ее или возбуждает ее любопытство, моя соседка подошла к поставщику.

— Вы бывали в Германии? — спросила она.

Тайфер едва не выронил из рук чашку.

— Я, сударыня? Нет, никогда не бывал.

— Что ты говоришь, Тайфер! — перебил его банкир.— Ведь ты поставлял провиант во время Ваграмской кампании.

— Ах, да! — спохватился Тайфер.— Верно! В этот год я туда ездил.

— Вы ошиблись. Он славный старик,— сказала моя соседка, подойдя ко мне.

— Вот как! — воскликнул я.— Подождите! К концу вечера я вытащу убийцу из грязи, в которой он закопался.

Каждодневно на наших глазах происходит феномен, удивительно глубокий, но столь простой, что никто его не замечает. Если в чьей-либо гостиной столкнутся два человека, из которых один имеет право презирать или ненавидеть другого, оттого что знает о каком-нибудь интимном и скрытом позорном факте его жизни, проник в тайную сущность его натуры и даже готовит ему возмездие,— два этих человека всегда разгадают друг друга и почувствуют, какая пропасть разделяет или будет их разделять. Они невольно следят друг за другом, настораживаются, в их взглядах, в их жестах сквозят их тайные мысли, и обоих, как магнитом, тянет друг к другу. Не знаю, что притягивает сильнее: возмездие или преступление, ненависть или обида. Как

священники, которые не могли служить литургию в присутствии злого духа, оба они смущены, недоверчивы: один учтив, другой угрюм,— не знаю, который из двух; один краснеет и бледнеет, другой трепещет. Нередко мститель так же труслив, как и его жертва. Мало у кого хватает мужества нанести удар даже по необходимости, и многие молчат или прощают просто из отвращения к скандалам или из боязни трагической развязки. Вот в таком взаимопроникновении чувств и душ завязалась таинственная борьба между поставщиком и мною. После вопроса, с которым я обратился к нему во время повествования г-на Германа, он избегал моих взглядов. Быть может, он избегал также и взглядов других гостей! Он разговаривал с простодушной Фанни, дочерью хозяина дома, должно быть, испытывая, как и все преступники, потребность побыть возле невинного существа, в надежде найти себе покой. Но, хотя он сидел далеко от меня, я прислушивался к его словам, и мой пронизывающий взгляд лишал его этого покоя. Порой ему казалось, что он может безопасно для себя наблюдать за мной, но мы тотчас же встречались взглядом, и он опускал глаза. Устав от этой пытки, Тайфер поспешил прекратить ее и сел играть в карты. Я поставил ставку в доле с его противником, мечтая, однако, проиграть свои деньги. Желание мое исполнилось. Тогда я занял место своего партнера, и вот мы оказались с Тайфером лицом к лицу.

— Сударь,— сказал я, когда он сдавал карты,— будьте любезны, смешайте счет.

Он торопливо переложил фишки с левой стороны на правую. Подошла моя соседка, я многозначительно взглянул на нее.

— Скажите, пожалуйста,— обратился я к нему,— вы господин Фредерик Тайфер? Если так, я хорошо знаю ваших родственников в Бове

— Да, сударь,— ответил он.

Он выронил из рук карты, схватился за голову и встал, попросив гостя, игравшего с ним в доле, занять его место.

— Здесь ужасно жарко,— сказал он.— Я боюсь...

Он не договорил. Лицо его вдруг страдальчески исказилось, и он быстро вышел из комнаты. Заметив

его недомогание, хозяин дома последовал за ним, видимо, от души ему сочувствуя. Мы с соседкой переглянулись, но я заметил, что ее лицо омрачила тень горестной печали.

— Ну, можно ли быть таким жестокосердым? — спросила она, подойдя со мною к оконной нише, после того как я проигрался и встал из-за карточного стола.— Почему бы не предоставить все суду — человеческому или божьему? Если первого преступник избежит, то второго ему не избежать. Неужели привилегии председателя уголовного суда так уж заманчивы? Вы, можно сказать, приняли на себя роль палача!

— Но вы же сами разделяли и подстрекали мое любопытство, а теперь читаете мне нравоучение!

— Вы заставили меня поразмыслить,— ответила она.

— Итак, мир — негодяям, война — несчастным и слава — золоту? А впрочем, оставим все это,— добавил я смеясь.— Прошу вас, взгляните вон на ту юную девушку, которая вошла сейчас в гостиную.

— Ну, хорошо, посмотрела. Что дальше?

— Я видел ее три дня назад на балу в неаполитанском посольстве и страстно влюбился в нее. Умоляю, скажите ее имя! Никто не мог...

— Это мадмуазель Викторина Тайфер.

Я был ошеломлен.

— Мачеха этой девицы,— разъясняла мне моя соседка, хотя я едва слышал ее слова,— взяла ее недавно из монастырского пансиона, где она несколько запоздало заканчивала свое образование. Отец долго не хотел ее признавать. В свете она первый раз. Она очень мила и очень богата.

Слова эти были сказаны с язвительной улыбкой, и вдруг в эту минуту мы услышали неистовые, но приглушенные вопли. Они неслись, казалось, из соседней пристройки и слабо отдавались в саду.

— Что это? Как будто голос господина Тайфера? — воскликнул я.

Мы насторожились, прислушались и действительно различили ужасные стоны. Жена банкира подбежала к нам и закрыла окно.

— Боюсь истерик! — сказала она.— Если мадмуа-

зель Тайфер услышит голос отца, с ней может случиться нервный припадок.

Банкир вернулся в гостиную, разыскал Викторину и что-то сказал ей вполголоса. Девушка вскрикнула, кинулась к двери и исчезла. Происшествие это вызвало переполох. Игроки бросили карты. Каждый расспрашивал соседа. Гул разговоров усилился. Гости собирались кучками.

— Неужели господин Тайфер?..— заговорил я.

— Покончил с собой! — подхватила моя насмешливая соседка.— Мне думается, вы с легким сердцем перенесете эту утрату.

— Да что же с ним случилось?

— Он страдает необыкновенной болезнью,— ответила хозяйка дома.— Все не могу запомнить, как она называется, хотя господин Бруссон не раз мне ее называл. И вот сейчас у него, бедненького, был приступ.

— А какого рода эта болезнь? — спросил вдруг один из гостей, судебный следователь.

— Ах, это ужасная болезнь! — ответила хозяйка.— Врачи не знают никаких средств против нее. А страдания, очевидно, жестокие. Однажды, когда этот несчастный Тайфер гостил у нас в поместье, у него случился приступ, и я не могла выдержать, уехала к нашей соседке, только чтоб не слышать его криков. Он испускал страшные вопли, хотел наложить на себя руки. Дочери пришлось привязать его к кровати и надеть на него смирительную рубашку. Бедняга кричал, что какие-то животные проникли к нему в голову, грызут его мозг, что у него вытягивают по одному все нервы, дергают их, перепиливают пилой. У него бывают такие нестерпимые головные боли, что однажды попробовали применить прижигания кожи, чтобы заглушить эти муки другой болью, а он даже не почувствовал ее. Но доктор Бруссон, его домашний врач, отменил прижигания, сказав, что у господина Тайфера нервная болезнь, *воспаление нервов*, что надо ставить пиявки на шею и делать примочки из опиума на голову. И действительно, припадки стали реже — один-два раза в год, в конце осени. Оправившись, Тайфер все твердит, что скорее согласен, чтоб его колесовали, чем переносить такие мучения.

— Ну, значит, это действительно сильные мучения,— сказал биржевой маклер, салонный остряк.

— Да,— подтвердила хозяйка дома.— В прошлом году он едва не погиб. Он поехал один к себе в поместье по какому-то спешному делу и там двадцать два часа пролежал без чувств, закоченев, как покойник. Его спасли только горячими ваннами.

— Так что же это? Нечто вроде столбняка? — спросил маклер.

— Не знаю,—ответила хозяйка.— Эта болезнь у него уже лет тридцать — с тех пор как он был в армии. По его словам, ему впилась в голову острая щепка, когда он упал однажды в лодку. Но Бруссон надеется его вылечить. Говорят, англичане нашли способ безопасно применять синильную кислоту для излечения этой болезни.

В это мгновение раздался крик, еще пронзительнее, чем прежде, и мы все похолодели от ужаса.

— Слышите? Вот именно так он кричал тогда у нас в поместье,— сказала жена банкира.— Я вся вздрагивала, до того эти вопли действовали мне на нервы. Но, представьте, удивительное дело: у злополучного Тайфера просто неслыханные, невыносимые боли, однако эти припадки совершенно безопасны для жизни. Когда нестерпимая пытка дает ему несколько часов передышки, он ест и пьет, как обычно. Удивительна натура человеческая! Какой-то немецкий врач сказал, что эта болезнь — нечто вроде подагры головы, и его мнение, таким образом, сходится с мнением Бруссона.

Я отошел от гостей, столпившихся вокруг хозяйки дома, и последовал за мадмуазель Тайфер, которую вызвал лакей.

— Ах, боже мой! — воскликнула она, плача.— Чем батюшка прогневил небо! За что он так мучается? Он такой добрый!..

Я спустился вместе с нею по лестнице, помог ей сесть в карету и тут увидел ее отца, согнувшегося в три погибели. Мадмуазель Тайфер пыталась заглушить стоны своего батюшки, закрывая ему рот платком. К несчастью, он заметил меня. Лицо его еще больше исказилось, он бросил на меня дикий взгляд, в воздухе пронесся его неистовый крик, и карета тронулась.

Этот обед и этот вечер оказали жестокое влияние на мою жизнь и на мои чувства. Я полюбил мадмуазель Тайфер, быть может, именно потому, что чувство чести и порядочность запрещали мне сближаться с убийцей, каким бы ни был он хорошим отцом и хорошим мужем. Что-то неодолимое и роковое влекло меня в те дома, где я мог увидеть Викторину. Нередко, дав себе честное слово не искать больше встречи с нею, я в тот же вечер оказывался близ нее. И я был беспредельно счастлив. Моя любовь, вполне законная, исполненная, однако, химерических угрызений совести, принимала оттенок преступной страсти. Я презирал себя за то, что кланяюсь Тайферу, когда он изредка появлялся в обществе вместе с дочерью, но все же я кланялся ему! Наконец, к несчастью, Викторина не только красивая девушка, но сверх того девушка образованная, одаренная талантами, и она так мила,— ни малейшего педантства и хотя бы тени кривляния. Говорит она сдержанно, а ее характер поражает какой-то меланхолической прелестью, против которой никто не в силах устоять. Она любит меня, во всяком случае позволяет мне думать так,— ведь она дарит меня иной улыбкой, чем других, а когда говорит со мною, голос ее приобретает особую мягкость. О, она любит меня! Но ведь она обожает отца, постоянно превозносит его доброту, кротость, высокие достоинства. Похвалы эти для меня — нож в сердце. Однажды я едва не стал сообщником преступления, на котором зиждется богатство всего семейства Тайферов: я едва не попросил руки Викторины. И вот тогда я бежал от нее, отправился путешествовать, побывал в Германии, в Андернахе. Но ведь я вернулся. Я вновь увидел Викторину. Она была бледна, худа. Останься она такой же, как прежде, цветущей, веселой, я был бы спасен. А тут страсть моя разгорелась с необычайной силой. Боясь, как бы моя щепетильность не превратилась в манию, я решил созвать синедрион чистых душ, чтобы пролить хоть луч света на эту проблему высокой морали и философии. Вопрос еще больше усложнился после моего возвращения. И вот третьего дня я собрал у себя кое-кого из друзей — тех, в ком я более чем в других вижу честности, деликатности чувств и порядочности. Я пригласил

двух англичан — секретаря посольства и некоего пуританина; затем бывшего министра, вооруженного зрелым умом политического деятеля; нескольких молодых людей, еще подвластных чарам невинности; одного старика священника; бывшего моего опекуна, простодушного человека, представившего мне наидобросовестнейший отчет об опеке, что явилось достопамятным событием в Опекунском совете; одного адвоката, одного нотариуса — словом, самых разнообразных представителей общественного мнения и житейских добродетелей. Сначала мы вкусно пообедали, поболтали, поспорили, потом, за десертом, я чистосердечно поведал свою историю и попросил, чтобы мне дали разумный совет, но, конечно, предмета моей любви по имени не назвал.

— Посоветуйте, друзья, как мне быть,— сказал я в заключение.— Обсудите вопрос со всех сторон — так, словно речь идет о каком-нибудь законопроекте. Вам принесут урну и бильярдные шары, и пусть каждый подаст голос за или против моего брака, с соблюдением всех требований тайного голосования.

Сразу воцарилась глубокая тишина. Нотариус объявил самоотвод.

— Ведь тут в дело замешался брачный контракт,— заметил он.

Бывший мой опекун после всех возлияний лишился дара речи; он сам теперь нуждался в опеке, чтобы благополучно добраться домой.

— Понимаю! — воскликнул я.— Не высказать своего мнения — это самый энергичный способ указать мне, как я должен поступить.

Гости мои зашевелились.

Один домовладелец, пожертвовавший по подписному листу в пользу детей генерала Фуа и на памятник ему, воскликнул:

Как добродетели, бывают преступленья
Различных степеней!

— Болтун,— пробормотал министр, подтолкнув меня локтем.

— В чем тут затруднение? — спросил герцог***, богатые поместья которого составились из земель, некогда конфискованных у непокорных гугенотов после отмены Нантского эдикта...

Встал адвокат.

— В юрисдикции,— сказал он,— случай, подвергнутый нашему рассмотрению, не представлял бы никакого затруднения. Герцог прав! — воскликнул этот глашатай закона.— Разве нет постановления о сроках давности? Что сталось бы с нашим обществом, если бы мы вздумали доискиваться происхождения всякого богатства? Это дело совести. Если уж вам так хочется обсудить данный казус, обратитесь в духовную консисторию.

Тут адвокат, воплощенный кодекс законов, умолк, сел на свое место и осушил бокал шампанского. Тогда поднялся добрый пастырь, призванный толковать Евангелие.

— Бог создал нас слабыми,— сказал он убежденно.— Если вы любите наследницу преступника, то женитесь на ней, но удовольствуйтесь приданым, которое достанется ей от матери, а наследство отца раздайте бедным.

— Позвольте,— сказал один из тех безжалостных спорщиков, какие частенько встречаются в свете,— может быть, отец ее выгодно женился только потому, что разбогател. Разве любая его удача не была все же плодом преступления?

— Самый этот спор уже является решением! Есть вещи, о которых порядочные люди не спорят! — воскликнул бывший мой опекун, желая, видимо, просветить собравшихся своей пьяной мудростью.

— Да! — протянул секретарь посольства.

— Да! — воскликнул священник.

Эти два человека не понимали друг друга.

Поднялся доктринер, которому для избрания в палату не хватало только ста пятидесяти голосов при ста пятидесяти пяти избирателях.

— Господа, этот феноменальный случай принадлежит к сфере интеллектуальной и выходит за рамки явлений, характерных для нормального состояния нашего общества. Следовательно, решение, каковое предстоит нам принять, должно быть выражено всеми согласно велениям совести путем внезапного суждения и явится поучительным отражением душевных переживаний,

довольно схожих с теми озарениями, в коих выражаются чувства и склонности. Приступим к голосованию.

— Приступим! — воскликнули гости.

Я велел дать каждому два шара: один белый, другой красный. Белый, символ девственной чистоты, означал запрещение этого брака, а красный — одобрение. Из деликатности сам я воздержался от голосования. Друзей собралось ко мне семнадцать человек, следовательно, для абсолютного большинства нужно было не менее девяти голосов. Каждый подходил и опускал свой шар в плетеную корзинку с узким верхом — ту, из которой перед партией в бильярд вытаскивают нумерованные шары, определяя таким образом очередь в игре; все мы испытывали довольно сильное волнение, так как решать путем голосования вопрос чисто моральный — это, конечно, способ необычный.

При подсчете голосов обнаружено было девять белых шаров. Этот итог нисколько не удивил меня, но мне вздумалось сосчитать, сколько молодых людей моего возраста имеется среди избранных мною судей. Таких казуистов оказалось девять человек, и, несомненно, все они были единомышленниками.

«Ох, ох! — думал я.— Два тайных и единодушных решения: одно — в пользу моей женитьбы, другое — против! Как выйти из столь затруднительного положения?»

— А где живет твой будущий тесть? — опрометчиво спросил один из моих школьных товарищей, менее скрытный, чем другие.

— Тестя больше не существует! — воскликнул я.— Еще недавно моя совесть говорила так громко, что ваше решение было бы излишне. Но теперь голос ее приутих, а вот и причина моего малодушия: весьма искушающее письмо, которое я получил два месяца тому назад.

И, вынув из бумажника это послание, я показал его всем.

*«Господину****

Милостивый государь!

Просим вас принять участие в похоронах г-на Жана-Фредерика Тайфера, главы фирмы Тайфер и К°, бывшего провиантмейстера, кавалера ордена По-

четного легиона и ордена Золотой шпоры, капитана первой гренадерской роты Второго легиона Парижской национальной гвардии, скончавшегося 1 мая с. г.

Вынос тела из дома покойного (улица Жубер).

Отпевание состоится... и т. д.

От имени... и т. д.».

— Что же мне делать? — продолжал я.— Я хочу поставить вопрос очень широко. Разумеется, в поместьях мадмуазель Тайфер стоит целая лужа крови, и наследство ее батюшки настоящее Хацельдама. Я это знаю. Но Проспер Маньян не оставил потомства. Мне не удалось разыскать и родных фабриканта булавок, убитого в Андернахе. Кому вернуть состояние? Имею ли я право разгласить раскрытую мною тайну, прибавить еще одну отсеченную голову к приданому ни в чем не повинной девушки, добиться, чтобы она видела тяжелые сны и лишилась прекрасной иллюзии, убить ее отца вторично, сказав ей: «Каждое экю в наследстве вашем запачкано кровью». Я взял у одного престарелого духовника «Толковый словарь различных воспросов совести», но не нашел в нем ответа на свои сомнения. Отдать деньги в церковь на помин души Проспера Маньяна, Вальгенфера и Тайфера? Но ведь мы живем в девятнадцатом веке! Построить приют, учредить премию за добродетель? Премию за добродетель присудят жуликам. А большинство наших приютов, как мне кажется, стало нынче рассадниками пороков. И разве искупишь это преступление, употребив преступное богатство на цели более или менее лестные для тщеславия? Да и почему я обязан все это делать? Ведь я люблю, люблю страстно. Моя любовь — это моя жизнь. Если я без объяснения причин предложу девушке, избалованной роскошью, привыкшей к жизни, богатой утехами искусства, девушке, которой так нравится слушать в томной позе музыку Россини в Итальянском театре, если я предложу ей отказаться от ста пятидесяти тысяч франков ежегодного дохода, отдав их в пользу отупевших стариков или бездомных шелудивых оборвышей, она со смехом повернется ко мне спиною, а ее компаньонка сочтет меня злым шутником. Если в любовном экстазе я стану восхвалять ей

прелести скромной жизни и мой домик на берегу Луары, буду молить ее пожертвовать столичными удовольствиями во имя нашей любви,— это будет, во-первых, добродетельной ложью, а во-вторых, пожалуй, окажется весьма печальным опытом: я потеряю сердце юной особы, которая обожает балы, наряды да пока что и меня самого. Ее похитит у меня стройный щеголеватый офицер с закрученными усами — салонный пианист, почитатель лорда Байрона и превосходный наездник. Что же делать? Скорее, господа, дайте мне совет!

Честный человек пуританского склада, довольно похожий на отца Дженни Динс,— тот самый, о котором я уже упоминал,— за весь вечер не промолвивший ни единого слова, пожал плечами и сказал мне:

— Дурак! Зачем было спрашивать, не уроженец ли он города Бове?

Париж, май 1831 г.

НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР

I. ЖИЛЛЕТТА

В конце 1612 года холодным декабрьским утром какой-то юноша, весьма легко одетый, шагал взад и вперед мимо двери дома, расположенного по улице Больших Августинцев, в Париже. Вдоволь так нагуляв-шись, подобно нерешительному влюбленному, не смею-щему предстать перед первой в своей жизни возлюб-ленной, как бы доступна та ни была, юноша пере-шагнул наконец порог двери и спросил, у себя ли мэтр Франсуа Порбус. Получив утвердительный ответ от старухи, подметавшей сени, юноша стал медленно по-дыматься, останавливаясь на каждой ступеньке, со-всем как новый придворный, озабоченный мыслью, какой прием окажет ему король. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, все не решаясь коснуться причудливого молотка, укра-шавшего дверь мастерской, где, вероятно, в тот час работал живописец Генриха IV, забытый Марией Меди-чи ради Рубенса. Юноша испытывал то сильное чувст-во, которое, должно быть, заставляло биться сердце великих художников, когда, полные юного пыла и люб-ви к искусству, они приближались к гениальному че-ловеку или к великому произведению. У человеческих чувств бывает пора первого цветения, порождаемого благородными порывами, постепенно ослабевающими, когда счастье становится лишь воспоминанием, а сла-

ва — ложью. Среди недолговечных волнений сердца ничто так не напоминает любви, как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные муки на пути славы и несчастий,— страсть, полная отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований. У того, кто в годы безденежья и первых творческих замыслов не испытывал трепета при встрече с большим мастером, всегда будет недоставать одной струны в душе, какого-то мазка кисти, какого-то чувства в творчестве, какого-то неуловимого поэтического оттенка. Некоторые самодовольные хвастуны, слишком рано уверовавшие в свою будущность, кажутся людьми умными только глупцам. В этом отношении все говорило в пользу неизвестного юноши, если измерять талант по тем проявлениям первоначальной робости, по той необъяснимой застенчивости, которую люди, созданные для славы, легко утрачивают, вращаясь постоянно в области искусства, как утрачивают робость красивые женщины, упражняясь постоянно в кокетстве. Привычка к успеху заглушает сомнения, а стыдливость и есть, быть может, один из видов сомнения.

Удрученный нуждой и удивляясь в эту минуту собственной своей дерзновенности, бедный новичок так и не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV, если бы на помощь не явился неожиданный случай. По лестнице поднялся какой-то старик. По странному его костюму, по великолепному кружевному воротнику, по важной, уверенной походке юноша догадался, что это или покровитель, или друг мастера, и, сделав шаг назад, чтобы уступить ему место, он стал его рассматривать с любопытством, в надежде найти в нем доброту художника или любезность, свойственную любителям искусства,— но в лице старика было что-то дьявольское и еще нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художников. Вообразите высокий выпуклый лоб с залысинами, нависающий над маленьким, плоским, вздернутым на конце носом, как у Рабле или Сократа; губы насмешливые и в морщинках; короткий, надменно приподнятый подбородок; седую остроконечную бороду; зеленые, цвета морской воды, глаза, которые как будто выцвели от старости, но, судя по

перламутровым переливам белка, были еще иногда способны бросать магнетический взгляд в минуту гнева или восторга. Впрочем, это лицо казалось поблекшим не столько от старости, сколько от тех мыслей, которые изнашивают и душу и тело. Ресницы уже выпали, а на надбровных дугах едва приметны были редкие волоски. Приставьте эту голову к хилому и слабому телу, окаймите ее кружевами, сверкающими белизной и поразительными по ювелирной тонкости работы, накиньте на черный камзол старика тяжелую золотую цепь, и вы получите несовершенное изображение этого человека, которому слабое освещение лестницы придавало фантастический оттенок. Вы сказали бы, что это портрет кисти Рембрандта, покинувший свою раму и молча движущийся в полутьме, столь излюбленной великим художником. Старик бросил проницательный взгляд на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет сорока на вид, открывшему дверь:

— Добрый день, мэтр.

Порбус учтиво поклонился; он впустил юношу, полагая, что тот пришел со стариком, и уже не обращал на него никакого внимания, тем более что новичок замер в восхищении, подобно всем прирожденным художникам, впервые попавшим в мастерскую, где они могут подсмотреть некоторые приемы искусства. Открытое окно, пробитое в своде, освещало помещение мастера Порбуса. Свет был сосредоточен на мольберте с прикрепленным к нему полотном, где было положено только три-четыре белых мазка, и не достигал углов этой обширной комнаты, в которых царил мрак; но прихотливые отсветы то зажигали в бурой полутьме серебристые блестки на выпуклостях рейтарской кирасы, висевшей на стене, то вырисовывали резкой полосой полированный резной карниз старинного шкафа, уставленного редкостной посудой, то усеивали блестящими точками пупырчатую поверхность каких-то старых занавесей из золотой парчи, подобранных крупными складками, служивших, вероятно, натурой для какой-нибудь картины.

Гипсовые слепки обнаженных мускулов, обломки и торсы античных богинь, любовно отшлифованные по-

целуями веков, загромождали полки и консоли. Бесчисленные наброски, этюды, сделанные тремя карандашами, сангиной или пером, покрывали стены до потолка. Ящички с красками, бутылки с маслами и эссенциями, опрокинутые скамейки оставляли только узенький проход, чтобы пробраться к высокому окну; свет из него падал прямо на бледное лицо Порбуса и на голый, цвета слоновой кости череп странного человека. Внимание юноши было поглощено одной лишь картиной, уже знаменитой даже в те тревожные, смутные времена, так что ее приходили смотреть упрямцы, которым мы обязаны сохранением священного огня в дни безвременья. Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды.

— Твоя святая мне нравится,— сказал старик Порбусу,— я заплатил бы тебе десять золотых экю сверх того, что дает королева, но попробуй посоперничай с ней... черт возьми!

— Вам нравится эта вещь?

— Хе-хе, нравится ли? — пробурчал старик.— И да и нет. Твоя женщина хорошо сложена, но она неживая. Вам всем, художникам, только бы правильно нарисовать фигуру, чтобы все было на месте по законам анатомии. Вы раскрашиваете линейный рисунок краской телесного тона, заранее составленной на вашей палитре, стараясь при этом делать одну сторону темнее, чем другую, и потому только, что время от времени вы смотрите на голую женщину, стоящую перед вами на столе, вы полагаете, что воспроизводите природу, вы воображаете, будто вы — художники и будто вы похитили тайну у бога... Брррр! Для того, чтобы быть великим поэтом, недостаточно знать в совершенстве синтаксис и не делать ошибок в языке! Посмотри на свою святую, Порбус! С первого взгляда она кажется прелестной, но, рассматривая ее дольше, замечаешь, что она приросла к полотну и что ее нельзя было бы обойти кругом. Это только силуэт, имеющий одну лицевую сторону, только вырезанное изображение, подобие женщины, которое не могло бы ни повернуться, ни переме-

нить положение, я не чувствую воздуха между этими руками и фоном картины; недостает пространства и глубины; а между тем законы удаления вполне выдержаны, воздушная перспектива соблюдена точно; но, несмотря на все эти похвальные усилия, я не могу поверить, чтобы это прекрасное тело было оживлено теплым дыханием жизни; мне кажется, если я приложу руку к этой округлой груди, я почувствую, что она холодна, как мрамор! Нет, друг мой, кровь не течет в этом теле цвета слоновой кости, жизнь не разливается пурпурной росой по венам и жилкам, переплетающимся сеткой под янтарной прозрачностью кожи на висках и на груди. Вот это место дышит, ну, а вот другое совсем неподвижно, жизнь и смерть борются в каждой частице картины; здесь чувствуется женщина, там — статуя, а дальше — труп. Твое создание несовершенно. Тебе удалось вдохнуть только часть своей души в свое любимое творение. Факел Прометея угасал не раз в твоих руках, и небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины.

— Но отчего же, дорогой учитель? — почтительно сказал Порбус старику, в то время как юноша еле сдерживался, чтобы не наброситься на него с кулаками.

— А вот отчего! — сказал старик.— Ты колебался между двумя системами, между рисунком и краской, между флегматичной мелочностью, жесткой точностью старых немецких мастеров и ослепительной страстностью, благостной щедростью итальянских художников. Ты хотел подражать одновременно Гансу Гольбейну и Тициану, Альбрехту Дюреру и Паоло Веронезе. Конечно, то было великолепное притязание. Но что же получилось? Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни иллюзии светотени. Как расплавленная медь прорывает слишком хрупкую форму, так вот в этом месте богатые и золотистые тона Тициана прорвались сквозь строгий контур Альбрехта Дюрера, в который ты их втиснул. В других местах рисунок устоял и выдержал великолепное изобилие венецианской палитры. В лице нет ни совершенства рисунка, ни совершенства колорита, и оно носит следы твоей злосчастной нерешительности. Раз ты не чувствовал за собой достаточной силы,

чтобы сплавить на огне твоего гения обе соперничающие меж собой манеры письма, то надо было решительно выбрать ту или другую, чтобы достичь хотя бы того единства, которое воспроизводит одну из особенностей живой натуры. Ты правдив только в срединных частях; контуры неверны, они не закругляются, и за ними ничего не ожидаешь. Вот здесь есть правда,— сказал старик, указывая на грудь святой.— И потом еще здесь,— продолжал он, отмечая точку, где на картине кончалось плечо.— Но вот тут,— сказал он, снова возвращаясь к середине груди,— тут все неверно... Оставим какой бы то ни было разбор, а то ты придешь в отчаяние...

Старик сел на скамеечку, опершись головой на руки и замолчал.

— Учитель,— сказал ему Порбус,— все же я много изучал эту грудь на нагом теле, но, на наше несчастье, природа порождает такие впечатления, какие кажутся невероятными на полотне...

— Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт! — живо воскликнул старик, обрывая Порбуса властным жестом.— Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму с женщины. Ну, так попробуй, сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи ее перед собой,— ты не увидишь ни малейшего сходства, это будет рука трупа, и тебе придется обратиться к ваятелю, который, не давая точной копии, передаст движение и жизнь. Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ. Впечатления! Впечатления! Да ведь они — только случайности жизни, а не сама жизнь! Рука, раз я уж взял этот пример, рука не только составляет часть человеческого тела — она выражает и продолжает мысль, которую надо схватить и передать. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, так как они нераздельны — одно в другом. Вот в этом и заключается истинная цель борьбы. Многие художники одерживают победу инстинктивно, не зная о такой задаче искусства. Вы рисуете женщину, но вы ее не видите. Не таким путем удается вырвать секрет у природы. Вы воспроизводите, сами

того не сознавая, одну и ту же модель, списанную вами у вашего учителя. Вы недостаточно близко познаете форму, вы недостаточно любовно и упорно следуете за нею во всех ее поворотах и отступлениях. Красота строга и своенравна, она не дается так просто, нужно поджидать благоприятный час, выслеживать ее и, схватив, держать крепко, чтобы принудить ее к сдаче. Форма — это Протей, куда более неуловимый и богатый ухищрениями, чем Протей в мифе! Только после долгой борьбы ее можно приневолить показать себя в настоящем виде. Вы все довольствуетесь первым обликом, в каком она соглашается вам показаться, или, в крайнем случае, вторым, третьим; не так действуют борцы-победители. Эти непреклонные художники не дают себя обмануть всяческими изворотами и упорствуют, пока не принудят природу показать себя совершенно нагой, в своей истинной сути. Так поступал Рафаэль,— сказал старик, сняв при этом с головы черную бархатную шапочку, чтобы выразить свое преклонение перед королем искусства.— Великое превосходство Рафаэля является следствием его способности глубоко чувствовать, которая у него как бы разбивает форму. Форма в его творениях та, какой она должна быть и у нас, только посредник для передачи идей, ощущений, разносторонней поэзии. Всякое изображение есть целый мир — это портрет, моделью которого было величественное видение, озаренное светом, указанное нам внутренним голосом и предстающее перед нами без покровов, если небесный перст указует нам выразительные средства, источник которых — вся прошлая жизнь. Вы облекаете ваших женщин в нарядную одежду плоти, украшаете их прекрасным плащом кудрей, но где же кровь, текущая по жилам, порождающая спокойствие или страсть и производящая совсем особое зрительное впечатление? Твоя святая — брюнетка, но вот эти краски, бедный мой Порбус, взяты у блондинки! Поэтому-то созданные вами лица — только раскрашенные призраки, которые вы проводите вереницей перед нашими глазами,— и это вы называете живописью и искусством! Только из-за того, что вы сделали нечто, более напоминающее женщину, чем дом, вы воображаете, что достигли цели, и, гордые тем, что вам нет надобности в надписях

при ваших изображениях — currus venustus[1] или pulcher homo[2],— как у первых живописцев, вы воображаете себя удивительными художниками!.. Ха-ха... Нет, вы этого еще не достигли, милые мои сотоварищи, придется вам исчертить немало карандашей, извести немало полотен, раньше чем стать художниками. Совершенно справедливо, женщина держит голову таким образом, она так приподнимает юбку, утомление в ее глазах светится вот такой покорной нежностью, трепещущая тень ее ресниц дрожит именно так на ее щеках. Все это так — и не так! Чего же здесь недостает? Пустяка, но этот пустяк — все. Вы схватываете внешность жизни, но не выражаете ее бьющего через край избытка; не выражаете того, что, быть может, и есть душа и что, подобно облаку, окутывает поверхность тел; иначе сказать, вы не выражаете той цветущей прелести жизни, которая была схвачена Тицианом и Рафаэлем. Исходя из высшей точки ваших достижений и продвигаясь дальше, можно, пожалуй, создать прекрасную живопись, но вы слишком скоро утомляетесь. Заурядные люди приходят в восторг, а истинный знаток улыбается. О Мабузе! — воскликнул этот странный человек.— О учитель мой, ты вор, ты унес с собою жизнь!.. При всем том,— продолжал старик,— это полотно лучше, чем полотна наглеца Рубенса с горами фламандского мяса, присыпанного румянами, с потоками рыжих волос и с кричащими красками. По крайней мере у тебя здесь имеются колорит, чувство и рисунок — три существенных части Искусства.

— Но эта святая восхитительна, сударь! — воскликнул громко юноша, пробуждаясь от глубокой задумчивости.— В обоих лицах, в лице святой и в лице лодочника, чувствуется тонкость художественного замысла, неведомая итальянским мастерам. Я не знаю ни одного из них, кто мог бы изобрести такое выражение нерешительности у лодочника.

— Это ваш юнец? — спросил Порбус старика.

— Увы, учитель, простите меня за дерзость,— ответил новичок, краснея.— Я неизвестен, малюю по вле-

---

[1] Прекрасная колесница *(лат.)*.
[2] Красивый человек *(лат.)*.

чению и прибыл только недавно в этот город, источник всех знаний.

— За работу! — сказал ему Порбус, подавая красный карандаш и бумагу.

Неизвестный юноша скопировал быстрыми штрихами фигуру Марии.

— Ого!..— воскликнул старик.— Ваше имя?

Юноша подписал под рисунком: «Никола́ Пуссен».

— Недурно для начинающего,— сказал странный, так безумно рассуждавший старик.— Я вижу, при тебе можно говорить о живописи. Я не осуждаю тебя за то, что ты восхитился святой Порбуса. Для всех эта вещь — великое произведение, и только лишь те, кто посвящен в самые сокровенные тайны искусства, знают, в чем ее погрешности. Но так как ты достоин того, чтобы дать тебе урок, и способен понимать, то я сейчас тебе покажу, какой требуется пустяк для завершения этой картины. Смотри во все глаза и напрягай все внимание. Никогда, быть может, тебе не выпадет другой такой случай поучиться. Дай-ка мне свою палитру, Порбус.

Порбус пошел за палитрой и кистями. Старик, порывисто засучив рукава, просунул большой палец в отверстие пестрой палитры, отягченной красками, которую Порбус подал ему; он почти что выхватил из рук его горсть кистей разного размера, и внезапно борода старика, подстриженная клином, грозно зашевелилась, выражая своими движениями беспокойство страстной фантазии. Забирая кистью краску, он ворчал сквозь зубы:

— Эти тона стоит бросить за окно вместе с их составителем, они отвратительно резки и фальшивы,— как этим писать?

Затем он с лихорадочной быстротой окунул кончики кистей в различные краски, иногда пробегая всю гамму проворнее церковного органиста, пробегающего по клавишам при пасхальном гимне O filii [1].

Порбус и Пуссен стояли по обеим сторонам полотна, погруженные в глубокое созерцание.

— Видишь ли, юноша,— говорил старик, не обора-

---

[1] О, сыновья *(лат.)*.

чиваясь,— видишь ли, как при помощи двух-трех штрихов и одного голубовато-прозрачного мазка можно было добиться, чтобы повеял воздух вокруг головы этой бедняжки святой, которая, должно быть, совсем задыхалась и погибала в столь душной атмосфере. Посмотри, как эти складки колышутся теперь и как стало понятно, что ими играет ветерок! Прежде казалось, что это накрахмаленное полотно, заколотое булавками. Замечаешь ли, как верно передает бархатистую упругость девичьей кожи вот этот светлый блик, только что мною положенный на грудь, и как эти смешанные тона — красно-коричневый и жженой охры — разлились теплом по этому большому затененному пространству, серому и холодному, где кровь застыла, вместо того чтобы двигаться? Юноша, юноша, никакой учитель тебя не научит тому, что я показываю тебе сейчас! Один лишь Мабузе знал секрет, как придавать жизнь фигурам. Мабузе насчитывал только одного ученика — меня. У меня же их не было совсем, а я стар. Ты достаточно умен, чтобы понять остальное, на что намекаю.

Говоря так, старый чудак тем временем исправлял разные части картины: сюда наносил два мазка, туда — один, и каждый раз так кстати, что возникала как бы новая живопись, живопись, насыщенная светом. Он работал так страстно, так яростно, что пот выступил на его голом черепе; он действовал так проворно, такими резкими, нетерпеливыми движениями, что молодому Пуссену казалось, будто этим странным человеком овладел демон и против его воли водит его рукой по своей прихоти. Сверхъестественный блеск глаз, судорожные взмахи руки, как бы преодолевающие сопротивление, придавали некоторое правдоподобие этой мысли, столь соблазнительной для юношеской фантазии. Старик продолжал свою работу, приговаривая:

— Паф! Паф! Паф! Вот как оно мажется, юноша! Сюда, мои мазочки, оживите вот эти ледяные тона. Ну же! Так, так, так! — говорил он, оживляя те части, на которые указывал как на безжизненные, несколькими пятнами красок уничтожая несогласованность в телосложении и восстанавливая единство тона, который соответствовал бы пылкой египтянке.— Видишь ли, милый, только последние мазки имеют значение. Порбус

наложил их сотни, я же кладу только один. Никто не станет благодарить за то, что лежит снизу. Запомни это хорошенько!

Наконец демон этот остановился и, повернувшись к онемевшим от восхищения Порбусу и Пуссену, сказал им:

— Этой вещи еще далеко до моей «Прекрасной Нуазезы», однако под таким произведением можно поставить свое имя. Да, я подписался бы под этой картиной,— прибавил он, вставая, чтобы достать зеркало, в которое стал ее рассматривать.— А теперь пойдемте завтракать,— сказал он.— Прошу вас обоих ко мне. Я угощу вас копченой ветчиной и хорошим вином. Хе-хе, несмотря на плохие времена, мы поговорим о живописи. Мы все-таки что-нибудь да значим! Вот молодой человек не без способностей,— добавил он, ударяя по плечу Никола Пуссена.

Тут, обратив внимание на жалкую курточку нормандца, старик достал из-за кушака кожаный кошелек, порылся в нем, вынул два золотых и, протягивая их Пуссену, сказал:

— Я покупаю твой рисунок.

— Возьми,— сказал Порбус Пуссену, видя, что тот вздрогнул и покраснел от стыда, потому что в молодом художнике заговорила гордость бедняка.— Возьми же, его мошна набита туже, чем у короля!

Они вышли втроем из мастерской и, беседуя об искусстве, дошли до стоявшего неподалеку от моста Сен-Мишель красивого деревянного дома, который привел в восторг Пуссена своими украшениями, дверной колотушкой, оконными переплетами и арабесками. Будущий художник оказался вдруг в приемной комнате, около пылающего камина, близ стола, уставленного вкусными блюдами, и, по неслыханному счастью, в обществе двух великих художников, столь милых в обращении.

— Юноша,— сказал Порбус новичку, видя, что тот уставился на одну из картин,— не смотрите слишком пристально на это полотно, иначе вы впадете в отчаяние.

Это был «Адам» — картина, написанная Мабузе затем, чтобы освободиться из тюрьмы, где его так долго держали заимодавцы. Вся фигура Адама полна была

действительно такой мощной реальности, что с этой минуты Пуссену стал понятен истинный смысл неясных слов старика. А тот смотрел на картину с видом удовлетворения, но без особого энтузиазма, как бы думая при этом: «Я получше пишу».

— В ней есть жизнь,— сказал он,— мой бедный учитель здесь превзошел себя, но в глубине картины он не совсем достиг правдивости. Сам человек — вполне живой, он вот-вот встанет и подойдет к нам. Но воздуха, которым мы дышим, неба, которое мы видим, ветра, который мы чувствуем, там нет! Да и человек здесь — только человек. Между тем в этом единственном человеке, только что вышедшем из рук бога, должно было бы чувствоваться нечто божественное, а его-то и недостает. Мабузе сам сознавался в этом с грустью, когда не бывал пьян.

Пуссен смотрел с беспокойным любопытством то на старца, то на Порбуса. Он подошел к последнему, вероятно, намереваясь спросить имя хозяина дома; но художник с таинственным видом приложил палец к устам, и юноша, живо заинтересованный, промолчал, надеясь рано или поздно по каким-нибудь случайно оброненным словам угадать имя хозяина, несомненно человека богатого и блещущего талантами, о чем достаточно свидетельствовали и уважение, проявляемое к нему Порбусом, и те чудесные произведения, какими была заполнена комната.

Увидя на темной дубовой панели великолепный портрет женщины, Пуссен воскликнул:

— Какой прекрасный Джорджоне!

— Нет! — возразил старик.— Перед вами одна из ранних моих вещиц.

— Господи, значит, я в гостях у самого бога живописи! — сказал простодушно Пуссен.

Старец улыбнулся, как человек, давно свыкшийся с подобного рода похвалами.

— Френхофер, учитель мой,— сказал Порбус,— не уступите ли вы мне немного вашего доброго рейнского?

— Две бочки,— ответил старик,— одну в награду за то удовольствие, какое я получил утром от твоей красивой грешницы, а другую — в знак дружбы.

— Ах, если бы не постоянные мои болезни,— продолжал Порбус,— и если бы вы разрешили мне взглянуть на вашу «Прекрасную Нуазезу», я создал бы тогда произведение высокое, большое, проникновенное и фигуры написал бы в человеческий рост.

— Показать мою работу?! — воскликнул в сильном волнении старик.— Нет, нет! Я еще должен завершить ее. Вчера под вечер,— сказал старик,— я думал, что я окончил свою Нуазезу. Ее глаза мне казались влажными, а тело одушевленным. Косы ее извивались. Она дышала! Хотя мною найден способ изображать на плоском полотне выпуклости и округлости натуры, но сегодня утром, при свете, я понял свою ошибку. Ах, чтобы добиться окончательного успеха, я изучил основательно великих мастеров колорита, я разобрал, я рассмотрел слой за слоем картины самого Тициана, короля света. Я так же, как этот величайший художник, наносил первоначальный рисунок лица светлыми и жирными мазками, потому что тень — только случайность, запомни это, мой мальчик. Затем я вернулся к своему труду и при помощи полутеней и прозрачных тонов, которые я понемногу сгущал, передал тени, вплоть до черных, до самых глубоких; ведь у заурядных художников натура в тех местах, где на нее падает тень, как бы состоит из другого вещества, чем в местах, освещенных,— это дерево, бронза, все что угодно, только не затененное тело. Чувствуется, что, если бы фигуры изменили свое положение, затененные места не выступили бы, не осветились бы. Я избег этой ошибки, в которую впадали многие из знаменитых художников, и у меня под самой густой тенью чувствуется настоящая белизна. Я не вырисовывал фигуру резкими контурами, как многие невежественные художники, воображающие, что они пишут правильно только потому, что выписывают гладко и тщательно каждую линию, и я не выставлял мельчайших анатомических подробностей, потому что человеческое тело не заканчивается линиями. В этом отношении скульпторы стоят ближе к истине, чем мы, художники. Натура состоит из ряда округлостей, переходящих одна в другую. Строго говоря, рисунка не существует! Не смейтесь, молодой человек. Сколь ни странными вам кажутся эти слова, когда-нибудь вы уразумеете их смысл. Линия есть способ,

посредством которого человек отдает себе отчет о воздействии освещения на облик предмета. Но в природе, где все выпукло, нет линий: только моделированием создается рисунок, то есть выделение предмета в той среде, где он существует. Только распределение света дает видимость телам! Поэтому я не давал жестких очертаний, я скрыл контуры легкою мглою светлых и теплых полутонов, так что у меня нельзя было бы указать пальцем в точности то место, где контур встречается с фоном. Вблизи эта работа кажется как бы мохнатой, ей словно недостает точности, но если отступить на два шага, то все сразу делается устойчивым, определенным и отчетливым, тела движутся, формы становятся выпуклыми, чувствуется воздух. И все-таки я еще не доволен, меня мучат сомнения. Может быть, не следовало проводить ни единой черты, может быть, лучше начинать фигуру с середины, принимаясь сперва за самые освещенные выпуклости, а затем уже переходить к частям более темным. Не так ли действует солнце, божественный живописец мира? О природа, природа! Кому когда-либо удалось поймать твой ускользающий облик? Но вот, поди ж ты, излишнее знание, так же как и невежество, приводит к отрицанию. Я сомневаюсь в моем произведении.

Старик помолчал, затем начал снова.

— Вот уже десять лет, юноша, как я работаю. Но что значат десять коротких лет, когда дело идет о том, чтобы овладеть живой природой! Нам неведомо, сколько времени потратил властитель Пигмалион, создавая ту единственную статую, которая ожила.

Старик впал в глубокое раздумье и, устремив глаза в одну точку, машинально вертел в руках нож.

— Это он ведет беседу со своим *духом*,— сказал Порбус вполголоса.

При этих словах Никола Пуссена охватило неизъяснимое художественное любопытство. Старик с бесцветными глазами, сосредоточенный на чем-то и оцепенелый, стал для Пуссена существом, превосходящим человека, предстал перед ним как причудливый гений, живущий в неведомой сфере. Он будил в душе тысячу смутных мыслей. Явлений духовной жизни, сказывающихся в подобном колдовском воздействии, нельзя определить точ-

но, как нельзя передать волнение, которое вызывает песня, напоминающая сердцу изгнанника о родине. Откровенное презрение этого старика к самым лучшим начинаниям искусства, его манеры, почтение, с каким относился к нему Порбус, его работа, так долго скрываемая работа, осуществленная ценой великого терпения и, очевидно, гениальная, если судить по эскизу головы богоматери, который вызвал столь откровенное восхищение молодого Пуссена и был прекрасен даже при сравнении с «Адамом» Мабузе, свидетельствуя о мощной кисти одного из державных властителей искусства,— все в этом старце выходило за пределы человеческой природы. В этом сверхъестественном существе пылкому воображению Никола Пуссена ясно, ощутительно представилось только одно: то, что это был совершенный образ прирожденного художника, одна из тех безумных душ, которым дано столько власти и которые ею слишком часто злоупотребляют, уводя за собой холодный разум простых людей и даже любителей искусства по тысяче каменистых дорог, где те не найдут ничего, между тем как этой душе с белыми крыльями, безумной в своих причудах, видятся там целые эпопеи, дворцы, создания искусства. Существо по природе насмешливое и доброе, богатое и бедное! Таким образом, для энтузиаста Пуссена этот старик преобразился внезапно в само искусство, искусство со всеми своими тайнами, порывами и мечтаниями.

— Да, милый Порбус,— опять заговорил Френхофер,— мне до сих пор не пришлось встретить безукоризненную красавицу, тело, контуры которого были бы совершенной красоты, а цвет кожи... Но где же найти ее живой,— сказал он, прерывая сам себя,— эту необретаемую Венеру древних? Мы так жадно ищем ее, но едва находим лишь разрозненные частицы ее красоты! Ах, чтобы увидать на одно мгновение, только один раз, божественно-прекрасную натуру, совершенство красоты — одним словом, идеал, я отдал бы все свое состояние. Я отправился бы за тобой в загробный мир, о небесная красота! Как Орфей, я сошел бы в ад искусства, чтобы привести оттуда жизнь.

— Мы можем уйти,— сказал Порбус Пуссену,— он нас уже не слышит и не видит.

— Пойдемте в его мастерскую,— ответил восхищенный юноша.

— О, старый рейтар предусмотрительно закрыл туда вход. Его сокровища очень хорошо оберегаются, и нам туда не проникнуть. Не у вас первого возникла такая мысль и такое желание, я уже пытался проникнуть в тайну.

— Тут, значит, есть тайна?

— Да,— ответил Порбус.— Старый Френхофер — единственный, кого Мабузе захотел взять себе в ученики. Френхофер стал его другом, спасителем, отцом, потратил на удовлетворение его страстей бóльшую часть своих богатств, а Мабузе взамен передал ему секрет рельефа, свое умение придавать фигурам ту необычайную жизненность, ту натуральность, над которой мы так безнадежно бьемся,— меж тем как Мабузе владел этим мастерством столь совершенно, что, когда ему случилось пропить шелковую узорчатую ткань, в которую ему предстояло облечься для присутствия при торжественном выходе Карла Пятого, Мабузе сопровождал туда своего покровителя в одеждах из бумаги, разрисованной под шелк. Необычайное великолепие костюма Мабузе привлекло внимание самого императора, который, выразив благодетелю старого пьяницы восхищение по этому поводу, тем самым способствовал раскрытию обмана. Френхофер — человек, относящийся со страстью к нашему искусству, воззрения его шире и выше, чем у других художников. Он глубоко размышлял по поводу красок, по поводу абсолютной правдивости линий, но дошел до того, что стал сомневаться даже в предмете своих размышлений. В минуту отчаяния он утверждал, что рисунка не существует, что линиями можно передать только геометрические фигуры. Это совершенно неверно уже потому, что можно создать изображение при помощи одних только линий и черных пятен, у которых ведь нет цвета. Это доказывает, что наше искусство составлено, как и сама природа, из множества элементов: в рисунке дается остов, колорит есть жизнь, но жизнь без остова — нечто более несовершенное, чем остов без жизни. И, наконец, самое важное: практика и наблюдательность для художника — все, и когда рассудок и поэзия не ладят с кистью, то человек доходит до сомнения, как наш старик,

художник искусный, но в такой же мере и сумасшедший. Великолепный живописец, он имел несчастье родиться богатым, что позволяло ему предаваться размышлениям. Не подражайте ему! Работайте! Художники должны рассуждать только с кистью в руках.

— Мы проникнем в эту комнату! — воскликнул Пуссен, не слушая более Порбуса, готовый на все ради смелой своей затеи.

Порбус улыбнулся, видя восторженность юного незнакомца, и расстался с ним, пригласив заходить к нему.

Никола Пуссен медленным шагом вернулся на улицу де-ля-Арп и, сам того не замечая, прошел мимо скромной гостиницы, в которой жил. Торопливо взобравшись по жалкой лестнице, он вошел в комнату, расположенную на самом верху, под кровлей с выступающими деревянными стропилами — простое и легкое прикрытие старых парижских домов. У тусклого и единственного окна этой комнаты Пуссен увидел девушку, которая при скрипе двери вскочила в любовном порыве,— она узнала художника по тому, как он взялся за ручку двери.

— Что с тобой? — сказала девушка.

— Со мной, со мной,— закричал он, задыхаясь от радости,— случилось то, что я почувствовал себя художником! До сих пор я сомневался в себе, но нынче утром я в себя поверил. Я могу стать великим! Да, Жиллетта, мы будем богатыми, счастливыми! Эти кисти принесут нам золото!

Но внезапно он смолк. Серьезное и энергичное лицо его утратило выражение радости, когда он сравнил свои огромные упования с жалкими своими средствами. Стены были оклеены гладкими обоями, испещренными карандашными эскизами. У него нельзя было найти четырех чистых полотен. Краски в то время стоили очень дорого, и палитра у бедняги была почти пуста. Живя в такой нищете, он был и сознавал себя обладателем невероятных духовных богатств, всепожирающей гениальности, бьющей через край. Привлеченный в Париж одним знакомым дворянином, а вернее сказать, собственным своим талантом, Пуссен случайно познакомился здесь со своей возлюбленной, благородной и великодушной, как

все те женщины, которые идут на страдания, связывая свою судьбу с великими людьми, делят с ними нищету, стараются понять их причуды, остаются стойкими в испытаниях бедности и в любви,— как другие бестрепетно бросаются в погоню за роскошью и щеголяют своей бесчувственностью. Улыбка, блуждавшая на губах Жиллетты, позлащала эту чердачную каморку и соперничала с блеском солнца. Ведь солнце не всегда светило, она же всегда была здесь, отдав страсти все свои душевные силы, привязавшись к своему счастью и к своему страданию, утешая гениального человека, который, прежде чем овладеть искусством, ринулся в мир любви.

— Подойди ко мне, Жиллетта, послушай.

Покорно и радостно девушка вскочила на колени к художнику. В ней все было очарование и прелесть, она была прекрасна, как весна, и наделена всеми сокровищами женской красоты, озаренными светом ее чистой души.

— О боже,— воскликнул он,— я никогда не посмею сказать ей...

— Какой-то секрет? — спросила она.— Ну, говори же! — Пуссен был погружен в раздумье.— Что ж ты молчишь?

— Жиллетта, милочка!

— Ах, тебе что-нибудь нужно от меня?

— Да...

— Если ты желаешь, чтобы я опять позировала тебе, как в тот раз,— сказала она, надув губки,— то я никогда не соглашусь, потому что в эти мгновения твои глаза мне больше ничего не говорят. Ты совсем обо мне не думаешь, хоть и смотришь на меня...

— Тебе было бы приятнее, чтобы мне позировала другая женщина?

— Может быть, но только, конечно, самая некрасивая.

— Ну, а что, если ради моей будущей славы,— продолжал Пуссен уже серьезно,— ради того, чтобы помочь мне стать великим художником, тебе пришлось бы позировать перед другим?

— Ты хочешь испытать меня? — сказала она.— Ты хорошо знаешь, что не стану.

Пуссен уронил голову на грудь, как человек, сраженный слишком большой радостью или невыносимой скорбью.

— Послушай,— сказала Жиллетта, теребя Пуссена за рукав поношенной куртки,— я тебе говорила, Ник, что готова ради тебя пожертвовать жизнью, но я никогда не обещала тебе, пока я жива, отказаться от своей любви...

— Отказаться от любви?! — воскликнул Пуссен.

— Ведь, если я покажусь в таком виде другому, ты меня разлюбишь. Да я и сама сочту себя недостойной тебя. Повиноваться твоим прихотям — вполне естественно и просто, не правда ли? Несмотря ни на что, я с радостью и даже с гордостью исполняю твою волю. Но для другого... Какая гадость!

— Прости, милая Жиллетта! — сказал художник, бросившись на колени.— Да лучше мне сохранить твою любовь, чем прославиться. Ты мне дороже богатства и славы! Так выброс мои кисти, сожги все эскизы. Я ошибся! Мое призвание — любить тебя. Я не художник, я любовник. Да погибнет искусство и все его секреты!

Она любовалась своим возлюбленным, радостная, восхищенная. Она властвовала, она инстинктивно сознавала, что искусство забыто ради нее и брошено к ее ногам.

— Все же художник этот — совсем старик,— сказал Пуссен,— он будет видеть в тебе только прекрасную форму. Красота твоя так совершенна!

— Чего не сделаешь ради любви! — воскликнула она, уже готовая поступиться своей щепетильностью, чтобы вознаградить возлюбленного за все жертвы, какие он ей приносит.— Но тогда я погибну,— продолжала она.—Ах, погибнуть ради тебя! Да, это прекрасно! Но ты меня забудешь... О, как ты это нехорошо придумал!

— Я это придумал, а ведь я люблю тебя,— сказал он с некоторым раскаянием в голосе.— Но, значит, я негодяй.

— Давай посоветуемся с дядюшкой Ардуэном! — сказала она.

— Ах, нет! Пусть это останется тайной между нами.

— Ну, хорошо, я пойду, но ты не входи со мною,—

сказала она.— Оставайся за дверью, с кинжалом наготове. Если я закричу, вбеги и убей художника.

Пуссен прижал Жиллетту к груди, весь поглощенный мыслью об искусстве.

«Он больше не любит меня»,— подумала Жиллетта, оставшись одна.

Она уже сожалела о своем согласии. Но вскоре ее охватил ужас, более жестокий, чем это сожаление. Она пыталась отогнать страшную мысль, зародившуюся в ее уме. Ей казалось, что она уже сама меньше любит художника с тех пор, как заподозрила, что он меньше достоин уважения.

II. КАТРИН ЛЕСКО

Три месяца спустя после встречи с Пуссеном Порбус пришел проведать мэтра Френхофера. Старик находился во власти того глубокого и внезапного отчаяния, причиной которого, если верить математикам от медицины, является плохое пищеварение, ветер, жара или отек в надчревной области, а согласно спиритуалистам — несовершенство нашей духовной природы. Старик простонапросто утомился, заканчивая свою таинственную картину. Он устало сидел в просторном кресле резного дуба, обитом черной кожей, и, не изменяя своей меланхолической позы, посмотрел на Порбуса так, как смотрит человек, уже свыкшийся с тоской.

— Ну, как, учитель,— сказал ему Порбус,— ультрамарин, за которым вы ездили в Брюге, оказался плохим? Или вам не удалось растереть наши новые белила? Или масло попалось дурное? Или кисти неподатливы?

— Увы! — воскликнул старик.— Мне казалось одно время, что труд мой закончен, но я, вероятно, ошибся в каких-нибудь частностях, и я не успокоюсь, пока всего не выясню. Я решил предпринять путешествие, собираюсь ехать в Турцию, Грецию, в Азию, чтобы там найти себе модель и сравнить свою картину с различными типами женской красоты. Может быть, у меня там, наверху,— сказал он с улыбкой удовлетворения,— сама живая красота. Иногда я даже боюсь, чтобы какое-нибудь дуновение не пробудило эту женщину и она не исчезла бы...

Затем он внезапно встал, как бы уже готовясь в путь.

— Ого,— воскликнул Порбус,— я пришел вовремя, чтобы избавить вас от дорожных расходов и тягот!

— Как так? — спросил удивленно Френхофер.

— Оказывается, молодого Пуссена любит женщина несравненной, безупречной красоты. Но только, дорогой учитель, если уж он согласится отпустить ее к вам, то вам, во всяком случае, придется показать нам свое полотно.

Старик стоял как вкопанный, застыв от изумления.

— Как?! — горестно воскликнул он, наконец.— Показать мое творение, мою супругу? Разорвать завесу, которой я целомудренно прикрывал свое счастье? Но это было бы отвратительным непотребством! Вот уже десять лет, как я живу одной жизнью с этой женщиной, она моя и только моя, она любит меня. Не улыбалась ли она мне при каждом новом блике, положенном мною? У нее есть душа, я одарил ее этой душою. Эта женщина покраснела бы, если бы кто-нибудь, кроме меня, взглянул на нее. Показать ее?! Но какой муж или любовник настолько низок, чтобы выставлять свою жену на позорище? Когда ты пишешь картину для двора, ты не вкладываешь в нее всю душу, ты продаешь придворным вельможам только раскрашенные манекены. Моя живопись — не живопись, это само чувство, сама страсть! Рожденная в моей мастерской, прекрасная Нуазеза должна там оставаться, храня целомудрие, и может оттуда выйти только одетой. Поэзия и женщина предстают нагими лишь перед своим возлюбленным. Разве знаем мы модель Рафаэля или облик Анджелики, воссозданной Ариосто, Беатриче, воссозданной Данте? Нет! До нас дошло лишь изображение этих женщин. Ну, а мой труд, хранимый мною наверху за крепкими запорами,— исключение в нашем искусстве. Это не картина, это женщина — женщина, с которой вместе я плачу, смеюсь, беседую и размышляю. Ты хочешь, чтобы я сразу расстался с десятилетним моим счастьем так просто, как сбрасывают с себя плащ? Чтобы я вдруг перестал быть отцом, любовником и богом! Эта женщина не просто творение, она творчество. Пусть приходит твой юноша, я отдам ему свои сокровища, картины самого Корреджо, Микеланджело, Тициана, я буду целовать в пыли следы его ног; но сделать его

своим соперником — какой позор! Ха-ха, я еще в большей мере любовник, чем художник. Да, у меня хватит сил сжечь мою прекрасную Нуазезу при последнем моем издыхании; но чтобы я позволил смотреть на нее чужому мужчине, юноше, художнику? — нет! нет! Я убью на следующий же день того, кто осквернит ее взглядом! Я убил бы тебя в тот же миг, тебя, моего друга, если бы ты не преклонил перед ней колени. Так неужели ты хочешь, чтобы я предоставил мой кумир холодным взорам и безрассудной критике глупцов! Ах! Любовь — тайна, любовь жива только глубоко в сердце, и все погибло, когда мужчина говорит хотя бы своему другу: вот та, которую я люблю...

Старик словно помолодел: глаза его засветились и оживились, бледные щеки покрылись ярким румянцем. Руки его дрожали. Порбус, удивленный страстной силой, с какой были сказаны эти слова, не знал, как отнестись к столь необычным, но глубоким чувствам. В своем ли уме Френхофер, или он безумен? Владела ли им фантазия художника, или высказанные им мысли были следствием непомерного фанатизма, возникающего, когда человек вынашивает в себе большое произведение? Есть ли надежда до чего-нибудь договориться с чудаком, одержимым такою нелепой страстью?

Обуянный всеми этим мыслями, Порбус сказал старику:

— Но ведь тут женщина — за женщину! Разве Пуссен не предоставляет свою любовницу вашим взорам?

— Какую там любовницу! — возразил Френхофер.— Рано или поздно она ему изменит. Моя же будет мне всегда верна.

— Что ж,— сказал Порбус,— не будем больше говорить об этом. Но раньше, чем вам удастся встретить, будь то даже в Азии, женщину, столь же безупречно красивую, как та, про которую я говорю, вы ведь можете умереть, не закончив своей картины.

— О, она окончена,— сказал Френхофер.— Тот, кто посмотрел бы на нее, увидел бы женщину, лежащую под пологом на бархатном ложе. Близ женщины — золотой треножник, разливающий благовония. У тебя явилось бы желание взяться за кисть шнура, подхватывающего занавес, тебе казалось бы, что ты видишь, как дышит

грудь прекрасной куртизанки Катрин Леско, по прозванию «Прекрасная Нуазеза». А все-таки я хотел бы увериться...

— Так поезжайте в Азию,— ответил Порбус, заметив во взоре Френхофера какое-то колебание.

И Порбус уже направился к дверям.

В это мгновение Жиллетта и Никола Пуссен подошли к жилищу Френхофера. Уже готовясь войти, девушка высвободила руку из руки художника и отступила, как бы охваченная внезапным предчувствием.

— Но зачем я иду сюда? — с тревогой в голосе спросила она своего возлюбленного, устремив на него глаза.

— Жиллетта, я предоставил тебе решать самой и хочу тебе во всем повиноваться. Ты моя совесть и моя слава. Возвращайся домой, я, быть может, почувствую себя счастливее, чем если ты...

— Разве я могу что-нибудь решать, когда ты со мною так говоришь? Нет, я становлюсь просто ребенком. Идем же,— продолжала она, видимо, делая огромное усилие над собою,— если наша любовь погибнет и я жестоко буду каяться в своем поступке, то все же не будет ли твоя слава вознаграждением за то, что я подчинилась твоим желаниям?.. Войдем! Я все же буду жить, раз обо мне останется воспоминание на твоей палитре.

Открыв дверь, влюбленные встретились с Порбусом, и тот, пораженный красотою Жиллетты, у которой глаза были полны слез, схватил ее за руку, подвел ее, всю трепещущую, к старику и сказал:

— Вот она! Разве она не стоит всех шедевров мира?

Френхофер вздрогнул. Перед ним в бесхитростно простой позе стояла Жиллетта, как юная грузинка, пугливая и невинная, похищенная разбойниками и отведенная ими к работорговцу. Стыдливый румянец заливал ее лицо, она опустила глаза, руки ее повисли, казалось, она теряет силы, а слезы ее были немым укором насилию над ее стыдливостью. В эту минуту Пуссен в отчаянии проклинал сам себя за то, что извлек это сокровище из своей каморки. Любовник взял верх над художником, и тысячи мучительных сомнений вкрались в сердце Пуссена, когда он увидел, как помолодели глаза старика, как он, по привычке художников, так сказать, раздевал де-

вушку взглядом, угадывая в ее телосложении все, вплоть до самого сокровенного. Молодой художник познал тогда жестокую ревность истинной любви.

— Жиллетта, уйдем отсюда! — воскликнул он.

При этом восклицании, при этом крике возлюбленная его радостно подняла глаза, увидела его лицо и бросилась в его объятия.

— А, значит, ты меня любишь! — отвечала она, заливаясь слезами.

Проявив столько мужества, когда надо было утаить свои страдания, она теперь не нашла в себе сил, чтобы скрыть свою радость.

— О, предоставьте мне ее на одно мгновение,— сказал старый художник,— и вы сравните ее с моей Катрин. Да, я согласен!

В возгласе Френхофера все еще чувствовалась любовь к созданному им подобию женщины. Можно было подумать, что он гордится красотой своей Нуазезы и заранее предвкушает победу, которую его творение одержит над живой девушкой.

— Ловите его на слове! — сказал Порбус, хлопая Пуссена по плечу.— Цветы любви недолговечны, плоды искусства бессмертны.

— Неужели я для него только женщина? — ответила Жиллетта, внимательно глядя на Пуссена и Порбуса.

Она с гордостью подняла голову и бросила сверкающий взгляд на Френхофера, но вдруг заметила, что ее возлюбленный любуется картиной, которую при первом посещении он принял за произведение Джорджоне, и тогда Жиллетта решила:

— Ах, идемте наверх. На меня он никогда так не смотрел.

— Старик,— сказал Пуссен, выведенный голосом Жиллетты из задумчивости,— видишь ли ты этот кинжал? Он пронзит твое сердце при первой жалобе этой девушки, я подожгу твой дом, так что никто из него не выйдет. Понимаешь ли ты меня?

Никола Пуссен был мрачен. Речь его звучала грозно. Слова молодого художника и в особенности жест, которым они сопровождались, успокоили Жиллетту, и она почти простила ему то, что он принес ее в жертву искусству и своему славному будущему.

Порбус и Пуссен стояли у двери мастерской и молча глядели друг на друга. Вначале автор Марии Египетской позволял себе делать некоторые замечания: «Ах, она раздевается... Он велит ей повернуться к свету!.. Он сравнивает ее...» — но вскоре он замолчал, увидев на лице у Пуссена глубокую грусть; хотя в старости художники уже чужды таких предрассудков, ничтожных в сравнении с искусством, тем не менее Порбус любовался Пуссеном: так он был мил и наивен. Сжимая рукоятку кинжала, юноша почти вплотную приложил ухо к двери. Стоя здесь в тени, оба они похожи были на заговорщиков, выжидающих, когда настанет час, чтобы убить тирана.

— Входите, входите! — сказал им старик, сияя счастьем.— Мое произведение совершенно, и теперь я могу с гордостью его показать. Художник, краски, кисти, полотно и свет никогда не создадут соперницы для моей Катрин Леско, прекрасной куртизанки.

Охваченные нетерпеливым любопытством, Порбус и Пуссен выбежали на середину просторной мастерской, где все было в беспорядке и покрыто пылью, где тут и там висели на стенах картины. Оба они остановились сначала перед изображением полунагой женщины в человеческий рост, которое привело их в восторг.

— О, на эту вещь не обращайте внимания,— сказал Френхофер,— я делал наброски, чтобы изучить позу, картина ничего не стоит.— А тут мои заблуждения,— продолжал он, показывая художникам чудесные композиции, развешанные всюду по стенам.

При этих словах Порбус и Пуссен, изумленные презрением Френхофера к таким картинам, стали искать портрет, о котором шла речь, но не могли его найти.

— Вот, смотрите! — сказал им старик, у которого растрепались волосы, лицо горело каким-то сверхъестественным оживлением, глаза искрились, а грудь судорожно вздымалась, как у юноши, опьяненного любовью.— Ага! — воскликнул он.— Вы не ожидали такого совершенства? Перед вами женщина, а вы ищете картину. Так много глубины в этом полотне, воздух так верно передан, что вы не можете его отличить от воздуха, которым вы дышите. Где искусство? Оно пропало, исчезло. Вот тело девушки. Разве не верно схвачены колорит, живые

очертания, где воздух соприкасается с телом и как бы облекает его? Не представляют ли предметы такого же явления в атмосфере, как рыбы в воде? Оцените, как контуры отделяются от фона. Не кажется ли вам, что вы можете охватить рукой этот стан? Да, недаром я семь лет изучал, какое впечатление создается при сочетании световых лучей с предметами. А эти волосы — как они насыщены светом! Но она вздохнула, кажется!.. Эта грудь... Смотрите! Ах, кто перед ней не опустится на колени? Тело трепещет! Она сейчас встанет, подождите...

— Видите вы что-нибудь? — спросил Пуссен Порбуса.

— Нет. А вы?

— Ничего.

Предоставляя старику восторгаться, оба художника стали проверять, не уничтожает ли все эффекты свет, падая прямо на полотно, которое Френхофер им показывал. Они рассматривали картину, отходя направо, налево, то становясь напротив, то нагибаясь, то выпрямляясь.

— Да, да, это ведь картина,— говорил им Френхофер, ошибаясь относительно цели такого тщательного осмотра.— Глядите, вот здесь рама, мольберт, а вот, наконец, мои краски и кисти...

И, схватив одну из кистей, он простодушно показал ее художникам.

— Старый ландскнехт смеется над нами,— сказал Пуссен, подходя снова к так называемой картине.— Я вижу здесь только беспорядочное сочетание мазков, очерченное множеством странных линий, образующих как бы ограду из красок.

— Мы ошибаемся, посмотрите!..— возразил Порбус.

Подойдя ближе, они заметили в углу картины кончик голой ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность,— кончик прелестной ноги, живой ноги. Они остолбенели от изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного, медленного, постепенного разрушения. Нога на картине производила такое же впечатление, как торс какой-нибудь Венеры из паросского мрамора среди руин сожженного города.

— Под этим скрыта женщина! — воскликнул Порбус, указывая Пуссену на слои красок, наложенные старым художником один на другой в целях завершения картины.

Оба художника невольно повернулись в сторону Френхофера, начиная постигать, хотя еще смутно, тот экстаз, в котором он жил.

— Он верит тому, что говорит,— сказал Порбус.

— Да, друг мой,— ответил старик, приходя в себя,— верить необходимо. В искусство надо верить, и надо сжиться со своей работой, чтобы создать подобное произведение. Некоторые из этих пятен тени отняли у меня немало сил. Смотрите, вот здесь, на щеке, под глазом, лежит легкая полутень, которая в природе, если вы обратите на нее внимание, покажется вам почти непередаваемой. И как вы думаете, разве этот эффект не стоил мне неслыханных трудов? А затем, мой дорогой Порбус, рассмотрика внимательней мою работу, и ты лучше поймешь то, что я говорил тебе относительно округлостей и контуров. Вглядись в освещение на груди и заметь, как при помощи ряда бликов и выпуклых, густо наложенных мазков мне удалось сосредоточить здесь настоящий свет, сочетая его с блестящей белизной освещенного тела, и как, наоборот, удаляя выпуклости и шероховатость краски, постоянно сглаживая контуры моей фигуры там, где она погружена в полумрак, я добился того, что бесследно уничтожил рисунок и всякую искусственность и придал линиям тела закругленность, существующую в природе. Подойдите поближе, вам виднее будет фактура. Издали ее не разглядишь. Вот здесь она, полагаю, весьма достойна внимания.

И кончиком кисти он указал художникам на густой слой светлой краски...

Порбус похлопал старика по плечу и, повернувшись к Пуссену, сказал:

— Знаете ли вы, что мы считаем его подлинно великим художником?

— Он более поэт, чем художник,— сказал серьезно Пуссен.

— Тут вот,— продолжал Порбус, дотронувшись до картины,— кончается наше искусство на земле...

— И, исходя отсюда, теряется в небесах,— сказал Пуссен.

— Сколько пережитых наслаждений на этом полотне!

Поглощенный своими мыслями, старик не слушал художников: он улыбался воображаемой женщине.

— Но рано или поздно он заметит, что на его полотне ничего нет! — воскликнул Пуссен.

— Ничего нет на моем полотне? — спросил Френхофер, глядя попеременно то на художника, то на мнимую картину.

— Что вы наделали! — обратился Порбус к Пуссену.

Старик с силой схватил юношу за руку и сказал ему:

— Ты ничего не видишь, деревенщина, разбойник, ничтожество, дрянь! Зачем же ты пришел сюда?.. Мой добрый Порбус,— продолжал он, поворачиваясь к художнику,— а вы, вы тоже насмехаетесь надо мной? Отвечайте! Я ваш друг. Скажите, я, может быть, испортил свою картину?

Порбус, колеблясь, не решался ответить, но на бледном лице старика запечатлено было столь жестокое беспокойство, что Порбус показал на полотно и сказал:

— Смотрите сами!

Френхофер некоторое время рассматривал свою картину и вдруг зашатался.

— Ничего! Ровно ничего! А я проработал десять лет! — Он сел и заплакал.

— Итак, я глупец, безумец! У меня нет ни таланта, ни способностей, я только богатый человек, который бесполезно живет на свете. И мною, стало быть, ничего не создано!

Он смотрел на свою картину сквозь слезы. Вдруг он гордо выпрямился и окинул обоих художников сверкающим взором.

— Клянусь плотью и кровью Христа, вы просто завистники! Вы хотите внушить мне, что картина испорчена, чтобы украсть ее у меня! Но я, я ее вижу,— кричал он,— она дивной красоты!

В эту минуту Пуссен услышал плач Жиллетты, забытой в углу.

— Что с тобой, мой ангел? — спросил ее художник, снова ставший любовником.

— Убей меня,— сказала она.— Любить тебя по-прежнему было бы позорно, потому что я презираю тебя. Я любуюсь тобой, и ты мне отвратителен. Я тебя люблю, и мне кажется, уже ненавижу тебя.

Пока Пуссен слушал Жиллетту, Френхофер задергивал свою Катрин зеленой саржей так же спокойно и заботливо, как ювелир задвигает свои ящики, полагая, что имеет дело с ловкими ворами. Он окинул обоих художников угрюмым взором, полным презрения и недоверчивости, затем молча, с какой-то судорожной торопливостью проводил их за дверь мастерской и сказал им на пороге своего дома:

— Прощайте, голубчики!

Такое прощание навело тоску на обоих художников.

На следующий день Порбус, тревожась о Френхофере, пошел к нему снова его навестить и узнал, что старик умер в ночь, сжегши все свои картины.

Париж, февраль 1832 г.

ПРОЩАЙ!

Князю Фридриху Шварценбергу.

— Ну, депутат центра, пошевеливайся! Нужно прибавить шагу, если мы хотим вовремя попасть к обеду. Прыгай, маркиз! Вот так! Хорошо! Вы скачете, как настоящая серна!

Этими словами встретил своего спутника, уже давно, по-видимому, плутавшего в лесных зарослях, охотник, удобно расположившийся с гаванской сигарой на опушке леса в Иль-Адане.

Четыре тяжело дышавшие охотничьи собаки, лежащие у его ног, тоже глядели на того, к кому он обращался. Чтобы понять, сколько насмешки заключалось в этих поощрительных возгласах, нужно сказать, что заблудившийся охотник был коротенький, толстый человек с изрядным брюшком и дородностью, свидетельствовавшей о его принадлежности к судейскому сословию.

Он с трудом шагал по бороздам недавно сжатого поля, и жниво мешало ему идти; к тому же под отвесными лучами нещадно палящего солнца его лицо покрылось крупными каплями пота. Стремясь сохранить равновесие, он шел раскачиваясь и подпрыгивая, напоминая едущую по ухабам карету.

Стоял один из тех жарких сентябрьских дней, в тропическом зное которых дозревает виноград.

Все предвещало грозу. И хотя между черными тучами на горизонте виднелись еще голубые просветы, но рыжие облака стремительно неслись с запада на восток, оставляя за собой легкую сероватую завесу.

Ветер дул только в верхних слоях атмосферы, а в низинах скапливались горячие испарения земли.

Долина, которую пересекал охотник, была окружена высокими деревьями, они мешали доступу воздуха, и в ней было жарко, как в раскаленной печи. Притихший от зноя лес, казалось, изнемогал от жажды.

Птицы и насекомые словно замерли, лишь чуть колыхались верхушки деревьев. Те, кто хоть немного помнит лето 1819 года, должны посочувствовать страданиям несчастного служителя правосудия, который обливался потом, чтобы догнать своего насмешливого спутника. А тот, докуривая сигару, определил по солнцу, что время близится к пяти часам.

— Куда это нас черт занес? — сказал, вытирая лоб, толстый охотник, прислонившись вблизи от своего спутника к росшему в поле дереву; он почувствовал, что перепрыгнуть через разделяющую их канаву у него не хватит сил.

— И ты еще меня спрашиваешь?—возразил ему, смеясь, охотник, улегшийся на откосе среди высоких пожелтевших трав.— Клянусь святым Губертом,— воскликнул он, швырнув окурок сигары в канаву,— что не попадусь больше на удочку и не пойду блуждать по незнакомым местам с сановником, хотя бы он был подобно тебе, дорогой д'Альбон, моим старым школьным товарищем!

— Вы что, Филипп, очевидно, перестали понимать по-французски? Вы оставили в Сибири свой рассудок,— сказал толстяк, бросив трагикомический взгляд на стоявший в сотне шагов от них придорожный столб.

— Нет, понимаю,— отвечал Филипп; схватив ружье, он мигом вскочил, одним прыжком очутился на поле и помчался к столбу.— Ко мне, д'Альбон, ко мне! Полуоборот на-лево! — крикнул он своему приятелю, указывая рукой на широкую мощеную дорогу.— *Дорога из Байе в Иль-Адан*,— продолжал он,— значит, в этом направлении мы найдем и дорогу в Кассан, которая должна пересекать дорогу в Иль-Адан.

— Совершенно верно, полковник,— сказал д'Альбон, надевая кепи, которым он обмахивался.

— Ну, так вперед, уважаемый советник,— отвечал полковник Филипп, свистнув собак, которые, казалось, слушались его больше, чем своего хозяина-судью.

— Известно ли вам, господин маркиз,— продолжал подтрунивать полковник,— что нам осталось еще больше двух лье? Деревня, которая виднеется, вероятно, Байе.

— Господи,— воскликнул маркиз д'Альбон,— отправляйтесь в Кассан, если это вам приятно, но отправляйтесь туда один! Я же предпочту, несмотря на грозу, дождаться лошади, которую вы мне пришлете из замка. Вы вдоволь посмеялись надо мной, Сюси. Предполагалось, что мы немного поохотимся, не слишком удаляясь от Кассана, побродим по знакомым местам. А вместо того, чтобы поразвлечься, мне приходится по вашей милости, как борзой, носиться с четырех часов утра да еще вместо завтрака довольствоваться чашкой молока. Нет, если у вас когда-нибудь будет дело в суде, вы его у меня проиграете, будь вы хоть сто раз правы!

И, сняв ружье и пустой ягдташ, охотник с тяжелым вздохом опустился на камень у придорожного столба.

— Вот каковы твои депутаты, Франция! — смеясь, воскликнул полковник де Сюси.— Ах, бедный мой д'Альбон, если бы вы, подобно мне, провели шесть лет в дебрях Сибири...

Он замолчал, подняв взор к небу, точно несчастья его были известны лишь одному богу да ему самому.

— Ну, вперед! — добавил он.— Стоит вам тут засесть — вы пропали.

— Что же вы хотите, Филипп?! Заседать — неискоренимая привычка судей! Клянусь вам, я выбился из сил! И хоть одного бы зайца ухлопал!

Охотники являли собой довольно редкостный контраст. Служителю правосудия было сорок два года, а выглядел он не старше тридцати, тогда как тридцатилетнему воину можно было дать по меньшей мере лет сорок. Каждый из них был украшен красной ленточкой в петлице — знаком офицера ордена Почетного легиона. Несколько прядей черных с проседью волос, точно черное с белым крыло сороки, выбивалось из-под фуражки полковника; а у судьи были прекрасные белокурые кудри. Один был высокого роста, сухой, худощавый и нервный; морщины на его бледном лице свидетельствовали о жестоких страстях или тяжком горе; у другого был цветущий вид эпикурейца. Лица у обоих были покрыты загаром, а их высокие рыжие кожаные гетры носили на себе следы всех

рытвин и болот, через которые им пришлось пробираться.

— Ну,— крикнул г-н де Сюси,— вперед! Какой-нибудь час ходьбы — и мы будем в Кассане за накрытым столом.

— Вы, верно, никогда не любили,— отвечал советник с комически жалким выражением лица,— вы беспощадны, как 304-я статья Уголовного кодекса.

Филипп де Сюси сильно вздрогнул; его широкий лоб избороздили морщины, лицо потемнело, как небо над их головой. Бесконечно горькие воспоминания исказили все его черты, но глаза оставались сухими. Как и все сильные люди, он умел скрывать свои чувства и, подобно многим целомудренным натурам, считал, вероятно, нескромным обнажать свои раны, ибо не нашлось бы слов, чтобы выразить всю их глубину, к тому же он страшился насмешек людей, неспособных его понять. Г-н д'Альбон принадлежал к числу тех чутких натур, которые умеют угадывать чужие страдания и бывают огорчены, когда непроизвольно нанесут другому удар. Поэтому он не нарушил молчание друга и, позабыв о своей усталости, поднялся и последовал за ним, весьма опечаленный тем, что коснулся, очевидно, не зажившей еще раны.

— Когда-нибудь, мой друг,— сказал Филипп, пожав ему руку и полным отчаяния взглядом поблагодарив за немое раскаяние,— когда-нибудь я расскажу тебе свою жизнь. Но сегодня я не в силах.

Они молча продолжали путь. Когда судья заметил, что полковник успокоился, он снова вспомнил свою усталость; с инстинктом, или, вернее, с упорством, утомленного человека он старался проникнуть взглядом в глубину лесной чащи. Он всматривался в верхушки деревьев, приглядывался к тропинкам, надеясь обнаружить какое-нибудь жилье, где можно было бы попросить приюта. На одном из поворотов ему показалось, что он видит вьющийся между деревьев легкий дымок. Он остановился, стал пристально вглядываться и рассмотрел в густой чаще темно-зеленые ветви нескольких сосен.

— Дом! Дом! — закричал он радостно, как моряк кричит «Земля!» «Земля!».

Потом стремительно ринулся в лесную чащу, куда по-

груженный в думы полковник машинально за ним последовал.

— Лучше получить здесь яичницу, домашний хлеб и простую скамью, чем тащиться за диванами, трюфелями и бордоским вином в Кассан.

Эти восторженно прозвучавшие слова вырвались у советника, когда среди узловатых коричневых древесных стволов он разглядел белеющую вдали стену.

— Да это бывший монастырь! — вновь воскликнул маркиз д'Альбон, подходя к старинной почерневшей ограде, за которой в глубине обширного парка виднелось здание, построенное в том стиле, в каком строились когда-то монастыри.— Плуты-монахи умели выбрать местечко!

Этим новым восклицанием судья выразил свое восхищение поэтичностью обители, представшей перед его взорами. Она была построена на склоне горы, на вершине которой находится деревня Нервилль. Огромные вековые дубы, широким кольцом обступившие монастырь, усугубляли его уединенность. Часть здания, где помещались когда-то монахи, выходила на юг. Парк растянулся, по-видимому, арпанов на сорок.

Перед домом расстилался зеленый луг, красиво пересеченный несколькими прозрачными ручейками и живописно разбросанными водоемами, в которых не чувствовалось ничего искусственного. Там и сям зеленели разнообразные деревья причудливой формы. Искусно устроенные гроты, монументальные террасы с полуразрушенными лестницами и заржавевшими перилами придавали своеобразный вид этим диким фиваидам.

Ухищрения искусства присоединились здесь к живописнейшим эффектам природы. Казалось, человеческие страсти должны замереть у подножия огромных деревьев, которые оберегали этот приют как от мирского шума, так и от солнечного зноя.

«Какое запустение!» — подумал д'Альбон, любуясь суровой красотой, которую развалины придавали пейзажу, словно отмеченному каким-то проклятием. Это зловещее место, казалось, было покинуто людьми. Плющ протянул повсюду свои извилистые побеги, развесил свой роскошный плащ. Коричневый, зеленый, желтый и багряный мох живописными пятнами покрывал деревья,

скамьи, крыши, камни. Оконные рамы были источены червями, разъедены дождем, изрыты временем; балконы обвалились, террасы были разрушены. Некоторые ставни держались на одном только навесе. Рассохшиеся двери едва ли могли оградить от нападения.

Вдали виднелись отягченные пучками блестящей омелы ветви одичавших и ставших бесплодными фруктовых деревьев. Аллеи поросли высокой травой. Эта заброшенность придавала поэтическое очарование всей картине и порождала мечтательность в душе зрителя. Поэт надолго замер бы перед ней, погрузившись в меланхолию, плененный таким художественным беспорядком, такой прелестью разрушения.

В этот миг несколько солнечных лучей, проскользнувших в просвет между тучами, заблистали тысячью красок, озарив полудикий пейзаж. Засверкала коричневая черепица, заблестел мох, на лужайках под деревьями заплясали фантастические тени; ожили мертвые краски, заиграли контрасты, четко вырисовывалась на свету листва. Но вдруг свет погас. И заговоривший было пейзаж умолк, снова стал темным или, вернее, тусклым, как самые тусклые тона осенних сумерек.

«Это замок Спящей красавицы,— подумал советник, который смотрел на дом так, словно уже купил его.— Кому бы он мог принадлежать? Нужно быть изрядным глупцом, чтобы не жить в таком чудесном поместье».

Внезапно из-под орехового дерева, росшего справа от решетчатых ворот, выскочила женщина и бесшумно, словно тень от облака, быстро скользнула мимо онемевшего от удивления советника.

— Что с вами, д'Альбон? — спросил у него полковник.

— Я тру себе глаза, чтобы узнать, сплю я или бодрствую,— отвечал судья, прильнув к решетчатым воротам, стараясь еще раз увидеть призрак.— Она, верно, под этой смоковницей,— сказал он Филиппу, указывая на листву дерева, подымавшегося над стеной слева от решетчатых ворот.

— Кто «она»?

— Ах! Разве я знаю? — отвечал д'Альбон.— Только что промелькнула какая-то странная женщина,—тихо сказал он.— Мне показалось, что она принадлежит скорее

к царству теней, нежели к миру людей. Она так гибка, так легка и воздушна, что должна быть прозрачной. Лицо у нее молочной белизны. Одежда, глаза и волосы черные. На какое-то мгновение ее глаза остановились на мне, и хоть я не из пугливых, но от ее неподвижного и холодного взгляда у меня в жилах застыла кровь.

— Она красива? — спросил Филипп.

— Не знаю. Я видел только ее глаза.

— К черту Кассан с его обедом!—воскликнул полковник.— Останемся здесь. У меня ребяческое желание проникнуть в это странное поместье. Видишь эти выкрашенные в красный цвет оконные рамы и красные узоры на оконных и дверных наличниках? Не чудится ли тебе, что это — жилище дьявола? Он получил его, возможно, в наследство от монахов. Последуем за бледной дамой в черном! Вперед! — воскликнул Филипп с деланной беззаботностью.

В этот миг охотники услыхали какой-то звук, похожий на писк попавшейся в мышеловку мыши. Они прислушались: лишь легкий шелест листьев кустарника, задетых кем-то в тишине, подобный шепоту набежавшей волны. Но как они ни напрягали слух, чтобы уловить еще какой-нибудь шорох, земля безмолвствовала, не выдавая шагов незнакомки, если там проскользнула действительно она.

— Как это странно! — воскликнул Филипп, шагая вдоль окружавшей парк стены.

Оба друга пришли вскоре к лесной тропе, ведущей в деревню Шаври. Пройдя этой тропой до дороги в Париж, они оказались перед решетчатой оградой и увидали главный фасад таинственного здания. Запустение достигло здесь крайних пределов.

Гигантские трещины избороздили стены построенного прямоугольником здания. Груды осколков черепицы и шифер, валявшиеся на земле, разрушенные крыши — все говорило о полной заброшенности. Упавшие плоды гнили под деревьями, и никто их не подбирал. Топча газоны, цветы на клумбах, паслась корова, а коза общипывала с лозы зеленый еще виноград и листья.

— Здесь все гармонично, и самое запустение едва ли не умышленно,—заметил полковник, дернув цепочку колокольчика; но язычка в колокольчике не оказалось.

Охотники услышали лишь резкий скрип заржавевшей пружины. Маленькая дверь, проделанная в стене рядом с воротами, хотя и была старой, но их усилиям, однако, не поддавалась.

— О! Все это становится крайне загадочным,— сказал Филипп.

— Не будь я судьей, я принял бы женщину в черном за колдунью.

Едва успел он произнести эти слова, как к решетчатой ограде подошла корова и просунула к ним свою теплую морду, словно она почувствовала потребность поглядеть на человеческие существа. Но какая-то женщина, если только можно было так назвать то непонятное существо, что вынырнуло из-за густого кустарника, потянула корову за веревку. Голова женщины была повязана красным платком, из-под которого выбивались пряди светлых, похожих на паклю волос. Косынки на плечах у нее не было. Грубая шерстяная юбка в белых и черных полосах была на несколько вершков короче, чем следует, и позволяла видеть икры. Можно было подумать, что женщина эта принадлежит к какому-нибудь племени краснокожих, воспетых Купером, ибо ее ноги, шея и обнаженные руки казались выкрашенными в кирпичный цвет. В ее плоском лице не было ни следа осмысленности. Тусклые, водянистые глаза глядели безжизненно. Несколько редких белесых волосков заменяли ей брови. Неправильно очерченный рот открывал выдававшиеся вперед, неровные, но белые, как у собаки, зубы.

— Эй, тетка! — окликнул ее де Сюси.

Она медленно подошла к воротам, тупо разглядывая обоих охотников. На губах ее появилась жалкая, принужденная улыбка.

— Куда мы попали? Что это за дом? Кому он принадлежит? Кто вы такая? Вы здешняя?

На все эти и множество других вопросов, которыми наперебой засыпали ее оба охотника, она отвечала лишь какими-то гортанными звуками, более свойственными, казалось бы, животному, чем человеческому существу.

— Вы разве не видите, что она глухонемая! — сказал судья.

— Обитель «Добрых Братьев»! — выкрикнула вдруг крестьянка.

— А ведь она права! Это и впрямь, должно быть, бывший монастырь «Добрых Братьев»,— сказал д'Альбон.

Снова посыпались вопросы. Но крестьянка, точно упрямый ребенок, болтала ногой, обутой в деревянный башмак, теребила веревку, которой была привязана корова, принявшаяся снова щипать траву; поглядывая на обоих охотников, женщина с любопытством рассматривала все принадлежности их костюма; потом она как-то странно заурчала, завизжала, закудахтала, так и не произнеся членораздельного слова.

— Как тебя зовут? — спросил Филипп, глядя на нее пристально, словно хотел ее заворожить.

— Женевьева,— глупо ухмыляясь, отвечала она.

— Корова — пока разумнейшее существо из всех, кого мы здесь встретили! — воскликнул судья.— Я выстрелю из ружья, чтобы к нам кто-нибудь вышел.

Но не успел судья взяться за ружье, как полковник жестом остановил его, указав пальцем на незнакомку, которая так живо возбудила их любопытство. Погруженная, казалось, в глубокую задумчивость, она медленными шагами приближалась к ним по длинной аллее, так что они имели возможность хорошо ее рассмотреть. На ней было сильно поношенное черное шелковое платье. Длинные волосы густыми прядями падали ей на лоб и на плечи, спускались ниже талии, окутывая ее точно шалью. Она, видимо, привыкла к этому и лишь изредка откидывала их назад, резко встряхивая головой и разом освобождая глаза или лоб от густой завесы. В ее жесте была какая-то поразительная, чисто механическая быстрота и точность, свойственная движениям животного и казавшаяся чем-то необычным в женщине.

Охотники с изумлением смотрели на то, как она, подпрыгнув, взобралась на ветку яблони и легко, точно птица, уселась на ней. Сорвав несколько плодов, она съела их. Потом с той мягкой грацией, которая восхищает нас в белке, она спрыгнула на землю. Ее тело наделено было такой гибкостью, что ни в одном из ее движений не было и следа принужденности или усилия. Она порезви-

лась на лужайке, как ребенок, катаясь в траве, потом, вытянув руки и ноги, неподвижно замерла с грацией и безмятежностью уснувшего на солнце котенка. Издалека донеслись раскаты грома; она перевернулась и разом вскочила на четвереньки с проворством собаки, заслышавшей чьи-то шаги. Когда она приняла эту странную позу, ее черные волосы разошлись посредине и двумя широкими волнами рассыпались по сторонам лица; свидетели этой сцены могли любоваться плечами, сверкнувшими белизной полевых маргариток, и шеей, совершенные линии которой позволяли догадываться о гармоничности всего тела.

Болезненно вскрикнув, она вскочила на ноги. Ее движения были так грациозны и легки, что она скорее могла сойти за одну из воспетых Оссианом дочерей воздуха, чем за человеческое существо. Она подошла к водоему, стряхнула с ноги башмак и погрузила с явным удовольствием белую, как алебастр ногу в воду, любуясь засверкавшей, точно драгоценные камни, рябью. Потом, опустившись на колени на краю бассейна, точно дитя, стала забавляться, то погружая в него свои кудри, то разом их вытаскивая и следя за тем, как жемчужными четками, капля за каплей стекала с них вода.

— Это безумная! — воскликнул советник.

Хриплый возглас Женевьевы, обращенный, по-видимому, к незнакомке, заставил ее разом выпрямиться и отбросить с лица волосы. Полковник и д'Альбон в этот момент хорошо могли разглядеть черты ее лица; заметив обоих приятелей, она с легкостью серны очутилась в несколько прыжков подле ограды.

— *Прощай!* — сказала она нежно и певуче, но в этом голосе, звук которого так хотелось услышать охотникам, не было ни признака мысли, ни чувства.

Господин д'Альбон восхищенно рассматривал ее длинные ресницы, ее густые черные брови, ослепительно белую кожу без малейшего налета румянца, сквозь которую просвечивали только тоненькие голубые жилки. Когда советник, пораженный ее странным видом, повернулся к приятелю, чтобы поделиться с ним своим недоумением,— он нашел его безжизненно распростертым на траве. Г-н д'Альбон крикнул: «*На помощь!*» — и, выстрелив в воздух, бросился к полковнику, стараясь его

поднять. При звуке выстрела неподвижно стоявшая незнакомка испуганно вскрикнула, точно раненое животное, стрелою бросилась прочь и в глубочайшем ужасе заметалась по лужайке. Г-н д'Альбон, заслышав стук колес на дороге в Иль-Адан, стал махать платком, призывая на помощь. Экипаж тотчас же свернул к «Добрым Братьям»; советник узнал своих соседей, г-на и г-жу де Гранвиль; они тут же вышли из коляски и предложили ее судье. У г-жи де Гранвиль оказался с собою случайно флакон с солью, которую дали понюхать г-ну де Сюси.

Когда полковник открыл глаза, взгляд его тотчас же обратился в сторону лужайки, где продолжала кричать и метаться незнакомка; какой-то невнятный, но полный ужаса возглас вырвался у него. Потом он снова закрыл глаза и сделал умоляющий жест, словно прося своего друга избавить его от этого зрелища. Г-н и г-жа де Гранвиль любезно предоставили свою коляску в полное распоряжение судьи, заявив ему, что будут продолжать свою прогулку пешком.

— Кто эта дама? — указывая на незнакомку, спросил судья.

— Говорят, что она приехала из Мулена,— отвечал г-н де Гранвиль.— Зовут ее графиней де Вандьер, и ходят слухи, что она безумна; но так как она здесь всего лишь около двух месяцев, я не поручусь вам за достоверность этих слухов.

Господин д'Альбон поблагодарил г-на и г-жу де Гранвиль и поехал в Кассан.

— Это она! — воскликнул Филипп, придя в чувство.

— Кто «она»? — спросил д'Альбон.

— Стефани. Мертвая и воскресшая, воскресшая и безумная! Я думал, что умру...

Деликатный судья понял, что его друг оказался во власти какого-то тяжелого душевного потрясения, и поэтому не стал волновать его расспросами; он хотел только как можно скорей добраться до замка: лицо полковника осунулось, весь он как-то странно изменился, и у д'Альбона зародилось опасение, не передался ли Филиппу ужасный недуг графини. Как только коляска достигла Иль-Адана, он послал слуг за городским врачом, и, когда полковника уложили в постель, доктор уже находился при нем.

— Если бы это случилось с господином полковником не натощак,— сказал врач,— он мог бы поплатиться жизнью.

Дав необходимые предписания, врач ушел, чтобы собственноручно приготовить лекарства. Наутро г-ну де Сюси стало лучше, но врач счел все же нужным остаться при нем.

— Должен признаться, господин маркиз,— сказал он,— что я опасался мозговых явлений. Г-н де Сюси перенес жестокое потрясение. Его страдания не прошли, но решающим был первый момент. Завтра он, быть может, будет уже вне опасности.

Врач не ошибся, и уже назавтра он разрешил судье повидать друга.

— Дорогой д'Альбон,— сказал Филипп, схватив его за руку,— я жду от тебя услуги! Отправляйся немедленно к «Добрым Братьям». Разузнай обо всем, что касается дамы, которую мы там видели, и возвращайся поскорей обратно; я буду считать минуты...

Господин д'Альбон вскочил на коня и поскакал в бывшее аббатство. Прибыв туда, он подле ограды увидел высокого сухощавого человека с приветливым лицом, который на вопрос судьи, не является ли он обитателем этого полуразрушенного дома, ответил утвердительно. Г-н д'Альбон изложил ему цель своего посещения.

— Как, сударь! Так это дело ваших рук—тот роковой выстрел? Вы чуть было не убили мою бедную больную.

— Помилуйте! Ведь я стрелял в воздух.

— Вы причинили бы меньше зла графине, если бы попали в нее.

— Ну, значит, мы квиты, так как вид вашей графини чуть было не убил моего друга г-на де Сюси.

— Какого де Сюси? Уж не барона ли Филиппа де Сюси? — воскликнул, всплеснув руками, врач.— Того самого, который был в России при переправе через Березину?

— Да,— отвечал д'Альбон,— он был взят казаками в плен и отправлен в Сибирь, откуда вернулся около года назад.

— Прошу вас, сударь,— сказал незнакомец, введя судью в расположенную на первом этаже дома гостиную,

где все носило следы какого-то причудливого опустошения.

Рядом с разбитыми дорогими фарфоровыми вазами стояли уцелевшие часы. Штофные портьеры на окнах были разодраны, тогда как муслиновые гардины оставались целы.

— Видите,— сказал незнакомец г-ну д'Альбону,— какой разгром производит очаровательное существо, которому я посвящаю свою жизнь. Это моя племянница, и хотя наука, которой я служу, бессильна, я все же надеюсь, что в один прекрасный день мне удастся вернуть ей разум, пользуясь методом, доступным, к сожалению, лишь очень богатым людям.

Потом, как все, кто долго прожил в одиночестве, находясь во власти непрерывных страданий, он приступил к обстоятельному повествованию. Вот этот рассказ в связном виде, освобожденный от многочисленных отступлений, в которых повинен был как сам рассказчик, так и судья.

Покидая около 9 часов вечера высоты Студянки, маршал Виктор, удерживавший их весь день 28 ноября 1812 года, оставил там около тысячи солдат, приказав им защищать до последней капли крови единственно уцелевший мост через Березину. Этот арьергард самоотверженно пытался спасти великое множество окоченевших от холода отставших солдат, упорно не хотевших расстаться с обозом. Но героизму отважной горстки людей суждено было остаться бесплодным.

Солдаты, массами хлынувшие к Березине, находили там, на свою беду, огромное количество повозок, фур и разного имущества, которое армия была вынуждена бросить во время переправы 27 и 28 ноября. Получив в наследство неожиданные богатства, эти несчастные, отупевшие от холода, устраивались на опустевших бивуаках, ломали военное снаряжение, чтобы построить себе шалаши, разводили костры из всего, что попадалось им под руку, резали лошадей, чтобы насытиться, сдирали с повозок сукно и холст, чтобы укрыться, и спали, вместо того, чтобы продолжать свой путь и переправиться ночью через Березину, которая волею непостижимой судьбы оказалась уже столь роковой для армии.

Апатия злосчастных солдат может быть понятна лишь тому, кто сам помнит переход по безграничным снежным пустыням, где впереди за горизонтом только снег, где нет иного питья, кроме снега, нет иной постели, кроме снега, нет иной пищи, кроме снега и нескольких мороженых свекол, нескольких пригоршней муки или конского мяса. Умирая от голода, жажды, усталости, засыпая на ходу, несчастные попадали на берег реки, где находили топливо и огонь, пищу, множество брошенных повозок, бивуаки — словом, целый импровизированный город.

Деревня Студянка была разнесена в щепы, сметена с возвышенности в низину. Но каким бы гиблым и жалким ни было это местечко, опасности и лишения, которые сулило пребывание в нем, казались желанными людям, ничего перед собой не видевшим, кроме страшных просторов России. Словом, все это походило на огромный госпиталь, возникший лишь сутки назад. Измученной тяготами войны, а быть может, и почувствовавшей блаженство неожиданной передышки толпе этой стала совершенно недоступна какая-либо иная мысль, кроме мысли об отдыхе.

Артиллерия левого крыла русских войск беспрерывно обстреливала эту человеческую массу, выделявшуюся среди снегов то в озарении пламени костров, то чернеющим пятном. Эти непрерывно летящие ядра казались окоченевшей толпе еще одним лишним неудобством, точно гроза, на молнии которой никто не обращает внимания, ибо молнии могут попасть случайно только в кого-нибудь из больных, умирающих или мертвых. С каждой минутой подходили все новые толпы отставших. Похожие на бродячие трупы, они тут же рассеивались и, переходя от костра к костру, выпрашивали себе местечко, но, получив чаще всего отказ, объединялись снова, чтобы силой добиться приюта.

Они были глухи к голосу нескольких офицеров, предрекавших им назавтра смерть, и тратили свои силы, необходимые для переправы через реку, на устройство пристанища на ночь, на добывание еды, от которой нередко гибли. Подстерегавшая смерть не пугала их — лишь бы можно было часок поспать. Пугали их только голод, жажда и холод. Когда не стало хватать уже ни

костров, ни топлива, ни пристанища, между теми, кто был лишен всяких благ, и счастливцами, обладателями приюта, начались жестокие схватки. Слабейшие гибли. Наступило наконец время, когда вновь прибывшие солдаты, бежавшие от русских, не найдя другого пристанища, кроме снега, легли, где стояли, чтобы никогда уже больше не подняться. Вся эта масса полумертвых, сбившихся в кучу существ впала в такое отупение, а быть может, в блаженное состояние, что маршалу Виктору, героическому защитнику, сдерживавшему наступление двадцати тысяч русских под командой Витгенштейна, силой пришлось прокладывать себе дорогу сквозь людскую гущу, чтобы переправить через Березину пять тысяч храбрецов, которых он вел к императору. Несчастные предпочитали быть раздавленными, только бы не трогаться с места, и безропотно гибли, зачарованные огнями своих угасающих костров, позабыв о Франции.

Герцог Белюнский лишь в 10 часов вечера переправился через реку. Прежде чем вступить на мосты, ведшие в Зембин, он вручил судьбу арьергарда Студянки Эбле — спасителю всех, кто уцелел при катастрофе у Березины.

Было около полуночи, когда этот выдающийся генерал в сопровождении доблестного офицера вышел из хижины, находившейся вблизи моста, и стал обозревать лагерь, раскинувшийся между берегом Березины и дорогой из Борисова в Студянку. Гром русских пушек смолк. Бесчисленные огни, казавшиеся бледными и тусклыми среди снежных сугробов, то тут, то там выхватывали из мрака лица, в которых не сохранилось ничего человеческого. Здесь было около тридцати тысяч несчастных —представителей всех наций, брошенных Наполеоном против России, и они с тупым равнодушием подвергали риску свою жизнь.

— Спасем их,— сказал генерал офицеру.—Завтра утром русские возьмут Студянку. Необходимо поджечь мост в тот самый миг, когда они покажутся. Итак, соберись с духом, мой друг; нужно отправиться на возвышенность и передать генералу Фурнье, что у него едва хватит времени оставить свои позиции, пробиться через толпу и перейти мост. Когда ты увидишь, что он двинулся в путь, ты за ним последуешь. Возьми нескольких солдат

покрепче и, ничего не щадя, подожги весь этот лагерь со всеми повозками, фурами, экипажами — все! Гони эту толпу к мосту. Заставь всех, у кого целы еще ноги. перебраться на тот берег. Огонь — сейчас наш последний шанс на спасение. Если бы Бертье не помешал мне уничтожить эти проклятые повозки, река поглотила бы только наших бедных саперов — пятьдесят храбрецов, спасших армию, имена которых будут забыты.

Генерал прикрыл глаза рукой и умолк. Он словно чуял, что Польша станет для него могилой и ни единый голос не прозвучит в похвалу героям, остававшимся в воде — в воде Березины!— чтобы потопить в ней сваи мостов. Лишь один из них живет еще, или, вернее, мучается, позабытый всеми где-то в глуши.

Адъютант отправился в путь. Он не успел еще сделать и ста шагов к Студянке, как генерал Эбле разбудил нескольких из своих больных саперов и приступил к выполнению акта человеколюбия: поджег бивуаки, разбитые подле моста, заставив, таким образом, всех, кто там спал, перейти через Березину. Молодой адъютант тем временем добрался до единственного уцелевшего в Студянке деревянного строения.

— Лачуга, верно, битком набита, приятель,— обратился он к находившемуся подле дома человеку.

— Вы покажете себя искусным воякой, если сумеете туда проникнуть,— отвечал офицер, не оборачиваясь и продолжая стесывать саблей щепки со стен строения.

— Это вы, Филипп? — спросил адъютант, узнав по голосу одного из своих друзей.

— Я. А-а, это ты, старина! — отвечал г-н де Сюси, вглядываясь в адъютанта, которому, как и ему самому, было никак не больше 23 лет.— А я-то думал, что ты по ту сторону этой проклятой реки. Ты что же, принес нам пирожных и варенья к десерту? Ты будешь принят с распростертыми объятиями,— прибавил он, продолжая отдирать древесную кору, служившую кормом для его лошади.

— Я ищу вашего командира, я должен ему передать от имени генерала Эбле, что нужно отходить к Зембину. У вас едва хватит времени пробиться через это сонмище трупов, которые я сейчас подожгу, чтобы сдвинуть их с места.

— Ты почти согрел меня! От твоей новости меня бросило в пот. Я должен спасти двух друзей. О! Если бы не эти два существа, меня давным-давно бы уже не было в живых! Из-за них я вожусь со своей лошадью, вместо того чтобы съесть ее. Бога ради, нет ли у тебя хоть корочки хлеба? Я больше суток и крошки во рту не имел, а ведь я дрался, как бешеный, стараясь сохранить в себе отвагу и мужество.

— Бедняга Филипп! Нет, ничего решительно нет! Но генерал ваш там?

— И не пытайся войти! В этом сарае наши раненые. Подымись еще выше, там с правой стороны ты увидишь нечто вроде свиного закута; генерал там. Прощай, дружище! Если нам когда-нибудь придется еще танцевать кадриль на паркете Парижа...

Он не докончил: в этот момент налетел такой предательский порыв ветра, что адъютант, чтобы не замерзнуть, стал шагать взад и вперед, а у майора Филиппа застыли губы. Воцарилось молчание.

Оно нарушалось лишь доносившимися из дома стонами да громким хрустом — это лошадь г-на де Сюси грызла с голоду мерзлую кору, яростно отдирая ее от стен бревенчатой постройки. Майор вложил саблю в ножны, схватил под уздцы драгоценное животное, которое он сумел сохранить, и насильно оторвал его от жалкого корма, пришедшегося ему, очевидно, по вкусу.

— Трогай, Бишетт! Трогай! Одна ты, красотка, можешь спасти Стефани. А потом можно будет и успокоиться — скорей всего навсегда.

Филипп запахнул шубу — она ему сохранила жизнь и энергию — и побежал, притопывая ногами по твердому снегу, чтобы согреться. Он не сделал и пятисот шагов, как увидал вдруг большое пламя на том самом месте, где утром оставил под охраной старого солдата свою карету. Ужасная тревога охватила его. Как и все, кто во время этого беспорядочного бегства действовал под влиянием аффекта, он, чтобы помочь друзьям, нашел в себе силы, которых не хватило бы, если бы дело касалось его одного. Вскоре он был уже в нескольких шагах от той выемки, образованной неровностью почвы, где он оставил, чтобы уберечь от пушечных ядер, молодую женщину, подругу детства,— драгоценнейшее свое сокровище.

В нескольких шагах от экипажа человек тридцать отставших солдат столпились перед огромным костром, который они поддерживали, бросая в него доски, верхи фур, колеса, филенки и сиденья карет. Они, вероятно, пришли последними из тех, кто наводнил океаном голов, огней и бараков пространство между оврагом, пересекающим местность у подножия Студянки, и роковой рекой,— живое море, колеблемое еле заметными течениями, над которым стоял гул, заглушаемый порой грохотом ужасных взрывов.

Движимые, по-видимому, отчаянием и голодом, эти несчастные силой вломились в карету. Старик-генерал и молодая женщина, которые раньше лежали там на грудах тряпья, укутанные в плащи и шубы, сидели теперь на корточках подле огня. Одна из дверец кареты была выбита.

Когда столпившиеся вокруг костра солдаты заслышали стук копыт и шаги майора, яростный голодный вопль пронесся над толпой.

— Лошадь! Лошадь!

Все голоса слились в один.

— Отойди! Берегись! — закричали двое или трое солдат, целясь в лошадь.

Филипп заслонил ее собою.

— Мерзавцы! — крикнул он в ответ.— Я побросаю всех вас в костер! Мало там, наверху, есть павших коней! Отправляйтесь за ними!

— Что он дурака валяет, этот офицер! Раз, два! Нука пошевеливайся! — закричал огромный гренадер.— Не желаешь? Как угодно!

Женский крик заглушил звук раздавшегося выстрела, пуля не задела, к счастью, Филиппа, но смертельно раненная Бишетт рухнула на землю; трое солдат набросились на нее и прикончили ударами штыка.

— Дикари! Отдайте мое одеяло и пистолеты! — с отчаянием закричал Филипп.

— Пистолеты еще куда ни шло,— сказал гренадер,— а насчет одеяла — так вот пехотинец, у которого целых два дня не было ни *крошки в чемодане* и который стучит зубами в подбитой ветром одежонке. Это наш генерал.

При виде человека в разваливающихся сапогах, изодранных штанах и в заиндевевшей жиденькой шапчонке Филипп умолк. Он поспешил забрать свои пистолеты.

Пятеро солдат потащили лошадь к огню и не хуже парижских мясников начали свежевать тушу. Затем мгновенно расхваченные куски полетели на угли.

Майор направился к женщине, отчаянно вскрикнувшей при его появлении. Она неподвижно сидела на подушке кареты и грелась; она молча, без улыбки поглядела на него. Тут только Филипп заметил солдата, которому поручил охранять карету; бедняга был ранен.

Он подчинился, уступая численному превосходству набросившихся на него солдат, но, как пес, защищавший до последней минуты хозяйский обед, взял потом свою часть добычи: соорудил себе из белого сукна какое-то подобие плаща. Теперь он был занят тем, что поджаривал кусок конины, и майор видел, как радостно сияло его лицо в предвкушении готовящегося пиршества. Граф де Вандьер вот уже три дня словно впал в детство; он сидел подле жены на подушках кареты и пристально смотрел на пламя костра, жар которого начал выводить его из оцепенения. Прибытие Филиппа, опасность, ему угрожавшая, взволновали его не больше, чем схватка, в результате которой была разграблена карета.

Де Сюси сжал руку молодой графини, желая тем самым выразить всю скорбь, какую он испытывает, видя ее в такой беде; но потом, молча усевшись подле нее на груде тающего снега, он сам поддался блаженному ощущению тепла, забыв об опасности, забыв обо всем на свете. На лице его появилось выражение бессмысленной радости, и он с нетерпением дожидался, чтобы поджарился кусок конины, доставшийся его вестовому. Запах горелого мяса пробудил в нем голод, а голод заставил замолчать его сердце, его мужество, его любовь.

Без гнева глядел он на свою разграбленную карету. Все сидевшие вокруг костра поделили между собой одеяла, подушки, шубы, мужское и женское платье, принадлежавшие графу, графине и майору. Филипп повернулся, чтобы посмотреть, не годится ли на что-нибудь еще кузов кареты. При свете костра он увидал рассыпанное золото, серебро, бриллианты,— никому и в голову не пришло взять хотя бы что-либо себе.

Люди, которых случай свел вокруг этого костра, угрюмо хранили молчание и делали лишь то, что спасало от немедленной гибели.

В картине этих бедствий было нечто уродливо-карикатурное. Опухшие от холода лица, как маской, покрылись слоем грязи, и слезы, стекавшие по щекам, оставляли борозду, по которой можно было судить о толщине этого слоя. Всклокоченные бороды придавали лицам еще более отталкивающий вид. Иные кутались в женские шали, на других были лошадиные чепраки, грязные одеяла, промокшие от тающего инея лохмотья; у некоторых одна нога была в сапоге, на другой был башмак; в одежде у каждого была какая-нибудь несуразность. Но те, кто глядел на это нелепое зрелище, оставались по-прежнему серьезны и мрачны.

Тишина нарушалась лишь легким потрескиванием пламени, далекими отголосками боя да лязгом сабель, которыми наиболее изголодавшиеся отрубали себе от Бишетт кусок получше.

Особенно обессилевшие подчас засыпали, и, если иной из них сваливался в костер, никто и не думал подымать его. Эти люди наделены были железной логикой и полагали, что, если он еще не умер, ожог научит его отыскивать более подходящее место для сна. Если же несчастный, очнувшись на костре, погибал, он ни в ком не вызывал жалости. Солдаты поглядывали друг на друга, как бы ища в равнодушии окружающих оправдания собственной бесчувственности. Молодая графиня, наблюдавшая эту картину, также оставалась безучастной. Когда поджаривавшиеся на углях куски конины были готовы, каждый утолил свой голод с прожорливостью, которая кажется отвратительной даже в животных.

— Вот так штука! На одного коня тридцать человек, да еще пехотинцев!— крикнул гренадер, подстреливший лошадь.

Эта шутка была единственным проявлением национального остроумия.

Вскоре большинство измученных солдат, закутавшись в одежду, примостились на досках, на всем, что могло предохранить их от соприкосновения со снегом, и, не заботясь о завтрашнем дне, уснули. Майор согрелся, утолил голод, и веки его отяжелели от непреодолимого желания уснуть. В короткий промежуток времени, пока он боролся со сном, он смотрел на молодую женщину, которая

также собиралась заснуть, повернувшись лицом к огню; видны были ее закрытые глаза и часть лба; она завернулась в меховую шубу и в плотный драгунский плащ; голова ее лежала на запятнанной кровью подушке; меховой капор, поверх которого был надет завязанный под подбородком платок, предохранял, насколько возможно, ее лицо от мороза; ноги она спрятала под плащ. Так, свернувшись клубочком, она, право же, казалась совсем жалкой. Была ли то последняя из маркитанток? Была ли то очаровательная женщина — гордость любовника, царица парижских балов? Увы! Взор преданнейшего из ее друзей не мог обнаружить ничего женственного в этой груде одежд и тряпок. Под действием холода любовь угасла в ее сердце.

Сквозь густую пелену, которой непобедимый сон застилал глаза майора, муж и жена казались ему просто двумя точками. Пламя костра, распростертые тела, жестокий мороз, свирепствовавший в трех шагах от ненадежного тепла,— все это представлялось просто сном. Филиппа преследовала навязчивая мысль: «Если я усну, мы погибли,— твердил он себе.— Я не должен спать!» Он уснул. Через час он был разбужен отчаянными криками и грохотом. Сердце его сжалось при мысли о той опасности, в которой находилась его возлюбленная, в нем заговорило чувство долга. У него вырвался вопль, подобный рычанию. Только он и его вестовой вскочили на ноги. Они увидали море огня, пожиравшее бивуаки и хижины; на фоне его в ночной тьме вырисовывалась людская толпа; до них доносились крики и вопли тысячи отчаявшихся человеческих существ с искаженными лицами. Среди этого ада между двух рядов трупов прокладывала себе дорогу к мосту колонна войск.

— Это отступает наш арьергард! — воскликнул майор.— Надежды больше нет.

— Я пощадил вашу карету, Филипп,— произнес дружеский голос.

Обернувшись, де Сюси узнал при свете пламени молодого адъютанта.

— Все погибло,— отвечал майор.— Они съели мою лошадь. Да к тому же как смогу я заставить идти слабоумного генерала и его жену?

— Схватите горящую головню и угрожайте ею.

— Угрожать графине!

— Прощайте! — крикнул адъютант.— Я едва успею перебраться через эту проклятую реку, а это мой долг: у меня мать во Франции! Какая ночь! Толпа готова погибнуть в снегу, и большинство этих несчастных скорее позволят сжечь себя, чем встанут на ноги. Теперь четыре часа, Филипп. Через два часа русские зашевелятся. Уверяю вас, что вы еще раз увидите, как Березина покроется трупами. Подумайте о себе, Филипп! Лошадей у вас нет, не можете же вы нести графиню; так вперед, идем со мной! — воскликнул он, хватая майора за руку.

— Как, друг мой, бросить Стефани!

Майор схватил графиню, поставил ее на ноги и стал грубо трясти ее, как доведенный до отчаяния человек, покамест она не проснулась. Открыв глаза, она поглядела на него остановившимся мертвенным взглядом.

— Нужно идти, Стефани, или мы погибли!

Вместо ответа графиня попыталась опуститься на снег, чтобы снова уснуть. Адъютант выхватил пылающую головню и помахал ею перед лицом Стефани.

— Нужно насильно спасти ее! — крикнул Филипп, подняв графиню и потащив ее в карету.

Возвратившись, он стал умолять друга о помощи. Они подхватили вдвоем старика генерала, не зная, жив ли он или умер, и посадили его рядом с женой. Растолкав ногой спящих на земле солдат, майор отнял у них награбленное, навалил все эти вещи на обоих супругов, бросил в угол кареты несколько кусков жареной конины.

— Что это вы надумали делать? — спросил у него адъютант.

— Везти ее,— отвечал майор.

— Вы с ума сошли!

— Вы правы! — сказал Филипп, скрестив руки на груди. Но вдруг словно какая-то мысль, подсказанная отчаянием, осенила его.

— Слушай,— обратился он к своему вестовому, схватив его за здоровую руку,— я поручаю тебе графиню на час. Умри, но не подпускай никого к карете, слышишь?

Майор подобрал бриллианты графини и, держа их в одной руке, другой схватил саблю и стал бешено колотить ею тех спящих, в ком, как казалось ему, еще сохра-

нилась отвага; ему удалось разбудить великана-гренадера и еще двух-трех человек — распознать их чины не представлялось никакой возможности.

— Мы пропали,— сказал он им.

— Сам прекрасно знаю,— отвечал гренадер,— да мне-то все равно!

— Послушай! Двум смертям не бывать, а одной не миновать; так не лучше ли тогда отдать жизнь за красивую женщину и попытаться снова увидеть Францию?

— По мне так лучше спать,— сказал один из солдат, валясь опять в снег,— и если ты, майор, еще будешь ко мне приставать, я всажу тебе в брюхо тесак.

— В чем дело, командир? — спросил гренадер.— Он пьян. Это парижанин, а они любят удобства.

— Это достанется тебе, бравый гренадер, если ты пойдешь со мной и будешь драться, как бешеный! — воскликнул майор, показав ему бриллиантовое ожерелье.— Русские в десяти минутах отсюда; у них есть лошади; мы нападем на передовую их батарею и уведем пару лошадок.

— А часовые, майор?

— Кто-нибудь из нас троих...— начал майор, потом, запнувшись, посмотрел на адъютанта.— Ведь вы пойдете с нами, Ипполит, не правда ли?

Адъютант утвердительно кивнул головой.

— Кто-нибудь из нас,— продолжал майор,— займется часовым. Они ведь тоже спят, эти проклятые русские.

— Ну и молодчина же ты, майор! А возьмешь меня потом в свою карету?

— Да, если ты не сложишь там, наверху, своих костей. А если погибну я,— сказал майор, обращаясь к обоим своим спутникам,— обещайте мне, Ипполит, и ты, гренадер, что вы сами позаботитесь о спасении графини.

— Ладно! — крикнул гренадер.

Они двинулись к стоянке русских войск, к батареям, так безжалостно истреблявшим толпы несчастных, улегшихся на берегу реки. Вскоре послышался топот двух скачущих по снегу лошадей, а проснувшаяся батарея стала залпами посылать ядра, проносившиеся над головами спящих. Топот копыт был таким частым, что казалось, это кузнецы куют подкову. Храбрый адъютант погиб. Но дюжий гренадер был цел и невредим. А Филипп, сра-

жавшийся за свою возлюбленную, был ранен штыком в плечо. Ему удалось все же уцепиться за конскую гриву и так крепко сжать шенкелями бока лошади, что она очутилась точно в тисках.

— Слава богу! — воскликнул майор, застав вестового все в той же позе, а карету на месте.

— По чести говоря, командир, вы должны были бы представить меня к кресту! Ну и здорово же мы поработали саблями!

— Ничего еще пока не сделано. Запряжем-ка лошадей. Вот веревки.

— Их мало!

— А вы, гренадер, возьмитесь за спящих. Заберите у них шали, белье.

— Вот тебе раз! Да ведь он помер, чудак! — воскликнул гренадер, стаскивая одежду с первого же солдата, к которому подошел.— Э! Да тут ни одного в живых не осталось!

— Неужто ни одного?

— Да, все мертвы. Видно, конина со снегом вредна для желудка.

От этих слов Филиппа бросило в дрожь.

Мороз крепчал.

— Боже! Потерять женщину, которую я уже двадцать раз спасал!

Майор принялся тормошить и звать графиню:

— Стефани! Стефани!

Молодая женщина приоткрыла глаза.

— Сударыня, мы спасены!

— Спасены? — повторила она, снова падая.

Лошадей кое-как запрягли. Держа в здоровой руке саблю, майор захватил другой поводья и, вооружившись пистолетами, вскочил на одну из лошадей, гренадер на другую. Старого вестового, у которого оказались отмороженными ноги, бросили поперек кареты в ногах у генерала и графини.

Подгоняемые ударами сабли, лошади бешено помчались по равнине, где новые трудности ожидали майора. Вскоре нельзя было сделать и шагу вперед, не рискуя задавить при этом мужчин, женщин, даже спящих детей; когда гренадер их будил, никто из них не желал шевельнуться. Тщетно г-н де Сюси пытался отыскать дорогу,

которую проложил арьергард в этой человеческой гуще; дорога исчезла, как в море след корабля; майор мог подвигаться вперед лишь шагом, поминутно останавливаемый солдатами, грозившими убить его лошадь.

— Хотите выбраться отсюда? — спросил его гренадер.

— Ценою всей моей крови, какою угодно ценою! — отвечал майор.

— Ну, так вперед! Чтобы сделать яичницу, нужно разбить яйца!

И гренадер императорской гвардии погнал лошадей в людскую гущу, покрыл колеса кровью, опрокидывая шалаши и оставляя за собой среди моря голов двойной ряд человеческих трупов. Нужно, впрочем, отдать ему справедливость, он неустанно кричал громовым голосом: «Эй, падаль, берегись!»

— Бедняги! — воскликнул майор.

— Ну вот еще! Не все ли равно, так ли погибнуть, от холода ли или от пушечного ядра! — возразил гренадер, подгоняя лошадей острием своего тесака.

То, что давно уже должно было с ними случиться и от чего до сих пор их спасало лишь чудо, произошло наконец: карета опрокинулась.

— Я так и знал! — воскликнул неунывающий гренадер.— О! Да ведь товарищ-то умер!

— Бедняга Лоран!

— Лоран! Из пятого стрелкового?

— Да.

— Так это был мой двоюродный брат! Ну, наша собачья жизнь не такое уж счастье по нынешним временам, чтобы стоило о ней жалеть!

Поднять карету, выпрячь лошадей — на все это потребовалось много драгоценного времени. Сотрясение было настолько сильным, что молодая графиня проснулась, вышла из оцепенения, высвободилась из укутывавшей ее одежды, встала.

— Где мы, Филипп? — слабым голосом спросила она, оглядываясь.

— В пятистах шагах от моста. Мы переправимся через Березину. По ту сторону реки я уж не стану вас больше мучить, Стефани, дам вам уснуть: мы будем в безопасности и спокойно доберемся до Вильны. Дай бог,

«КРАСНАЯ ГОСТИНИЦА»

«НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР».

чтобы вам никогда не пришлось узнать, чего стоило спасение вашей жизни.

— Ты ранен?

— Пустяки.

Страшный час настал. С рассветом заговорили пушки. Русские взяли Студянку и засыпали теперь равнину пушечными ядрами; при слабом свете занимающегося утра майор видел, как они зашевелились на возвышенности и стали строиться в колонны. Толпа всколыхнулась в тревожном вопле, все разом вскочили на ноги. Люди инстинктивно почуяли надвигающуюся гибель и хлынули к мосту. Русские, подобно огненному вихрю, ринулись вниз. Мужчины, женщины, дети, кони — все устремились к мосту. Майор и графиня были, к счастью, еще довольно далеко от него.

Генерал Эбле на том берегу поджег сваи моста.

Те, кто бросился к мосту как к последнему средству спасения, несмотря на предупреждения, не хотели вернуться обратно. Людской поток, с такой яростью устремившийся к роковому берегу, тотчас же обрушил в воду перегруженный мост, а вслед за этим скатилась в реку целая лавина рвавшихся к ней людей. Не слышно было ни единого вопля, только глухой звук, точно в воду свалился камень. Березина покрылась трупами.

Те, кто, спасаясь от гибели, яростно попятились назад, на равнину, с такою сокрушительной силой столкнулись с теми, кто еще стремился вперед, что масса народу была задавлена. Графа и графиню де Вандьер уберегла их карета. Лошади, задавив и затоптав множество умирающих, были сами задавлены, смяты мчавшимся на берег людским смерчем. Майор и гренадер, чтобы уцелеть, пустили в ход силу. Они убивали, чтобы не быть убитыми. Среди урагана лиц, прилива и отлива стремящихся в одном направлении тел берег Березины оказался на несколько мгновений опустевшим. Толпа отхлынула на равнину. И если несколько человек бросились с высокого берега в воду, то не потому, что надеялись достигнуть другого берега, олицетворявшего для них Францию, а скорей для того, чтобы уйти от пустынных просторов Сибири. Отчаяние спасло нескольких смельчаков. Какой-то офицер добрался до другого берега, перепрыгивая со льдины на льдину; солдат чудом

взобрался на груду трупов и льда. Но огромная толпа поняла в конце концов, что русские не истребят 20 тысяч безоружных, окоченевших, отупевших, даже не сопротивляющихся людей, и с покорностью отчаяния каждый стал ждать своей участи.

Вышло так, что майор, гренадер и старый граф с женой оказались почти в одиночестве в нескольких шагах от того места, где прежде находился мост. Они стояли там все четверо молча, с сухими глазами, среди груды трупов. С ними было несколько уцелевших солдат, несколько офицеров, которые в этот час вновь обрели свою энергию. В этой довольно большой кучке людей было человек пятьдесят. Шагах в двухстах оттуда майор заметил вдруг остатки обрушившегося дня за два перед тем моста для телег и повозок.

— Свяжем плот! — крикнул он.

Не успели прозвучать эти слова, как все устремились к остаткам моста. Люди кинулись подбирать железные скрепы, вытаскивать доски, собирать веревки — словом, всякий материал, необходимый для сооружения плота. Человек двадцать вооруженных солдат и офицеров под командой майора образовали стражу, чтобы охранять работающих от отчаянных покушений толпы, когда она догадается об их намерении. Жажда свободы, которая воодушевляет заключенных и вдохновляет их на чудеса, ничто по сравнению с чувством, заставлявшим действовать в этот момент несчастных французов.

— Русские! Русские! — кричала охрана тем, кто сколачивал плот.

Скрипело дерево, плот рос в ширину и в длину. Генералы, полковники, солдаты — все сгибались под тяжестью бревен, железа, канатов, досок; точь-в-точь постройка Ноева ковчега. Сидя подле мужа, графиня наблюдала это зрелище, сожалея о том, что сама ничем не может помочь; впрочем, она помогала связывать канаты. Наконец плот был готов. Сорок человек спустили его на воду, а с десяток солдат держали канаты, необходимые для того, чтобы причалить к берегу. Увидав судно свое на воде, строители с варварским эгоизмом стали прыгать на него прямо с высокого берега. Боясь попасть в эту ожесточенную свалку, майор удержал генерала и Стефани за руки; но, увидав, что плот почернел

от людей, столпившихся на нем, точно зрители в партере театра, Филипп затрепетал.

— Дикари! — крикнул он.— Ведь это я подал вам мысль построить плот; я ваш спаситель, а вы не оставили для меня места!

Глухой ропот был ему ответом. Стоявшие на краю плота люди вооружились баграми и уперлись ими в берег, яростно отталкивая дощатое сооружение, чтобы переплыть на ту сторону реки среди трупов и льдин.

— Гром и молния! Я пошвыряю вас всех в воду, если вы не пустите майора и двух его спутников! — крикнул гренадер, выхватывая саблю; несмотря на отчаянные протесты, он не дал отчалить и заставил всех потесниться.

— Я упаду! Я падаю! — кричали его соседи.— Вперед! Отчаливай!

Майор взглянул на свою возлюбленную; глаза его были сухи, она же с ангельской покорностью подняла взор к небу.

— Умереть вместе с тобой! — прошептала она.

Было что-то комическое в положении тех, кто находился на плоту. Как ни яростно они вопили, никто из них не посмел сопротивляться гренадеру: они так были стиснуты, что стоило столкнуть одного, чтобы в воду попадали все. Перед лицом такой опасности какой-то капитан попытался избавиться от гренадера, но тот замегил предательский жест офицера, схватил его и столкнул в воду, приговаривая: «Ага, уточка! Попить захотела!»

— Вот два места! — крикнул он.— Ну-ка, майор, давайте сюда вашу молодку и прыгайте сами! Старикашку бросьте! Он все равно завтра подохнет.

— Скорей! — слились в один вопль десятки голосов.

— Да ну же, майор! Они ворчат — и правы!

Граф де Вандьер сбросил с себя тряпье, в которое был укутан, и стал во весь рост в своем генеральском мундире.

— Спасем графа,— сказал Филипп.

Стефани стиснула руку возлюбленного и припала к нему, отчаянно сжав в своих объятиях.

— Прощай! — воскликнула она.

Они поняли друг друга. Граф де Вандьер обрел силы и присутствие духа, чтобы спрыгнуть на плот, куда за ним последовала Стефани, бросив на Филиппа последний взгляд.

— Майор! Не хотите ли на мое место? Я ведь жизнью не дорожу! — крикнул гренадер.— Нет у меня ни жены, ни матери, ни детей...

— Позаботься о них! — ответил майор, указывая на графа и его жену.

— Не тревожьтесь, буду беречь их как зеницу ока.

От берега, где неподвижно остался стоять Филипп, плот оттолкнули с такой силой, что когда он ударился о противоположный берег, все свалились от толчка. Граф, стоявший с краю, упал в реку. В этот миг проносившаяся мимо льдина оторвала ему голову и далеко отшвырнула ее, точно ядро.

— Эй! Майор! — крикнул гренадер.

— Прощай! — донесся женский голос.

Филипп де Сюси, оледенев от ужаса, упал, сраженный усталостью, холодом и скорбью.

— Моя несчастная племянница лишилась рассудка,— продолжал врач после минутного молчания.— Ах, сударь! — воскликнул он, схватив д'Альбона за руку.— Как жизнь была жестока к этому юному созданию, такому слабому и беспомощному! После ряда невероятных злоключений она оказалась оторванной от этого гренадера-гвардейца, которого звали Флерио; целых два года ее носил за собой поток войск, и она была игрушкой в руках кучи негодяев. Мне рассказывали, что она блуждала босая, оборванная, оставаясь месяцами без присмотра, без пищи; временами ее помещали в какой-нибудь госпиталь, потом, точно животное, прогоняли оттуда. Одному только богу известно, какие бедствия пришлось пережить этой бедняжке. Она находилась в доме для умалишенных в каком-то маленьком немецком городишке, а в это время ее родные, считавшие ее мертвой, делили здесь ее наследство. В 1816 году гренадер Флерио нашел ее в одной страсбургской харчевне, куда она забрела, бежав из тюрьмы. Крестьяне рассказывали ему, что графиня целый месяц прожила в лесу, и они устроили на нее облаву, чтобы захватить ее, но это им не удалось. Я находился тогда в нескольких лье от Страсбурга. Когда до меня дошли слухи об одичавшей девушке, мне захотелось проверить странные факты, давшие пищу для столь необычайных

россказней. Что со мною было, когда я узнал графиню! Флерио рассказал мне все, что ему было известно об этих грустных событиях. Я увез беднягу солдата вместе с моей племянницей в Овернь, где, к несчастью, потерял его: он имел какую-то власть над графиней. Ему одному удавалось заставить ее одеться. «Прощай!» — единственное слово, воплотившее для нее весь язык; прежде она произносила его редко. Флерио, пытаясь пробудить в ней разум и потерпев неудачу, добился лишь того, что это грустное слово она стала произносить все чаще и чаще. Гренадер умел развлечь ее, занять ее, играя с ней; и я надеялся, что с его помощью...

Дядя Стефани на минуту умолк.

— Впрочем, она нашла здесь другое существо, с которым у нее установилось как будто бы взаимное понимание. Это придурковатая крестьянка. Несмотря на свое слабоумие и безобразие, она влюбилась в одного каменщика. У нее есть клочок земли, и каменщик собирался на ней жениться. Целый год бедняжка Женевьева была счастливейшим существом на свете. Она наряжалась, а по воскресеньям шла танцевать с Далло. Чувство любви было ей доступно; в ее сердце, в ее сознании нашлось для него место. Но Далло передумал: подвернулась другая девушка, у которой мозги были в порядке, а земли немножко больше, чем у Женевьевы. И Далло бросил Женевьеву. Несчастное создание потеряло последнюю крупицу разума, разбуженную в ней любовью, и теперь она годна лишь на то, чтобы пасти коров да собирать траву. Моя племянница и эта бедная девушка в некотором роде товарищи по несчастью: их как бы связывает невидимыми нитями общность судьбы и чувства, которое обеих довело до безумия. Да вот! Поглядите сами,— продолжал дядя Стефани, подводя маркиза д'Альбона к окну.

Судья увидал прекрасную графиню, сидящую на земле в ногах Женевьевы. Вооружившись большим костяным гребнем, крестьянка старательно расчесывала черные волосы Стефани, а та издавала какие-то радостные звуки, вероятно, от испытываемого ею физического наслаждения. Г-н д'Альбон вздрогнул при виде покорной позы и чисто животной пассивности, говорившей о полном отсутствии разума у графини.

— Филипп! Филипп! Что все пережитое по сравнению с этим! — воскликнул он.— Нет никакой надежды?

Старый врач поднял взоры к небу.

— Прощайте, сударь,— сказал д'Альбон, пожимая старику руку.— Мой друг ждет меня. Вы вскоре с ним увидитесь.

— Значит, это действительно она? — воскликнул де Сюси после первых же слов маркиза д'Альбона.— Ах, а я все еще сомневался! — прибавил он, и из его черных суровых глаз скатилось несколько слезинок.

— Да, это графиня де Вандьер,— отвечал судья.

Полковник вскочил и стал поспешно одеваться.

— Ты что, Филипп, с ума сошел? — воскликнул пораженный судья.

— Но ведь я здоров уже,— ответил ему просто полковник.— При этой новости прекратились все мои боли. Да и о какой болезни может быть речь, когда я думаю о Стефани? Я еду к «Добрым Братьям», чтобы видеть ее, говорить с ней, вылечить ее. Она свободна. Значит, нам должно улыбнуться счастье, если есть провидение! Неужели ты думаешь, что эта бедная женщина может слышать меня и не обрести рассудка?

— Но ведь она уже видела тебя и не узнала,— мягко возразил судья, заметив, какие восторженные надежды обуревают его друга, и стараясь зародить в его душе спасительное сомнение.

Полковник вздрогнул, потом сделал недоверчивый жест и улыбнулся. Никто не решился помешать ему действовать так, как он этого хотел. И через несколько часов он был уже в старом аббатстве, у врача и графини де Вандьер.

— Где она? — воскликнул он, приехав.

— Тсс! Она спит...— отвечал ему дядя Стефани.— Вот она, глядите!

Филипп увидел несчастную безумную; она прикорнула на скамейке на самом солнцепеке. Густой лес рассыпавшихся по лицу спутанных волос защищал ее голову от палящих лучей солнца; грациозно свисавшие руки почти касались земли; в позе ее было изящество лани; в согнутых ногах не чувствовалось ни малейшей напряженности; грудь равномерно вздымалась; кожа, цвет ее лица отличались той фарфоровой белизной, той прозрачностью,

которая так пленяет нас в детских личиках. Подле нее сидела Женевьева; она держала в руке ветку, которую Стефани отломила, вероятно, с самой верхушки тополя; дурочка легонько помахивала этой веткой над спящей подругой, отгоняя мух и навевая прохладу. Крестьянка взглянула на г-на Фанжа и на полковника, потом, как животное, узнавшее своего хозяина, медленно повернула голову к графине и продолжала охранять ее сон, не проявив ни малейшего признака удивления или осмысленности. Был палящий зной. Каменная скамья словно искрилась на солнце, и над лужайкой поднимались к небу шаловливые легкие испарения, которые, подобно золотой пыли, сверкают и вьются в знойный день над травой. Но Женевьева, казалось, не замечала убийственной жары.

Полковник судорожно сжал руки врача. На глазах у него выступили слезы, они катились по его мужественному лицу и орошали траву у ног Стефани.

— Вот уж два года, сударь,— сказал ее дядя,— как мое сердце каждый день обливается кровью. Вскоре вы сами станете таким же, как я. Но если иссякли слезы, это еще не значит, что горе притупилось.

— Вы все это время о ней заботились,— сказал полковник, и в его взгляде наряду с благодарностью промелькнула зависть.

Они поняли друг друга и снова обменялись крепким рукопожатием, любуясь чудесным покоем погруженного в сон очаровательного существа. Время от времени Стефани вздыхала, и этот вздох, казавшийся проявлением чувства, заставлял трепетать от радости несчастного полковника.

— Увы! Не обольщайте себя надеждой, сударь! — мягко сказал ему г-н Фанжа,— вам кажется сейчас, что она в полном рассудке.

Кто часами любовался сном горячо любимого существа, кому предназначалась улыбка его глаз при пробуждении, те поймут, вероятно, жестокое и сладостное чувство, волновавшее полковника. Сон Стефани дарил его обманчивой надеждой; пробуждение должно было стать смертью, ужаснейшей из смертей. Вдруг у скамьи в несколько прыжков очутился маленький козленок и обнюхал разбуженную шорохом Стефани; она легко вскочила

на ноги, не вспугнув при этом боязливого козленка. Но заметив Филиппа, она бросилась в сопровождении своего четвероногого друга к кустам бузины, издав при этом тот пронзительный крик — крик испуганной птицы, который полковник слыхал уже однажды, когда графиня промелькнула впервые перед г-ном д'Альбоном. Потом она взобралась на ракиту, устроилась в ее зеленой шапке, с интересом самого любопытного из лесных соловьев разглядывая «чужого».

— Прощай! Прощай, прощай! — произнесла она без малейшего выражения.

То была безмятежность птички, распевающей свою песенку.

— Она не узнает меня! — воскликнул полковник с отчаянием.— Стефани! Ведь я Филипп! Твой Филипп, Филипп!

Несчастный воин направился к ракитнику; но когда он был в трех шагах от дерева, графиня поглядела на него, точно поддразнивая,— в глазах у нее, правда, промелькнуло при этом какое-то подобие испуга,— потом одним прыжком перескочила с ракиты на акацию, а оттуда на пихту, где, раскачиваясь с необычайной легкостью, стала перепрыгивать с ветки на ветку.

— Не преследуйте ее,— предупредил полковника г-н Фанжа,—вы только внушите ей недоверие. Я научу вас, как приучить ее к себе. Садитесь на эту скамью; если вы перестанете обращать на нее внимание, она вскоре начнет к вам подкрадываться, чтобы рассмотреть вас получше.

— Она не узнала меня, убежала от меня! — твердил полковник, опустившись на скамью и прислонясь спиной к дереву, которое укрывало эту скамью в своей тени; голова его низко опустилась на грудь. Врач молчал. Вскоре графиня начала осторожно спускаться с вершины пихты, прыгая, точно блуждающий огонек, с ветки на ветку и раскачиваясь вместе с деревом под порывами ветра. На каждой ветке она задерживалась, поглядывая на чужого; убедившись в его полной неподвижности, она спрыгнула наконец на траву и осторожными шажками стала приближаться к нему по лужайке. Когда она прислонилась к дереву в десяти шагах от скамьи, г-н Фанжа шепнул полковнику:

— Достаньте из моего правого кармана несколько кусочков сахара и поманите ее, она подойдет к вам; я охотно откажусь для вас от удовольствия кормить ее лакомствами. Она ужасно любит сахар, и с его помощью вы ее приучите подходить к вам, узнавать вас.

— Когда она была женщиной, она совсем не любила сластей,— с грустью заметил Филипп.

Держа между большим и указательным пальцем кусочек сахара, полковник повертел его перед Стефани, и она, испустив свой пронзительный возглас, устремилась к нему. Но снова остановилась под действием инстинктивного страха, который он внушал ей. Она то поглядывала на сахар, то отворачивала голову, как несчастный пес, которому хозяин не позволяет притронуться к еде, пока не будет названа одна из последних, произнесенных с нарочитой медлительностью, букв алфавита. В конце концов страсть к лакомству пересилила страх, Стефани бросилась к Филиппу, боязливо протянув свою прекрасную загорелую руку, чтобы схватить добычу, коснулась пальцев своего возлюбленного, вырвала сахар и скрылась среди деревьев. Эта ужасная сцена окончательно сразила полковника, он разрыдался и убежал в гостиную.

— Неужели в любви меньше сил, чем в дружбе? — сказал ему г-н Фанжа.— Я не теряю надежды, барон. Моя бедная племянница была раньше в гораздо более плачевном состоянии, чем теперь.

— Не может быть! — воскликнул Филипп.

— Она ходила нагой,— отвечал врач.

Полковник побледнел и с ужасом отшатнулся; его бледность показалась врачу подозрительной; он подошел к Филиппу, чтобы пощупать пульс, и, обнаружив у него жестокую лихорадку, заставил его лечь в постель и дал ему небольшую дозу опиума, чтобы вызвать благодетельный сон.

Прошло около недели; за это время барон де Сюси нередко переживал приступы смертельного отчаяния; вскоре у него не стало больше слез. Душа его была потрясена; не имея сил привыкнуть к зрелищу безумия графини, он примирился, так сказать, с этим ужасным положением вещей и обрел кое-какое утешение в своем горе. Самоотверженность его не знала границ. Он нашел в себе мужество приручить Стефани при помощи лакомств; он

с такой обдуманной заботливостью давал ей эти сласти, так хорошо умел закрепить те скромные победы, которые достигал над инстинктом своей возлюбленной — последним проблеском разума,— что ему удалось сделать ее более *ручной*, чем прежде. Каждое утро полковник спускался в парк, и если он, несмотря на долгие поиски, не находил графини ни на дереве, на ветвях которого она могла покачиваться, ни в каком-либо уголке, куда она могла забиться, чтобы поиграть с птицей, ни на какой-нибудь крыше, он принимался насвистывать популярную когда-то арию «Как в Сирию собрался» — с ней было связано воспоминание об одном из эпизодов их любви. И Стефани тотчас же прибегала с легкостью молодой серны. Она так привыкла к полковнику, что больше не боялась его; вскоре она уже усаживалась к нему на колени и обнимала его своей тонкой беспокойной рукой. В этой столь милой сердцу любовников позе полковник давал лакомке-графине немного сластей. Съевши их, Стефани обыскивала нередко карманы своего возлюбленного механически-проворными, точно у обезьяны, движениями. Убедившись в том, что ничего больше нет, она поглядывала на Филиппа ясным взором, в котором не было ни благодарности, ни мысли; затем она принималась с ним играть, пыталась стащить с него сапог, чтобы рассмотреть его ногу, рвала его перчатки, надевала шляпу; зато позволяла ему погладить свои волосы, обнять ее и равнодушно принимала его горячие поцелуи; она молча глядела на него, когда он плакал. Она хорошо различала «Как в Сирию собрался», но заставить ее произнести ее собственное имя — Стефани — ему не удавалось. В этих бесплодных попытках Филиппа поддерживала никогда не оставлявшая его надежда.

Если ясным осенним утром он заставал графиню спокойно сидящей на скамье под пожелтевшим тополем, несчастный любовник ложился у ее ног и глядел ей в глаза, надеясь обнаружить в ее взоре хоть малейший признак рассудка. Иногда он обманывал себя, и ему казалось, что ее неподвижный, остановившийся взгляд оживает, смягчается, становится вновь выразительным. Он вскрикивал: «Стефани! Стефани! Ты слышишь, видишь меня?» Но для нее это было просто звуком, таким же, как шум ветра в деревьях, как мычание коровы, на спину которой

она взбиралась; и полковник в отчаянии, вечно обновляющемся отчаянии, ломал себе руки. Время шло, и все эти тщетные попытки лишь увеличивали его страдания. Однажды ясным вечером в тишине и спокойствии этого затерянного среди полей уголка г-н Фанжа издали увидел, как барон заряжает пистолет. Старый врач понял, что Филипп утратил всякую надежду; он почувствовал, как вся его кровь прилила к сердцу, и если справился с охватившей его дурнотой, то потому лишь, что предпочитал видеть свою племянницу хоть и безумной, но живой, а не мертвой. Он бросился к Филиппу.

— Что вы делаете? — спросил он.

— Тот для меня,— отвечал полковник, указывая ему на лежащий на скамье заряженный пистолет,— а вот этот для нее,— добавил он, продолжая забивать пыж в оружие, которое держал в руках.

Лежа на земле, графиня играла пулями.

— Разве вы не знаете,— холодным тоном сказал врач, стараясь скрыть свой ужас,— что сегодня ночью во сне она позвала «Филипп»?

— Она позвала меня! — воскликнул барон, выронив пистолет; Стефани подняла оружие, но он вырвал его у нее из рук, схватил другой пистолет, который лежал на скамье, и убежал.

— Бедная крошка! — сказал врач, радуясь тому, что хитрость его удалась. Он прижал безумную к своей груди и прибавил: — Этот эгоист убил бы тебя! Он хочет умертвить тебя, потому что страдает. Он не умеет любить тебя ради тебя, дитя мое! Но мы простим ему, не правда ли? Он безумец, тогда как ты только помешанная. Один лишь господь властен призвать тебя к себе. Мы, глупцы, считаем тебя несчастной, потому что ты не разделяешь с нами наших горестей. Но ты счастлива: ничто не заботит тебя, ты живешь, как птичка, как лань,— сказал он, посадив ее к себе на колени.

Она бросилась к прыгавшему неподалеку молодому дрозду, с торжествующим криком схватила его, задушила, поглядела на его тельце и, бросив к подножию дерева, сейчас же о нем позабыла.

Назавтра, едва рассвело, полковник спустился в сад, разыскивая Стефани: он поверил в возможность счастья. Не находя ее, он засвистал. Когда его возлюбленная яви-

лась, он взял ее под руку. В первый раз они шли вдвоем по аллее под сводами осенних ветвей, с которых при дуновении утреннего ветра облетала листва. Полковник сел, Стефани сама взобралась к нему на колени. Филипп затрепетал от радости.

— Любовь моя,— сказал он, с жаром целуя ей руки,— ведь это я, Филипп!

Она взглянула на него с любопытством.

— Приди ко мне! — продолжал он, сжимая ее в своих объятиях.— Чувствуешь ли ты, как бьется мое сердце? Оно билось всегда для тебя лишь одной. Я все так же люблю тебя. Филипп не умер, он здесь, и ты сидишь у него на коленях. Ты — моя Стефани, а я — твой Филипп!

— Прощай! — сказала она.— Прощай!

Полковник затрепетал; ему показалось, что его восторженность передалась его возлюбленной. Исторгнутый надеждой вопль его души — последний порыв неумирающей любви, безумной страсти—вернул рассудок его возлюбленной!

— О Стефани! Мы будем счастливы!

Она удовлетворенно вскрикнула, и в глазах ее промелькнуло что-то разумное.

— Она узнает меня! Стефани!..

Полковник почувствовал, как ширится в его груди сердце, как увлажняются глаза. Но вдруг он заметил, что графиня показывает ему кусочек сахара, который ей удалось найти в его карманах, пока он говорил. Он, значит, принял за человеческую мысль степень разумности, не превышавшую сообразительность обезьяны? Филипп лишился чувств. Г-н Фанжа застал графиню на коленях у потерявшего сознание полковника. Она грызла сахар и выражала свое удовольствие такими ужимками, которые были бы признаны очаровательными, если бы в те дни, когда она была в полном рассудке, она вздумала подражать своему попугаю или кошке.

— Ах, друг мой! — воскликнул Филипп, приходя в себя.— Я ежедневно, ежечасно терплю смертные муки! Любовь моя слишком сильна! Я бы все перенес, если бы она в своем безумии сохранила хоть немного женственности. Но видеть всегда, как она одичала, как утратила совершенно даже чувство стыда, видеть ее...

— Вам, значит, хочется такого безумия, как его пред-

ставляют в театре?—язвительно сказал врач.— И на ваше чувство любви влияют предрассудки? Как, сударь! Я ради вас лишил себя грустной радости кормить свою племянницу, уступил вам удовольствие играть с ней, оставил для себя лишь самые тягостные заботы. В то время как вы спали, я бодрствовал, охраняя ее, я... Нет, сударь, оставьте ее. Покиньте этот уединенный и грустный приют. Я научился жить подле этой дорогой мне крошки: я научился понимать ее безумие, подмечать ее жесты, постигать ее тайны. Когда-нибудь вы еще будете меня благодарить.

Полковник покинул обитель «Добрых Братьев» и возвратился туда один только раз. Врач был в отчаянии, что так подействовал на своего гостя, которого успел уже полюбить почти не меньше, чем свою племянницу. Если кто-нибудь из двух любовников заслуживал жалости, то, несомненно, Филипп. Разве не он один нес на своих плечах бремя невероятных страданий? Врач навел справки о полковнике и узнал, что несчастный Филипп уединился в своем поместье неподалеку от Сен-Жермена. Уверовав в мечту, барон составил целый план, как вернуть графине рассудок. И тайком от врача он посвятил остаток осени подготовке к этому необычайно сложному опыту.

В его парке протекала маленькая речка; она образовывала обширное болото, напоминавшее то, которое тянулось вдоль правого берега Березины. Расположенная на холме деревня Сату служила таким же фоном для сцены, где должны были быть воспроизведены эти трагические события, как и Студянка, замыкавшая долину Березины. Полковник нанял рабочих, чтобы вырыть канал, изображавший роковую реку, где нашли свою гибель слава и гордость Франции — Наполеон и его армия. Филиппу удалось восстановить по памяти в своем парке берег, с которого генерал Эбле перекинул когда-то мост на другую сторону. Он забил сваи и поджег их, чтобы они походили на почерневшие и обуглившиеся столбы, которые возвестили когда-то отставшим солдатам, что путь во Францию для них отрезан. Полковник приказал снести на берег обломки, похожие на те, которыми воспользовались его товарищи по несчастью для сооружения плота. Он опустошил свой парк, чтобы довершить иллюзию, на которую возлагал свои последние

надежды. Он заказал военные мундиры и другие одеяния — все это должно было иметь поношенный и растерзанный вид, чтобы нарядить в них несколько сот крестьян. Он выстроил хижины, разбил бивуаки, установил батареи — и поджег все это. Словом, он ничего не забыл, чтобы восстановить ужаснейшую из сцен, и он достиг своей цели.

В первых числах декабря, когда земля оделась плотным снежным покровом, он узнал Березину. Эта поддельная Россия отличалась такой ужасающей реальностью, что несколько его товарищей по оружию признали в ней место своих былых злоключений. Цель этой трагической инсценировки г-н де Сюси сохранял в тайне; в нескольких парижских кружках о ней говорили как о какой-то сумасшедшей затее.

В начале января 1820 года полковник сел в карету, напоминавшую ту, в которой г-н и г-жа де Вандьер приехали когда-то из Москвы в Студянку, и отправился в Иль-Аданский лес. Его везли лошади, похожие на угнанных когда-то с русских аванпостов. На нем была странная и грязная одежда, он был так же причесан и при том же оружии, что и 29 ноября 1812 года. Он отрастил даже бороду и волосы и не брился, чтобы не нарушать ничем трагического сходства.

— Я угадываю ваши намерения,— воскликнул г-н Фанжа, увидев выходящего из кареты полковника.— Но если вы хотите, чтобы ваш план удался, не показывайтесь ей в этой карете. Сегодня вечером я дам племяннице немного опиума. Когда она уснет, мы оденем ее так же, как она была одета в Студянке, и отнесем в карету. Я последую за вами в рыдване.

Около двух часов ночи графиню отнесли в карету, положили на сиденье и укутали грубым одеялом. Несколько человек крестьян освещали это странное похищение. Вдруг в ночной тишине раздался пронзительный вопль. Обернувшись, Филипп и врач увидели Женевьеву, которая выскочила из каморки, где спала.

— Прощай! Прощай! Все кончено, прощай! — кричала она, горько рыдая.

— Да что с тобой, Женевьева? — спросил ее г-н Фанжа.

Женевьева с отчаянием помотала головой, воздела

руки к небу, посмотрела на карету, протяжно взвыла, обнаружив явные признаки глубочайшего ужаса, потом молча вернулась в дом.

— Счастливое предзнаменование! — воскликнул полковник.— Девушка жалеет о том, что лишается товарища по несчастью. Она *чует*, должно быть, что к Стефани вернется рассудок.

— Дай бог,— сказал г-н Фанжа, очень взволнованный, казалось, этим происшествием.

С тех пор, как он занялся изучением душевных болезней ему несколько раз приходилось наталкиваться на случаи пророческого дара и способности к ясновидению среди безумных—свойств, присущих, по уверению некоторых путешественников, также и дикарям.

Стефани, как и хотел полковник, пересекла эту искусно созданную копию долины Березины около девяти часов утра и была разбужена грохотом орудийного снаряда, разорвавшегося в ста шагах от места действия. Выстрел служил сигналом. Несколько сот крестьян издали разом страшный вопль, подобный тому крику отчаяния, который долетел до русских и ужаснул их, когда двадцать тысяч французских солдат увидели, что обрекли себя по собственной вине на рабство и смерть.

Услышав этот вопль и пушечную пальбу, графиня выскочила из кареты и в безумном ужасе помчалась по снежной равнине, увидела сожженные бивуаки и роковой плот, который сталкивали в замерзшую Березину. Тут же был и майор Филипп; он, размахивая саблей, прокладывал путь через толпу. У г-жи де Вандьер вырвался крик, от которого у всех присутствовавших заледенела в жилах кровь, и она бросилась к трепещущему от волнения полковнику. Напряженно, словно пытаясь собраться с мыслями, она окинула бессознательным еще взглядом представшую перед ней странную картину. Короткий, как вспышка молнии, миг глаза ее сохраняли еще ту лишенную всякой осмысленности ясность, которую мы наблюдаем в блестящих глазах птицы; потом, как человек, обуреваемый мыслями, она провела рукой по лбу. вгляделась в это ожившее воспоминание, в это воскресшее перед ней прошлое, повернула голову к Филиппу и у з н а л а е г о.

Жуткое молчание нависло над толпой. Полковник задыхался, не решаясь произнести ни звука, врач плакал. Прекрасное лицо Стефани слегка порозовело; но, разгораясь постепенно, румянец стал ослепительно ярким, точно у цветущей молодой девушки. Щеки ее заалели. Жизнь, счастье, одухотворенность словно пламенем пожара охватили все ее существо.

Судорожная дрожь пробежала с ног до головы по ее телу. Потом эти разом происшедшие перемены как бы приобрели одно связующее звено, и в глазах Стефани, точно небесный луч, вспыхнул огонь сознания.

Она жила, она мыслила! Она содрогнулась — от ужаса, быть может. Сам бог отверз вторично эти онемевшие уста и вновь зажег огонь в угасшей душе. Человеческая воля электрическим током пробежала по телу, давно ею покинутому, и оживила его.

— Стефани! — крикнул полковник.

— О Филипп! Это ты! — воскликнула бедная графиня.

Она бросилась в трепетно раскрытые ей навстречу объятия полковника, и поцелуй двух возлюбленных потряс всех присутствующих. Стефани разрыдалась. Но вдруг ее слезы высохли, она, словно громом пораженная, как труп застыла в неподвижности и прошептала слабеющим голосом: «Прощай, Филипп! Я люблю тебя, прощай!»

— Она мертва!—крикнул полковник, выпуская ее из своих объятий.

Старый врач подхватил безжизненное тело племянницы, пылко, точно юноша, обнял ее, отнес на кучу бревен и сел подле нее. Он глядел на графиню, приложив к ее сердцу свою старческую, ослабевшую, судорожно вздрагивавшую руку. Сердце больше не билось.

— Да, это так! — произнес он, переводя свой взгляд со словно окаменевшего полковника на лицо Стефани, озаренное той лучезарной красотой смерти, тем недолговечным ореолом, который служит для нас, быть может, залогом вечного блаженства.— Она мертва.

— О, эта улыбка! — воскликнул Филипп.— Поглядите, как она улыбается! Это невозможно!

— Она уже холодеет,— отвечал г-н Фанжа.

Господин де Сюси отошел на несколько шагов, чтобы

уйти от этого зрелища, потом остановился, засвистал мотив, на который откликалась обычно его возлюбленная; но, видя, что она не приходит, он, шатаясь как пьяный, побрел дальше, все еще продолжая насвистывать и уже не оглядываясь больше назад.

Генерал де Сюси почитался в светском обществе человеком любезнейшим и отменно веселым. Не так давно одна дама говорила ему, что он достоин похвалы за неизменно хорошее расположение духа и ровность характера.

— Ах, сударыня, по вечерам, когда я остаюсь один, я дорого расплачиваюсь за свои шутки.

— Разве вы бываете когда-нибудь один?

— Нет,— с улыбкой отвечал он.

Если бы беспристрастный наблюдатель человеческой природы мог увидеть в этот миг выражение лица барона де Сюси, он содрогнулся бы, вероятно.

— Почему вы не женитесь? — продолжала дама, у которой было несколько воспитывавшихся в пансионе дочерей.— Вы богаты и знатны, обладаете талантами — вас ждет блестящее будущее, все вам улыбается.

— Да,— возразил он,— но есть одна улыбка, которая меня убивает.

На следующий день пораженная дама узнала, что г-н де Сюси ночью застрелился.

В высшем свете это необычайное происшествие вызвало разнообразные толки, каждый пытался его объяснить по-своему, сообразно своим склонностям. Причину этой катастрофы — последнего акта драмы, начавшейся в 1812 году,— видели в картах, любви, честолюбии или тщательно скрываемом распутстве. Только двое — судья и старый врач — знали, что барон де Сюси был одним из тех сильных людей, которых господь наградил злосчастным даром выходить ежедневно победителем из жестоких схваток с неким тайным чудовищем. Но если десница божья хоть на миг оставляет их, они погибли.

Париж, март 1830 года.

МЭТР КОРНЕЛИУС

Графу Георгию Мнишку.

Какой-нибудь завистник, видя на этой странице блестящее сарматское имя, одно из самых старинных и знаменитых, мог бы заподозрить, что я пытаюсь по примеру ювелиров придать больше цены новой работе, оправив в нее старинную драгоценность согласно прихоти нынешней моды; но вы, дорогой граф, как и еще кое-кто, знаете, что я стремлюсь воздать должное таланту, воспоминаниям и дружбе.

Это было в 1479 году, в день всех святых, когда в соборе города Тура вечерня шла к концу. Архиепископ Гелий Бурдэйский поднялся со своего места, чтобы самому благословить верующих. Проповедь была длинная, служба затянулась до ночи, и глубокая темнота воцарилась в некоторых частях этого прекрасного храма, две башни которого были тогда еще не закончены. Однако святым поставлено было немалое количество свеч в треугольных подсвечниках, предназначенных для этих благочестивых приношений, ни смысл, ни ценность которых еще достаточно не поняты. Были зажжены все светильники в алтарях и все канделябры на клиросе. Это множество огней, неравномерно расположенное среди чащи колонн и аркад, поддерживающих три нефа, едва освещало громадный собор, так как, сочетаясь с густыми тенями колонн, отбрасываемыми

на переходы здания, огоньки своей неистощимо причудливой игрою еще более подчеркивали мрак, в котором скрывались своды с арками и боковые часовни, и без того темные, даже днем. Не менее живописное впечатление производила толпа. Некоторые лица так смутно белели в полутьме, что их можно было счесть за призраки, в то время как другие, освещенные рассеянными отблесками света, выделялись как главные персонажи на картине. Статуи казались живыми, а люди — окаменевшими. И тут и там в тени колонн блестели глаза. Казалось, камень бросал взоры, мрамор говорил, своды повторяли вздох, все здание было одушевлено. В жизни народа нет сцен более торжественных, моментов более величественных. Людским массам для поэтического творчества нужно движение, но в эти часы религиозных размышлений, когда богатство человеческой души приобщается величию небес, молчание полно непомерно высокого смысла, преклоненные колени выражают страх, сложенные ладони — надежду. Когда все устремляются душою к небесам, начинает действовать особая духовная сила, вполне объяснимая. Мистическая экзальтация верующих, собравшихся вместе, влияет на каждого из них, и даже самого немощного духом, вероятно, подхватывают волны этого океана любви и веры. Своей электрической силой молитва преодолевает таким образом само естество человеческое. Этим безотчетным единством стремлений у людей, вместе повергающихся ниц, вместе возносящихся к небесам, вероятно, и объясняется магическое влияние, которым обладают возгласы священников, мелодии органа, благовония кадил и пышность алтаря, голос толпы и молчаливая молитва. Вот почему мы не должны удивляться, что в средние века в церквах после длительных экстазов возникало столько любовных страстей, которые зачастую наставляли отнюдь не на путь святости, хотя женщин, как и во все времена, они приводили в конце концов к раскаянию. Религиозное чувство, несомненно, было тогда в родстве с любовью, порождало ее или само порождалось ею. Любовь еще была религией, она еще отличалась своим особым, прекрасным фанатизмом, простодушной суеверностью, высокой самоотверженностью, созвучными с христианством. К тому же

связь религии с любовью можно объяснить нравами того времени. Прежде всего общество встречалось только у алтарей. Только там были равны сеньоры и вассалы, мужчины и женщины. Влюбленные могли встречаться и вступать в общение друг с другом только там. Наконец, церковные торжества по тем временам заменяли зрелище; в церкви женщина живее испытывала душевное возбуждение, чем в настоящее время на балу или в Опере. Не сильные ли волнения приводят всех женщин к любви? Вмешиваясь в жизнь, проникая в каждый ее уголок, религия в равной мере становилась соучастницей как добродетелей, так и пороков. Она проникала в науку, в политику, в искусство красноречия, в преступления, на троны, в плоть и кровь больного и бедняка — она была все. Такие полунаучные замечания, быть может, подкрепят достоверность этого этюда, хотя некоторыми своими деталями он мог бы встревожить утонченную мораль нашего века, как известно, *застегнутого на все пуговицы.*

В ту минуту, когда кончилось пение священников, когда последние аккорды органа смешались с переливами голосов могучего церковного хора, запевшего «Аминь», и последние отзвуки еще не заглохли под дальними сводами, когда собравшиеся в молчании ждали благостного слова прелата, один горожанин, торопясь домой или опасаясь за свой кошелек, в сутолоке, неизбежной при выходе, потихоньку удалился, хотя и рисковал прослыть плохим католиком. Некий дворянин, притаившийся у одной из огромных колонн, окружавших клирос, и как бы укрытый ее тенью, поспешил занять место, покинутое осторожным горожанином. Пробравшись туда, он быстро уткнулся лицом в перья, украшавшие высокую серую шляпу, которую он держал в руках, и с видом сердечного сокрушения, способным растрогать любого инквизитора, преклонил на скамеечку колени. Внимательно взглянув на этого молодого человека, соседи, казалось, узнали его и, снова принимаясь за молитву, не удержались от жестов, в которых выразилась общая мысль — мысль язвительная, насмешливая, немое злословие. Две старухи покачали головами, обменявшись настороженными взглядами. Стул, которым завладел молодой человек, находился возле входа в часовню, устроенного между двух колонн

и закрытого железной решеткой. В те времена церковный капитул за довольно большие деньги предоставлял право некоторым владетельным семействам или даже богатым мещанам, не в пример прочим, слушать вместе со своей челядью церковную службу из боковых часовен, расположенных по обеим сторонам вдоль двух малых нефов. Такая продажа церковных мест практикуется и до сих пор. Какой-нибудь женщине предоставлялась в церкви часовня, словно ложа в нынешнем Итальянском театре. На съемщиках таких привилегированных мест лежала обязанность заботиться о благолепии своей часовни. Для каждого было вопросом самолюбия пороскошней украсить ее, а от этих тщеславных стараний церковь была не в накладе. В часовне, у самой решетки, рядом с местом, которое освободил мещанин, молодая дама преклонила колени на красную бархатную подушку с золотыми кистями. Серебряный позолоченный светильник, висевший под сводом часовни перед великолепно украшенным алтарем, бросал бледный свет на молитвенник, который она держала. Книга затрепетала в ее руках, когда молодой человек приблизился к решетке.

— Аминь!

После этого возгласа, произнесенного нежным, но срывающимся от волнения голосом, к счастью, заглушенным громкими звуками общего песнопения, она быстро шепнула:

— Вы губите меня!

В этом восклицании прозвучала такая невинность, что перед нею должен был отступить порядочный человек, оно проникало в самую душу, но незнакомец, вероятно, охваченный порывом страсти и не владея собою, остался на своем месте и, слегка подняв голову, заглянул в глубину часовни.

— Спит! —ответил он настолько приглушенным голосом, что этот ответ молодая женщина уловила, как эхо улавливает еле слышные звуки. Дама побледнела, на мгновение отвела глаза от веленевой страницы и украдкой посмотрела на старика, которого разглядывал юноша. Не содержалось ли уже в этой безмолвной игре взглядов некое ужасное сообщничество? Посмотрев на старика, она глубоко вздохнула, подняла свою прекрасную голову, украшенную на лбу драгоценным камнем, и

устремила глаза на картину, изображавшую святую деву. Это простое движение, эта поза и влажный взгляд говорили с неосторожной наивностью обо всей ее жизни; будь женщина порочной, она бы умела притвориться. Человек, причинявший столько страха обоим влюбленным, был горбатым, почти совершенно лысым старикашкой, свирепым с виду; на его груди, под широкой грязновато-белой бородой, подстриженной веером, сиял крест св. Михаила; грубые, сильные руки, поросшие седыми волосами, сложенные, должно быть, для молитвы, слегка разомкнулись во сне, которому старик неосторожно предался. Правая рука вот-вот готова была упасть на меч, стальная чашка которого в виде крупной раковины была украшена резьбою; он так пристроил свое оружие, что рукоять находилась у него под рукой; если бы рука, не дай бог, коснулась стали, старик, безусловно, тотчас же проснулся бы и бросил взгляд на свою жену. Язвительная складка его губ, его властно приподнятый острый подбородок свидетельствовали о злобном уме, о холодной и жестокой предусмотрительности, позволявшей ему все угадывать, потому что он умел все предполагать. Желтый лоб его был собран в складки, как у тех, кто привык ничему не верить, все взвешивать, определять смысл и точное значение человеческих поступков, подобно скрягам, бросающим червонцы на весы. У него было крепкое костистое сложение, он казался раздражительным и легко впадающим в гнев — короче говоря, точь-в-точь людоед из сказки! Итак, стоило этому страшному вельможе проснуться, молодую даму ждала бы неизбежная опасность. Ревнивый супруг распознал бы разницу между старым мещанином, который не вызывал у него никакого подозрения, и только что появившимся стройным юношей, придворным щеголем.

— *Избави нас от лукавого!* — промолвила она, намекая на свои опасения неумолимому молодому человеку.

Но он поднял голову и взглянул на нее. В глазах его блестели слезы, слезы любви и отчаяния. Видя это, дама вздрогнула — и погубила себя. Вероятно, оба они с давних пор противились и больше уже не могли противиться своей любви, возраставшей с каждым днем из-за непреодолимых препятствий, зревшей под влиянием

страха, укреплявшейся силами юности. Эта женщина была не очень красива, но бледность ее лица выдавала тайные страдания, которые придавали ей какую-то заманчивую прелесть. К тому же она отличалась изящными формами и прекраснейшими в мире волосами. Ее стерег тигр в образе человека, так что одно слово или взгляд могли стоить ей жизни. Никогда еще любовь не была глубже затаена в двух сердцах и так упоительна для них обоих, но и никогда страсть не была так опасна. Легко было догадаться, что для этих двух существ воздух, звуки, отголосок шагов по плитам и самые безразличные для других мелочи были полны особого значения, которое они угадывали. Любовь превращала в их верную посредницу даже холодную руку старого священника, который их обычно исповедовал и оделял у алтаря облатками. Это была глубокая любовь, любовь, что запечатлевается в душе, как на теле шрам — на всю жизнь! Когда молодые люди обменялись взглядом, женщина, казалось, говорила своему возлюбленному: «Погибнем, но будем любить друг друга!» — а юноша, казалось, отвечал: «Мы будем любить друг друга и не погибнем!» Тогда кивком головы, полным тихой печали, она показала ему на дуэнью и двух пажей. Дуэнья спала. Пажи были молоды и вряд ли заботились о том, что хорошего или дурного могло случиться с их господином.

— Не пугайтесь при выходе и не сопротивляйтесь!

Едва успел дворянин произнести тихим голосом эти слова, как рука старого вельможи соскользнула на рукоять меча. Почувствовав холод металла, старик внезапно проснулся; его желтые глаза тотчас же впились в жену. Он сразу обрел ясность ума и отчетливость мыслей, словно и не спал вовсе,— способность, довольно редкая даже у гениальных людей. Это был ревнивец. Но молодой кавалер, смотря на свою возлюбленную, в то же время следил и за мужем. Не успел старик уронить руку на меч, как юноша проворно вскочил и скрылся за колонной; затем он исчез, упорхнул, как птица. Дама быстро опустила глаза и углубилась в книгу, стараясь казаться спокойной, но лицо ее вспыхнуло предательским румянцем, а сердце так и заколотилось. Старый вельможа услышал в гулкой часовне трепетный стук сердца, заметил румянец, разлившийся по щекам, лбу и векам его

жены; он опасливо посмотрел вокруг и, не видя никакой подозрительной фигуры, спросил:

— О чем вы думаете, милочка?

— Мне плохо от запаха ладана,— ответила она.

— Чем же это он стал вдруг нехорош? — удивился вельможа.

Хитрый старик хотя и отпустил такое замечание, все же притворился, что верит этой уловке, однако в душе заподозрил какую-то тайную измену и решил еще усердней наблюдать за своим сокровищем.

Священник уже благословил верующих. Не дожидаясь конца возгласа: «Во веки веков»,— толпа, подобно потоку, устремилась к дверям церкви. По своему обыкновению старый вельможа благоразумно выждал, пока уляжется суматоха, затем вышел из часовни, пропустив вперед дуэнью и младшего пажа, несшего большой фонарь; жену он вел под руку, а второму пажу приказал следовать позади. В тот момент, когда старик уже приблизился к боковой двери, которая вела в восточную часть монастырской усадьбы, куда он обыкновенно и выходил, людская волна отделилась от толпы, загородившей главный вход, и хлынула обратно к малому нефу, где находился вельможа со своими людьми, а повернуть назад к часовне он уже не мог — так было тесно. Мощный напор толпы выталкивал его с женою наружу. Муж постарался пройти первым и с силой тащил жену за руку. Но тут его вытеснили на улицу, и в то же мгновение жену оттер от него кто-то посторонний. Страшный горбун сразу понял, что попал в заранее подготовленную ловушку. Раскаиваясь, что так долго спал, он собрался с силой, вновь схватил свою жену одной рукой за рукав платья, а другой уцепился за дверь. Но любовный пыл одержал верх над бешеной ревностью. Молодой дворянин подхватил свою возлюбленную за талию и увлек ее так стремительно, с такой силой, порожденной отчаянием, что затканный золотом шелк, парча, пластинки китового уса с треском лопнули, а в руке мужа остался только рукав. Львиное рычание тотчас же покрыло крики толпы, а вслед за тем все услышали, как вельможа страшным голосом заревел:

— Ко мне, Пуатье!.. К главному входу, люди графа де Сен-Валье! На помощь! Сюда!

Граф Эмар де Пуатье, владетель Сен-Валье, хотел было обнажить меч и расчистить себе дорогу, но увидел. что окружен и стиснут тремя-четырьмя десятками дворян, с которыми было опасно иметь дело. Многие из них, люди весьма знатные, отвечали ему шуточками, увлекая в проход монастыря. С быстротой молнии похититель умчал графиню в открытую часовню, где усадил ее на деревянную скамью позади исповедальни. При свечах, горевших перед изображением угодника, которому была посвящена часовня, они на миг молча встретились взглядом, схватившись за руки, изумленные своей смелостью. У графини не нашлось жестокого мужества упрекнуть молодого человека за удальство, которому они были обязаны этим моментом, счастливым и опасным.

— Согласны вы бежать со мной сейчас куда-нибудь в соседнюю страну? — быстро спросил ее дворянин.— У меня наготове пара английских лошадей, способных проскакать тридцать миль за один перегон.

— Ах! — кротко воскликнула она.— В каком уголке мира найдете вы убежище для дочери короля Людовика Одиннадцатого?

— Да, правда,— растерянно ответил молодой человек, не предусмотревший такого затруднения.

— Зачем вы похитили меня у мужа? — спросила она с каким-то ужасом.

— Увы! — ответил кавалер.— Я не подумал о том душевном волнении, которое сейчас испытываю, находясь возле вас, слыша вашу речь. Я составил было два-три плана, а вот увидел вас лицом к лицу — и мне уж больше ничего, кажется, не нужно.

— Но ведь я погибла! — сказала графиня.

— Мы спасены! — воскликнул дворянин в слепом любовном восторге.— Выслушайте меня хорошенько...

— Эта встреча будет стоить мне жизни,— продолжала она, давая волю слезам, которые навертывались ей на глаза.— Граф убьет меня, быть может, нынче же вечером! Но идите к королю, расскажите ему о мучениях, которые целых пять лет выносит его дочь. Он любил меня, когда я была еще малюткой; он называл меня «Мария благодатная, хотя и не благообразная», потому что я была некрасива. Ах! Если бы он знал, какому человеку отдал меня, он пришел бы в ярость! Я не осмелилась

жаловаться, щадя графа. Впрочем, как мог мой голос дойти до короля? Ведь даже духовник мой, и тот — шпион Сен-Валье. Вот почему, в надежде приобрести защитника, я согласилась на преступное похищение. Но могу ли я довериться... О! — воскликнула она вдруг, бледнея.— Вот паж!

Бедная графиня сплела пальцы перед своим лицом, чтобы паж не разглядел ее за этой импровизированной вуалью.

— Не бойтесь,— сказал молодой дворянин,—он мною подкуплен. Вы можете обращаться к нему за помощью без опасений, он предан мне душой и телом. Когда граф явится за вами, паж предупредит нас о его приходе. Здесь, в исповедальне,— добавил он, понизив голос,— находится мой друг, каноник, который обещал спасти вас от неприятностей и взять под свое крылышко в этой часовне. Таким образом, все предусмотрено, чтобы обмануть Сен-Валье.

При этих словах слезы графини высохли, но все же грусть омрачала ее черты.

— Его не обманешь! — сказала она.— Нынче же вечером он все будет знать. Спасите меня от его мести! Поезжайте в Плесси, повидайтесь с королем, скажите ему, что...— Она замялась, но какое-то воспоминание придало ей решимости открыть тайну своей брачной жизни.— Ну так вот... скажите ему, что граф, желая подчинить меня своей воле, делает мне кровопускание из обеих рук и доводит меня до полного истощения... скажите, что он таскал меня за волосы... скажите, что я — узница; скажите, что...

Ее сердце переполнилось, рыдания перехватили горло, несколько слезинок скатилось из глаз, и, не помня себя от горя, она позволила юноше завладеть ее руками, и он целовал их, произнося бессвязные слова:

— Бедняжка, сегодня поговорить с королем невозможно! Хоть я и племянник командующего войсками арбалетчиков, но я не могу проникнуть нынче вечером в Плесси. Моя прекрасная дама, дорогая моя повелительница!.. Боже мой, сколько она выстрадала!.. Мария, позвольте мне сказать вам два слова, или мы погибли!

— Что делать!..— произнесла она.

Графиня увидела на черной стене изображение Де-

вы, на которое падал отблеск светильника, и воскликнула:

— Святая матерь божья, научи нас!

— Сегодня вечером,— продолжал молодой дворянин,— я буду у вас.

— А каким образом? — наивно спросила графиня.

Им угрожала такая опасность, что самые нежные слова казались лишенными любви.

— Сегодня вечером,— ответил дворянин,— я пойду к мэтру Корнелиусу, королевскому казначею, чтобы поступить к нему в ученики. Мне посчастливилось достать рекомендательное письмо к нему, и он мне не откажет. Он живет по соседству с вами. Находясь под крышей этого старого скряги, я при помощи шелковой лестницы уж найду дорогу в вашу комнату.

— О! Если вы меня любите, не ходите к Корнелиусу,— промолвила она, остолбенев от страха.

— Ах,— воскликнул молодой человек, в порыве юношеской страсти изо всей силы прижимая ее к сердцу,— значит, вы меня любите!

—Да,— ответила она.— Не в вас ли моя надежда? Вы — дворянин, я вверяю вам свою честь! Впрочем,— продолжала она, глядя на него с достоинством,— я слишком несчастна, чтобы вы могли злоупотреблять моим доверием. Но к чему все это? Уходите, пусть лучше я умру, чем вам идти к Корнелиусу! Разве вы не знаете, что все его ученики...

— ...были повешены,— смеясь, подхватил дворянин. Уж не думаете ли вы, что меня прельщают его сокровища?

— О! Не ходите туда. Вы сделаетесь там жертвой какого-нибудь колдовства...

— Я готов на все ради счастья быть вашим слугою,— ответил он, бросая на нее такой пламенный взгляд, что она потупила взор.

— А мой муж? — сказала она.

— Вот этим можно его усыпить,— ответил молодой человек, вынимая из-за пояса маленький флакон.

— Не навсегда? — с трепетом спросила графиня.

Дворянин всем своим видом выразил отвращение перед подобною мыслью.

— Я бы уже давно вызвал его на поединок, не будь

он так стар,— добавил он.— Сохрани меня бог, чтобы я когда-либо избавил вас от него при помощи отравы!

— Простите,— сказала графиня, краснея,— я жестоко наказана за свои прегрешения. В минуту отчаяния я хотела извести графа; я опасалась, не возникло ли и у вас такое желание. Велика моя скорбь, что я не могла еще исповедаться в этом дурном помысле, но я боялась, что ему все откроют и он станет мстить. Вам стыдно за меня,— вымолвила она, обиженная молчанием, которое хранил молодой человек,— я заслужила ваше порицание.

Она разбила флакон, с силой бросив его на пол.

— Не приходите,— воскликнула она,— у графа чуткий сон.— Я должна возложить надежды только на небеса. Так я и сделаю!

Она хотела выйти.

— Ах! — воскликнул дворянин.— Прикажите, я убью его. Сегодня вечером я буду у вас!

— Я поступила благоразумно, уничтожив это снадобье,— возразила она, и голос ее ослабел от счастливого сознания, что ее так пылко любят.— Боязнь разбудить моего мужа спасет нас от самих себя.

— Я ваш на всю жизнь,— сказал молодой человек, сжимая ей руку.

— Если король захочет, папа может расторгнуть мой брак. Тогда мы соединим нашу судьбу,— сказала она, бросив на него взгляд, полный восхитительных обещаний.

— Сюда идет сеньор! —воскликнул прибежавший паж.

Удивленный, что так быстро пролетело время и так поспешно явился граф, дворянин мгновенно сорвал у своей возлюбленной поцелуй, в котором она не могла ему отказать.

— До вечера! — бросил он ей на бегу.

Под покровом темноты влюбленный юноша добрался до главного входа, перебегая от колонны к колонне и следуя направлению длинных теней, отброшенных большими пилонами церкви.

Вдруг из исповедальни вышел старый каноник, остановился возле графини и тихо запер решетку, перед которой важно, напустив на себя свирепый вид, стал про-

гуливаться паж. Яркий свет возвестил о появлении графа. Сопровождаемый кое-кем из друзей и челядью, которая несла факелы, он подошел к часовне с обнаженным мечом в руке. Его угрюмые взоры, казалось, пронизывали густой мрак и шарили по самым темным углам собора.

— Господин мой, графиня здесь,— сказал паж, идя ему навстречу.

Граф де Сен-Валье застал свою жену коленопреклоненной у подножия алтаря, где каноник, стоя, читал требник. При виде этого зрелища вельможа с силой потряс решетку, как бы давая исход своему бешенству.

— Зачем пришли вы во храм божий с обнаженным мечом в руке? — спросил каноник.

— Отец мой, это мой муж,— ответила графиня.

Священник достал из рукава ключ и открыл часовню. Граф не мог удержаться, чтобы не бросить взгляд вокруг исповедальни, даже вошел в нее, а затем, выйдя, стал прислушиваться к тишине собора.

— Милостивый государь,— сказала ему жена,— вы обязаны благодарностью этому почтенному канонику за то, что он укрыл меня здесь!

Господин де Сен-Валье побледнел от гнева; он не смел взглянуть на своих друзей, пришедших сюда с целью скорее посмеяться, нежели оказать ему помощь, и коротко ответил:

— Благодарю, отец мой; я найду возможность вознаградить вас.

Взяв жену под руку, граф, не дожидаясь, пока она закончит почтительный поклон канонику, подал знак своим людям и вышел из церкви, ни слова не сказав сопровождавшим его дворянам. В его молчании таилась ярость. Горя нетерпением вернуться домой, озабоченно изыскивая способ узнать всю правду, он пустился в путь по извилистым улицам, которые вели тогда от собора до главного входа в дом канцлера—прекрасный дворец, незадолго перед тем выстроенный хранителем печати Ювеналом Урсеном на месте старинного укрепления, в усадьбе, подаренной Карлом VII этому преданному слуге за его славные труды. В память того, что во дворце этом хранилась государственная печать, улица, на которой он был выстроен, стала называться улицей Хранилища Печати. Она соединяла старый Тур с пригородом Шатонеф,

где находилось знаменитое аббатство св. Мартина, в котором столько королей перебывали простыми канониками. Уже за сто лет до того пригород присоединен был, после долгих споров, к городу. Многие дома, прилегающие к улице Хранилища Печати и образующие центр современного Тура, существовали уже тогда, но самые красивые дворцы — а среди них дворец, составлявший собственность казначея Санкуэна и доныне существующий на улице Торговли,— принадлежали к общине Шатонефа. Здесь именно проходили факелоносцы г-на де Сен-Валье, направляясь к той части пригорода, что лежит у самой Луары; вельможа машинально следовал за своими людьми, время от времени бросая мрачный взор на жену и на пажа, чтобы уловить, не переглядываются ли они друг с другом, ибо это могло пролить некоторый свет на происшествие, приводившее старика в отчаяние. Наконец граф достиг улицы Шелковицы, где находилось его жилище. Когда его свита вошла в дом и захлопнулась тяжелая дверь, глубокая тишина воцарилась на этой улице, где проживало тогда несколько вельмож, потому что новый квартал города прилегал к Плесси — обычному местопребыванию короля, куда придворные должны были являться по первому зову. Последний дом на улице был и самым последним домом на окраине города и принадлежал мэтру Корнелиусу Хугворсту, старому брабантскому негоцианту, которого король Людовик XI жаловал своим доверием в финансовых сделках, предпринимаемых, согласно хитрой королевской политике, за пределами королевства. Поселившись по соседству с жилищем мэтра Корнелиуса, граф де Сен-Валье рассчитывал, что здесь он беспрепятственно подчинит жену своей тиранической власти.

Достаточно познакомиться с местоположением графского особняка, чтобы понять, какие выгоды оно предоставляло ревнивцу. При доме, прозванном *дворец Путатье,* был сад, огражденный с севера стеною и рвом, которые служили укреплениями старинному пригороду Шатонефу, а вдоль рва проходил еще вал, незадолго до того воздвигнутый Людовиком XI между Туром и Плесси. С этой стороны вход в жилище охраняли собаки, с востока же оно отделялось от соседних домов большим двором, а с запада примыкало к дому мэтра Корнелиуса.

Южным, главным фасадом *дворец Пуатье* был обращен на улицу. Изолированное с трех сторон жилище мнительного и хитрого вельможи могло подвергнуться вторжению только из казначейского дома, крыши и каменные желоба которого соприкасались с крышами и желобами *дворца Пуатье*. Узкие окна, прорезанные в каменной стене главного фасада, были снабжены железными решетками; вход, сводчатый и низкий, как в наших старинных тюремных замках, был неприступен. У крыльца находилась каменная скамья, с которой садились верхом на лошадь. Рассматривая очертания жилищ, занимаемых мэтром Корнелиусом и графом де Пуатье, каждый почувствовал бы, что эти дома строились одним архитектором и были предназначены для тиранов. Оба зловещим своим видом напоминали небольшие крепости и могли бы долго выдерживать осаду разъяренной толпы. На углах они были защищены башенками, подобными тем, что любители древностей отмечают в некоторых городах, куда еще не проник разрушительный молот скупщика старых зданий. Узкие проемы придавали дверям и железным ставням удивительную силу сопротивления. Такие предосторожности объяснялись страхом перед мятежами и гражданскими войнами, столь частыми в те смутные времена.

Когда на колокольне в аббатстве св. Мартина пробило шесть часов, возлюбленный графини проходил мимо *дворца Пуатье* и, на мгновение остановясь, услышал шум, доносившийся из нижнего этажа,— там ужинала графская челядь. Мимолетно взглянув на окна той комнаты, где, как ему казалось, должна была находиться его дама, он направился к двери соседнего дома. Всюду на своем пути молодой дворянин слышал, как в домах весело пировали горожане, воздавая честь празднику. Сквозь неплотно закрытые ставни проникали лучи света, трубы дымились, и из съестных лавок струился на улицу запах жаркого, приятно щекоча ноздри прохожим. По окончании церковной службы весь город предался веселью и наполнился гамом, который легче воспроизвести в воображении, чем описать пером. Но в обоих этих домах царила глубокая тишина, ибо то были обиталища двух страстей, чуждых всякой радости. Дальше простиралось безмолвие полей, а здесь, под сенью коло-

кольни аббатства св. Мартина, эти два дома, тоже погруженные в молчание, отгороженные от других домов и стоявшие в самом конце улицы, где она делает резкий изгиб, были похожи на лепрозорий. Дом, расположенный напротив, находился под секвестром, потому что принадлежал государственным преступникам. Молодой человек, как это естественно в таком возрасте, был потрясен столь внезапным контрастом. Вот почему, уже готовый броситься в опаснейшее предприятие, он остановился в раздумье перед зданием, где жил мэтр Корнелиус, вспоминая все россказни, вызванные образом жизни этого человека и возбуждавшие странный ужас у графини. В ту эпоху не то что воин — даже влюбленный дрожал при одном слове *магия*. Тогда редко кто не верил в необычайные явления и без удивления внимал рассказам о всяких чудесах. Возлюбленный графини де Сен-Валье, одной из дочерей Людовика XI, прижитых им в Дофине от г-жи де Сессенаж, при всей своей смелости не мог не призадуматься, входя в дом, где обитала нечистая сила.

История мэтра Корнелиуса Хугворста вполне объяснит, почему г-н де Сен-Валье так спокойно полагался на его соседство, почему графине его имя внушало ужас, почему влюбленный юноша заколебался, входя в его дом. Но, чтобы читателю XIX века было ясно, как события, по-видимому, довольно обыкновенные, приобрели сверхъестественный смысл, и чтобы он мог понять страхи старых времен, необходимо прервать этот рассказ и бросить беглый взгляд на приключения мэтра Корнелиуса.

Корнелиус Хугворст, один из богатейших коммерсантов Гента, навлекши на себя неприязнь герцога Карла Бургундского, нашел убежище и покровительство при дворе Людовика XI. Король сообразил, как полезен ему стал бы человек, имеющий связи с главными домами Фландрии, Венеции и Леванта; вопреки своему обыкновению, Людовик XI обласкал мэтра Корнелиуса, даровал ему дворянство, принял его в число своих подданных. В свою очередь, и монарх нравился фламандцу — правда, ровно настолько, насколько сам фламандец нравился монарху. Оба хитрые, недоверчивые и скупые, оба тонкие политики, одинаково образованные, оба стоящие выше своей эпохи, они чудесно понимали друг друга. Оба с одинаковой легкостью то забывали, то вспоминали—

один свою совесть, другой благочестие. Они проявляли сходные вкусы, свойственные одному по натуре, воспринимаемые другим ради угождения,— словом, если можно верить завистливым речам Оливье ле Дэм и Тристана, король ходил в дом заимодавца развлекаться так, как имел обыкновение развлекаться Людовик XI. История позаботилась поведать нам о дурных наклонностях этого монарха, которому отнюдь не претил разврат. Старый брабантец, по-видимому, находил и утеху и выгоду в подчинении прихотливым вкусам своего венценосного клиента. Корнелиус жил в городе Туре уже девять лет, и в течение этих девяти лет у него в доме случалось немало необыкновенных происшествий, сделавших лихоимца предметом всеобщего отвращения. По прибытии в город, он затратил сразу значительные суммы денег, чтобы обеспечить своим сокровищам безопасность. Хитрые приспособления, секретно осуществленные для него городскими слесарями, странные меры предосторожности, которые он принимал, вводя этих слесарей в свое жилище таким способом, который дал бы ему уверенность, что они не станут потом болтать,— все это долго было предметом нескончаемых фантастических рассказов, восхищавших жителей Турени на вечерних посиделках. Чрезмерная предусмотрительность старика заставляла предполагать, что он владеет несметными богатствами Востока. Вот почему туренские сказочники (а ведь Турень — родина французской сказки) украшали комнаты фламандца чистым золотом и драгоценными каменьями, не преминув объяснить такое богатство договором со злыми духами. Мэтр Корнелиус некогда привез с собою двух лакеев-фламандцев, старую женщину и молодого ученика с нежным, приятным лицом; этот ученик служил ему секретарем, кассиром, приказчиком и курьером. В первый же год пребывания в Туре у Корнелиуса случилась значительная кража. Судебное следствие установило, что преступление могло быть совершено лишь лицом, проживающим в доме. Старый скряга посадил в тюрьму обоих своих лакеев и молодого приказчика. Юноша был слабого здоровья, он погиб под пыткой, все время уверяя в своей невиновности. Два лакея приняли на себя преступление, чтобы избежать мучений, но, когда судья стал допрашивать, где находятся украденные деньги, они хра-

«МЭТР КОРНЕЛИУС»

«МЭТР КОРНЕЛИУС»

нили молчание. Их пытали, судили, приговорили к смерти и повесили. Идя на виселицу, они не переставая твердили о своей невиновности, как это делают, впрочем, все висельники. Город Тур долго толковал об этом странном деле. Преступники были фламандцами, поэтому сочувствие, которое возбудили эти несчастные и молодой приказчик, быстро угасло. В то время войны и мятежи доставляли постоянные волнения, и вчерашняя драма бледнела перед драмою следующего дня. Больше опечаленный понесенной огромной потерей, чем смертью трех своих слуг, мэтр Корнелиус остался один со старой фламандкой, доводившейся ему сестрой. Он получил от короля милостивое разрешение пользоваться для своих частных дел государственными курьерами, поставил своих мулов у соседнего погонщика и стал жить с этих пор в самом строгом уединении — видался только с королем, а свои коммерческие дела вел с помощью евреев, сметливых и расчетливых, которые служили ему верно, желая добиться его всемогущего покровительства.

Спустя несколько времени после того происшествия сам король порекомендовал одного юношу-сироту, в котором принимал большое участие, своему старому *судных дел мастеру*. Людовик XI фамильярно называл Корнелиуса этим старинным именем, которое при Людовике Святом означало ростовщика, собирателя налогов, человека, наживавшегося на народе жестокими способами. Оно не только созвучно выражению *судных дел мастер*, сохранившемуся в нашем судейском языке для обозначения палача, производящего пытку, но и довольно близко к нему по смыслу. Бедный юноша старательно отдался делам заимодавца, угодил Корнелиусу и приобрел его доброе расположение. Однажды в зимнюю ночь были похищены бриллианты, которые английский король заложил Корнелиусу за сто тысяч экю. Подозрения пали на сироту. Людовик XI отнесся к нему тем более строго, что поручался за его честность. И вот несчастный был повешен после допроса, довольно поверхностно произведенного главным превотальным судьей. Никто больше не осмеливался идти к мэтру Корнелиусу учиться банковским операциям и ремеслу менялы. Лишь двое турских граждан, молодые люди, безупречно честные и стремившиеся нажить себе состояние, один за другим поступили

к нему. С появлением их в доме *ссудных дел мастера* совпали значительные кражи. Обстоятельства дела и способ совершения этих преступлений ясно показывали, что воры были в тайном сговоре с жильцами дома. Обвинение вновь прибывших напрашивалось само собою. Становившийся все более подозрительным и мстительным, брабантец немедленно довел об этом случае до сведения Людовика XI, и король поручил ведение дела своему главному превотальному судье. По обоим процессам следствие проведено было быстро, а судоговорение — и того быстрее. Жители Тура, патриоты своего города, осуждали между собой Тристана за такую поспешность. Виновные или нет, но оба молодых человека прослыли жертвами, а Корнелиус — палачом. Семьи обоих казненных пользовались почетом, и к жалобам их прислушивались; постепенно, строя догадку за догадкой, эти семьи заставили поверить, что все те, кого казначей короля послал на виселицу, были ни в чем не повинны. Некоторые утверждали, что жестокий скряга подражал Людовику XI, пытаясь оградить себя от опасности страхом и виселицами; что никаких краж в его доме не было, что эти прискорбные казни являлись результатом холодного расчета: он хотел быть спокойным за свои сокровища. Первым следствием народной молвы было то, что все отстранились от мэтра Корнелиуса. Жители Тура стали относиться к нему как к зачумленному. Его прозвали *судных дел мастером*, а его жилище — *Дурным домом*. Если бы и нашелся какой-нибудь приезжий смельчак, готовый поступить в этот дом на место, жители города, все как один, воспрепятствовали бы этому своими россказнями. Наиболее благожелательным для мэтра Корнелиуса было мнение, что он наделен некоей пагубной силой. Одним он внушал инстинктивный страх, другим—то глубокое почтение, какое питают к неограниченной власти или к деньгам. Для третьих он обладал привлекательностью тайны. Его образ жизни, его физиономия, благосклонность к нему короля— все это как бы подтверждало многочисленные слухи о нем. После смерти своего преследователя, герцога Бургундского, Корнелиус довольно часто уезжал из страны, а на время отсутствия банкира король поручал охрану его дома своей шотландской роте. Такая заботливость короля заставляла придворных предполагать, что старик от-

казал свои богатства Людовику XI. *Ссудных дел мастер* выходил из дому очень редко, но королевские придворные частенько его навещали — он довольно широко ссужал их деньгами, хоть, правда, порою бывал взбалмошен: в иные дни он не соглашался им дать ни гроша, а на следующий день давал огромные суммы,— разумеется, за большие проценты и под верное обеспечение. Впрочем, как хороший католик, он исправно посещал церковную службу, но приходил в собор св. Мартина всегда загодя, а так как он откупил себе там пожизненно особую внутреннюю часовню, то и в церкви, как и везде, был отделен от прочих христиан. В Туре долго в те времена существовала народная примета: *«Прошел мимо Ссудной казны — значит беды суждены»*. Словами *«Прошел мимо Ссудной казны»* объяснялись внезапные болезни, безотчетная грусть, всяческие неудачи. Даже при дворе Корнелиусу приписывали то роковое влияние, которое итальянские, испанские и азиатские суеверия определили как «дурной глаз». Если бы не страшная власть Людовика XI, распростертая, как покров над *Дурным домом* на улице Шелковицы, малейшего повода было бы достаточно, чтобы народ разрушил его. А ведь первые шелковичные деревья были посажены в Туре именно Корнелиусом, и жители Тура тогда смотрели на него как на доброго гения. Вот и рассчитывайте на любовь народа! Некоторые вельможи, встретившись с мэтром Корнелиусом вне Франции, были удивлены его хорошим расположением духа: в Туре он бывал всегда мрачен и задумчив, но тем не менее всегда возвращался в Тур. Необъяснимая сила влекла его в темный дом на улице Шелковицы. Подобно улитке, жизнь которой тесно связана с ее раковиной, он чувствовал себя хорошо, как сам признавался королю, только за изукрашенными каменными стенами своей крепко запертой маленькой Бастилии, хотя и знал, что в случае смерти Людовика XI это место станет для него опаснейшим на земле.

— Дьявол потешается над нашим кумом *ссудных дел мастером*,— сказал Людовик XI своему брадобрею за несколько дней до праздника всех святых.— Он опять жалуется, что его обокрали! Но теперь уж ему некого вешать, кроме разве самого себя. И этот старый бродяга приходил, чтобы спросить меня, не унес ли я вчера

по ошибке рубиновую цепь, которую он хотел мне продать! «Клянусь богом, я не ворую того, что могу и так взять»,— сказал я ему.

— И он испугался? — спросил брадобрей.

— Скряги боятся только одной вещи,— ответил король.— Мой кум *ссудных дел мастер* прекрасно знает, что я не сдеру с него шкуру без причины, иначе я был бы несправедлив, а я всегда делал только то, что справедливо и необходимо.

— Однако этот мошенник с вас столько тянет,— возразил брадобрей.

— А ты хотел бы, чтобы я и вправду...— сказал король, бросая на брадобрея лукавый взгляд.

— Черт возьми, государь, хорошо было бы заранее перехватить частицу из его наследства, а то ведь все оно достанется дьяволу!

— Довольно! — сказал король.— Не внушай мне дурных мыслей. Мой кум — человек, самый преданный из всех, кого я облагодетельствовал; быть может, потому, что он мне ничего не должен.

Итак, уже два года Корнелиус жил один со своей старой сестрой, которая слыла колдуньей. Портной, проживавший по соседству, утверждал, что частенько видел ее ночью на крыше в ожидании, когда наступит час лететь на шабаш. Это казалось тем более необычайным, что старый скряга запирал свою сестру в комнате, где окна были забраны железными решетками. Вечно обкрадываемый, постоянно опасаясь, как бы его не обманули, Корнелиус на старости лет возненавидел всех, за исключением короля, которого очень уважал. Он стал настоящим человеконенавистником, а страсть к золоту — отождествление своей собственной сущности с этим металлом — становилась, как у большинства скупцов, все более и более глубокой и с возрастом все усиливалась. Даже сестра возбуждала его подозрения, а ведь она была, пожалуй, еще скупей, чем брат, и превосходила его в изобретениях скряжничества. Вот почему в их существовании было что-то загадочное и таинственное. Старуха так редко брала хлеб у булочника, так мало бывала на рынке, что и наименее легковерные наблюдатели стали в конце концов приписывать этим двум странным существам знание какой-то тайны жизни. Люди, соприкасавшиеся с алхими-

ей, говорили, что мэтр Корнелиус умеет делать золото. Ученые утверждали, что он нашел универсальное средство от всех болезней. Многие деревенские жители считали Корнелиуса, со слов горожан, существом сверхъестественным, и некоторые из любопытства приходили в город посмотреть с улицы на его жилище.

Усевшись на скамье дома, расположенного напротив Ссудной казны мэтра Корнелиуса, дворянин поочередно рассматривал *дворец Пуатье и Дурной дом.* Луна подчеркивала их выступы своим сиянием, выделяла темными и светлыми пятнами все углубления и выпуклости скульптурной отделки. Причудливая игра бледных лучей придавала обоим зданиям зловещий вид; казалось, сама природа поддалась суевериям, которые витали над этим жильем. Молодой человек вспомнил один за другим все рассказы, где Корнелиус изображался как существо, внушающее одновременно и любопытство и страх. Решив в пылу своей любви проникнуть в этот дом и не покидать его, пока не исполнит своих замыслов, он все же в последний момент заколебался перед решительным шагом, хотя и знал, что сделает его. Но кто в критические минуты своей жизни не прислушивался к предчувствиям и не колебался перед безднами будущего? Влюбленный и достойный любви молодой человек лишь опасался, как бы не умереть раньше, чем графиня увенчает его любовь. Эти тайные размышления были полны такого острого интереса, что юноша не чувствовал холодного ветра, хлеставшего по его ногам и по выступам домов. Входя в дом Корнелиуса, он должен был отказаться от своего имени, так же как оставил уже свою красивую дворянскую одежду В случае какого-нибудь несчастья он не имел права ссылаться на преимущества своего рождения, надеяться на защиту друзей, иначе он безвозвратно погубит графиню де Сен-Валье. Если бы старый вельможа заподозрил, что к ней ночью может пробраться любовник, он был бы способен запереть ее в железную клетку и сжечь на медленном огне или же уморить, заточив в каком-либо замке. Оглядывая жалкую одежду, в которую он вырядился, дворянин стыдился самого себя. Подпоясанный черным кожаным поясом, в грубых башмаках, в коротких сермяжных штанах, сером шерстяном полукафтанье, он был похож на писца, какие бывали у самых бедных

судебных приставов. Для дворянина XV века разыгрывать роль мещанина без гроша за душой и отказываться от преимуществ своего сословия — уже было равносильно смерти. Но взобраться на крышу дома, в котором плакала его возлюбленная, а затем спуститься по дымовой трубе или бежать по крыше от одной водосточной трубы к другой и влезть к возлюбленной в окно; рисковать своей жизнью, чтобы быть возле нее, перед жарким огнем камина, пока грозный муж храпит, крепко уснув на радость влюбленным; бросая вызов земле и небесам, обменяться самым смелым поцелуем; перекинуться словами, из которых каждое могло повлечь за собою смерть или, по меньшей мере, кровавую схватку,— все эти сладострастные образы, все романические опасности такого предприятия придали молодому человеку решимости. Пусть за все старания не ждала его какая-нибудь особенная награда, пусть даже он успел бы только поцеловать еще раз руку графини,— все же он, движимый рыцарским и пылким духом той эпохи, решился на смелый шаг. Кроме того, он не допускал мысли, что графиня может отказать ему в сладостных утехах любви среди стольких смертельных опасностей. Приключение казалось слишком рискованным, слишком трудным — как же было отступить от него?

Вдруг зазвонили все городские колокола, оповещая, что настало время гасить огни — согласно закону, уже потерявшему силу, но еще соблюдавшемуся в провинции, где все отменяется медленно. Хотя свет еще не был потушен, начальники квартальной стражи приказали протянуть уличные цепи. Многие двери были уже заперты; вдали раздавались шаги запоздавших горожан, идущих толпой со своими лакеями, вооруженными до зубов и несущими большие фонари; вскоре затем город, как бы связанный по рукам и ногам, казалось, уснул, и злоумышленники могли проникнуть в дома только с крыш. В те времена по крышам ходили ночью нередко. Улицы в провинции и даже в Париже были так узки, что воры прыгали с одного дома на другой. Если верить мемуарам той поры, король Карл IX в молодости долго развлекался этим опасным занятием. Боясь явиться к мэтру Корнелиусу слишком поздно, дворянин собирался уже покинуть свое место, чтобы постучать в его дверь, но вдруг,

при взгляде на *Дурной дом*, он с изумлением заметил два существа, которых писатель того времени назвал бы нежитью. Он протер себе глаза, словно не доверяя своему зрению, и тысяча различных чувств пронеслась в его душе при виде того, что было перед ним. По обеим сторонам двери, в рамке, образованной перекладинами своего рода бойниц, виднелись какие-то две физиономии. Сначала он принял эти лица за причудливые маски, высеченные в камне,— так они были морщинисты, угловаты, безобразны, резки, неподвижны, такого они были темно-бурого цвета,— но вечер был холодный и светила луна, поэтому он мог различить легкий белый пар дыхания, выходивший из двух лиловатых носов; постепенно он рассмотрел на обоих изможденных лицах, под тенью бровей, по два фаянсово-голубых глаза, горевших в темноте, как у волка, спрятавшегося в глубине листвы, которому чудится лай охотничьей своры. Беспокойный взгляд этих глаз был на него направлен так пристально, что, встретив его, свидетель столь странного зрелища почувствовал себя, как птица, над которой легавая делает стойку. Он ощутил в своей душе лихорадочное волнение, но быстро справился с ним: эти два лица, напряженных и недоверчивых, принадлежали, несомненно, Корнелиусу и его сестре. Тогда дворянин стал осматриваться, как бы разыскивая дом, указанный в записке, которую он вынул из своего кармана, чтобы свериться с ней при свете луны; затем он направился прямо к двери *ссудных дел мастера* и постучал в нее тремя ударами, отозвавшимися внутри дома так гулко и сильно, как в погребе. Слабый свет упал на крыльцо, и через маленькую, чрезвычайно крепкую решетку посетитель увидел чей-то блестящий глаз.

— Кто там?

— Друг Остерлинка из Брюгге, по его поручению.

— Что вам надобно?

— Войти.

— Ваше имя?

— Филипп Гульнуар.

— Есть у вас рекомендательные письма?

— Вот они.

— Просуньте их в щель ящика.

— Где он?

— Налево.

Филипп Гульнуар опустил письмо в щель железного ящика, прикрепленного под одной из бойниц.

«Черт побери! — подумал он.— Сразу видно, что король прибыл в наши места, потому что здесь такие же порядки, какие он завел в Плесси». Он прождал на улице с четверть часа, а тогда услышал, как Корнелиус сказал своей сестре:

— Закрой капкан у двери.

У входа раздалось бряцание цепей и грохот железа. Филипп услышал, как отодвигаются засовы и гремят замки; наконец, маленькая дверца, обитая железом, приоткрылась ровно настолько, чтобы в дом едва можно было пройти человеку, и то лишь худощавому. С риском порвать свою одежду, Филипп кое-как протиснулся в *Дурной дом.* Беззубая старая дева, у которой лицо было похоже на скрипичную деку, а брови—на ручки котла, нос же и крючковатый подбородок так близко сходились, что между ними не поместился бы и лесной орех,— старая дева со впалыми висками, бледная, худосочная, кожа да кости, молча повела мнимого чужестранца в залу на нижнем этаже, меж тем как Корнелиус осмотрительно держался позади.

— Садитесь там,— сказала она Филиппу, указывая ему скамью о трех ножках, стоявшую около большого, украшенного резьбою камина, в чистом очаге которого не было и следов огня. С другой стороны стоял стол орехового дерева на витых ножках, а на нем лежало в тарелке яйцо и с десяток ломтиков хлеба, твердых и сухих, старательно нарезанных чьей-то скаредной рукой. Две скамейки, на одну из которых села старуха, были придвинуты к столу, из чего можно было понять, что приход Филиппа застал этих скряг за ужином. Корнелиус пошел притворить два железных ставня, чтобы закрыть, вероятно, те потайные окошечки, через которые они с сестрой так долго рассматривали, что творится на улице, и вернулся на свое место. Мнимый Филипп Гульнуар увидел тогда, как брат и сестра по очереди степенно обмакивали свои ломтики хлеба в яйцо, с той же точностью, с какою солдаты через равные промежутки времени погружают в артельный котел свою ложку,— причем яйцо расходовалось с большой осмотрительностью, чтобы его

хватило на все ломтики. Этот процесс совершался в молчании. Во время еды Корнелиус с такой обстоятельностью и с таким вниманием разглядывал мнимого новичка, как будто взвешивал старинные золотые монеты. Филипп испытывал такое чувство, словно ледяной плащ окутал ему плечи; ему до смерти хотелось оглядеться вокруг, но с тонкой расчетливостью, которой требуют любовные приключения, он остерегался бросить даже мимолетный взгляд на стены, понимая, что если Корнелиус перехватит этот взгляд, то не оставит любопытного юношу в своем доме. Итак, он довольствовался тем, что скромно устремлял глаза то на яйцо, то на старую деву, а иногда смотрел на своего будущего хозяина.

Казначей Людовика XI был похож на этого монарха и даже перенял от него некоторые жесты, как это бывает, когда люди живут вместе и чем-либо близки друг другу. Слегка поднимая густые брови, которые обычно почти закрывали его глаза, фламандец бросал ясный взгляд, проницательный и твердый, как у людей, живущих в молчании, привыкших к постоянной сосредоточенности. Тонкие губы, собранные оборочкой, придавали ему невероятно лукавый вид. В нижней части лица было что-то лисье; но высокий крутой лоб, изрезанный морщинами, казалось, свидетельствовал о больших достоинствах, о душевном благородстве, которое опыт отучил от взлетов, а жестокие уроки жизни, вероятно, заставили запрятаться в самые сокровенные тайники этого загадочного существа. То, конечно, не был простой скряга, и его страсть, должно быть, скрывала в себе глубокие наслаждения и никому не поверяемые мысли.

— По какому курсу ходят венецианские цехины? — внезапно спросил он своего будущего ученика.

— По три четверти в Брюгге, по одному в Генте.

— Какой фрахт на Шельде?

— Три су парижского чекана.

— Нет ли чего нового в Генте?

— Разорился брат Лиевена Герда.

— Вот как!

Издав это восклицание, старик прикрыл колени полой своей одежды — он был облачен в просторную судейскую мантию из черного бархата, спереди открытую, с пышными рукавами и без воротника. Одни лохмотья

остались от роскошной, переливчатой материи некогда великолепного костюма, сохранившегося от тех времен, когда мэтр Корнелиус был председателем трибунала по имущественным делам — должность, исполнение которой принесло ему вражду герцога Бургундского. Филипп не чувствовал холода, он вспотел под своей сермяжной сбруей, с дрожью в сердце ожидая новых вопросов. Благодаря своей хорошей памяти он твердо усвоил краткие наставления, данные ему накануне одним евреем, который был ему обязан жизнью, человеком, отлично знакомым с повадками и привычками Корнелиуса, и до сих пор этого было достаточно. Но дворянин, в пылу своих замыслов ни в чем прежде не сомневавшийся, уже начинал видеть все трудности смелой затеи. Торжественная серьезность и хладнокровие страшного фламандца подействовали на него. К тому же он чувствовал себя под замком и ясно понимал, что главный превотальный судья всегда готов предоставить виселицу в распоряжение мэтра Корнелиуса.

— Вы ужинали? — спросил казначей, но таким тоном, в котором звучало: «Не вздумайте ужинать!»

Несмотря на этот выразительный оттенок в голосе брата, старая дева встревожилась; она посмотрела на молодого человека, словно измеряя взглядом емкость его желудка, и, чтобы что-нибудь сказать, произнесла с притворной улыбкой:

— Ну и черные же у вас волосы — чернее, чем хвост у черта!

— Я поужинал,— ответил Корнелиусу дворянин.

— Ладно! Приходите ко мне завтра,— сказал скряга.— Давно уже я привык обходиться без помощи ученика. Впрочем, утро вечера мудренее.

— Ах, клянусь святым Бавоном! Милостивый государь, я — фламандец, я никого здесь не знаю, уличные цепи уже натянуты, меня посадят в тюрьму. Но, разумеется,— добавил он, спохватившись, что проявляет слишком большую настойчивость,— если вам угодно, я уйду.

Имя св. Бавона странно подействовало на старого фламандца.

— Ну, ну! Клянусь святым Бавоном, вы ляжете здесь.

— Но...— сказала старая дева, приходя в беспокойство.

— Замолчи! — прикрикнул на сестру Корнелиус.— Остерлинк в своем письме ручается за этого молодого человека,— шепнул он ей на ухо.— Ведь у нас хранятся сто тысяч ливров, принадлежащие Остерлинку! Это хорошая порука.

— А если он украдет у тебя баварские драгоценности? Право, он больше похож на вора, чем на ученика!

— Ш-ш! — сказал старик, настораживаясь.

Оба скряги стали прислушиваться. Мгновение спустя после этого «ш-ш» вдали, по ту сторону городских рвов, еле-еле послышались шаги нескольких человек.

— Это дозор из Плесси,— сказала сестра.

— Ну-ка, дай мне ключ от комнаты учеников,— промолвил Корнелиус.

Старая дева протянула руку, чтобы взять светильник.

— Не собираешься ли ты оставить нас одних, без света? — воскликнул Корнелиус многозначительным тоном.— Дожила до таких лет, а не помнишь, где ключ лежит! Разве уж так трудно его нащупать?

Старуха поняла смысл, скрытый в его словах, и вышла. Провожая взглядом это странное создание, когда оно направлялось к двери, Филипп Гульнуар заодно, украдкой от своего учителя, оглядел и залу. Стены были обшиты понизу дубовой панелью, а выше обиты желтой кожей, украшенной черными арабесками; но особенно бросился ему в глаза фитильный пистолет.

Это страшное новое оружие находилось возле Корнелиуса.

— Как рассчитываете вы добывать себе средства к жизни? — спросил *ссудных дел мастер.*

— Денег у меня мало,— ответил Гульнуар,— но я кое-что смыслю в извлечении доходов. Если только вы пожелаете уделять мне по одному су с каждой марки, которую я дам вам заработать, я буду доволен.

— Одно су... одно су...— повторил скряга.— Многовато!

При этих словах вошла сивилла.

— Пойдемте,— сказал Корнелиус Филиппу.

Они вышли в прихожую и стали подниматься по ка-

менной винтовой лестнице, круглая клетка которой находилась в высокой башенке по соседству с залой. На втором этаже молодой человек остановился.

— Да нет же! — сказал Корнелиус.— Эта обитель не для вас — здесь увеселяется король.

Архитектор устроил помещение для ученика под остроконечной крышей башенки, над самой лестницей,— это была небольшая круглая комната, холодная, с голыми каменными стенами. Башня занимала середину фасада, обращенного во двор, узкий и мрачный, подобно всем дворам в провинции. В глубине, сквозь решетчатые аркады, виднелся довольно неприглядный сад, где росли только шелковичные деревья, за которыми, вероятно, ухаживал сам Корнелиус. Все это дворянин рассмотрел — благо луна сияла ярко — сквозь узкие окна, освещавшие лестницу. Жалкая кровать, рассохшийся сундук и скамья, на которой стояла кружка, составляли всю меблировку его конуры. Дневной свет проникал в нее только через небольшие четырехугольные отверстия, расположенные, вероятно, вдоль наружного валика башни в виде украшений, характерных для этого изящного архитектурного стиля.

— Вот ваше жилище; оно просто, надежно, в нем имеется все, что необходимо для ночлега. Спокойной ночи! Не покидайте его так, как прежние жильцы.

Бросив на своего ученика последний взгляд, таивший тысячу мыслей, Корнелиус запер дверь на двойной оборот ключа и ушел, унося с собою ключ и оставляя дворянина в самом глупом положении,— так чувствовал бы себя литейщик, разбив опоку и обнаружив в ней вместо колокола только пустоту. Сидя один, без света на этом чердаке, откуда четверо его предшественников вышли только затем, чтобы их вздернули на виселицу, дворянин сам себе показался красным зверем, попавшим в ловушку. Он вскочил на скамейку и выпрямился во весь рост, чтобы дотянуться до отверстий вверху стены, откуда проникал слабый свет. Он увидел Луару, красивые холмы Сен-Сира и погруженный в сумрак чудесный дворец Плесси, где в двух-трех окнах сверкали огоньки; вдали простирались милые деревни Турени и серебристая гладь реки. Трепетный свет луны придавал малейшим подробностям этой красивой картины необычайную прелесть: вит-

ражи окон, водяные струи, коньки домовых крыш — все сверкало, как драгоценные каменья. Душа молодого вельможи невольно предалась сладостной грусти.

«Не есть ли это последнее «прости»?» — подумал он.

Оставаясь у своего оконца, он уже заранее упивался всеми ужасами, которые сулило его приключение, и всего боялся, как узник, не утративший еще последнего луча надежды. С каждым новым препятствием образ его возлюбленной становился все прекраснее. Она была для него не просто женщиной, но неким сверхъестественным существом, которое он неясно различал сквозь пламя желания. Слабый крик, раздавшийся, как ему показалось, во *дворце Пуатье*, вернул его к действительности. Усаживаясь на тощую постель, чтобы поразмыслить о своем деле, он услышал на лестнице легкое поскрипывание и, напрягая слух, уловил слова старухи: «Он ложится!» Благодаря случайному свойству здания, не предусмотренному архитектором, малейший звук отзывался в комнате ученика, так что мнимый Гульнуар не упустил ни одного движения скряги и его сестры, шпионивших за ним. Он разделся, лег, притворился спящим и, пока его хозяева стояли на лестнице и подслушивали, не терял времени, изыскивая средства пробраться из своей темницы в особняк Пуатье. Часов в десять вечера Корнелиус с сестрою, уверенные, что ученик спит, удалились к себе. Дворянин внимательно следил по глухим и отдаленным звукам за передвижением фламандца и его сестры и, казалось ему, понял, как расположены их комнаты: они должны были занимать весь третий этаж. По обыкновению той эпохи, окна верхнего этажа выступали из ската крыши и были украшены тимпанами богатой резной работы. Крыша окаймлялась своеобразной балюстрадой, скрывавшей кровельные желоба, предназначенные для дождевой воды, которая по трубам, заканчивавшимся внизу пастями крокодила, стекала на улицу. Дворянин, изучивший всю нужную ему топографию так же старательно, как это сделал бы кот, рассчитывал, что из башни можно попасть на крышу, а затем пробраться в комнату графини по желобам и водосточной трубе,— он лишь не предусмотрел, что оконца в его башенке слишком малы и в них невозможно пролезть. Убедившись в этом, он решил вылезть на крышу через окно, которое

имелось над верхней площадкой лестницы. Но для выполнения этого смелого проекта надо было выйти из комнаты, а Корнелиус взял ключ с собой. Молодой дворянин, отправляясь в *Дурной дом,* на всякий случай захватил с собою кинжал — такой, которым в те времена на смертельных поединках наносился «удар милосердия», если противник умолял прикончить его. Лезвие у этого страшного оружия с одной стороны было острое, как бритва, а с другой зазубренное, как пила, но зазубрины шли в направлении, обратном тому, по которому кинжал входит в тело. Дворянин имел в виду воспользоваться этим кинжалом, чтобы выпилить из двери замок. К счастью для него, замочная коробка была укреплена в двери изнутри четырьмя большими винтами. При помощи кинжала юноша, правда, с большим трудом, отвинтил замок своей темницы, а все четыре винта аккуратно положил на сундук. К полуночи он уже был на свободе и, сняв башмаки, сошел вниз, чтобы ознакомиться с местом действия. Он немало был удивлен, когда, открыв настежь дверь, увидел какой-то коридор, с несколькими комнатами по обеим сторонам, а в конце коридора обнаружил окно, выходившее на стык, образованный крышей *дворца Пуатье* и крышей *Дурного дома.* Как велика была его радость, можно лучше всего судить по тому, что он тотчас же дал святой Деве обет заказать в ее честь обедню в Эскриньольской церкви, знаменитой церкви города Тура. Обследовав высокие и широкие дымовые трубы *дворца Пуатье,* он пошел за своим кинжалом; но вдруг задрожал от страха, увидев, что лестницу озарил свет и, словно призрак, в конце коридора возник сам Корнелиус, в мантии, со светильником в руке, устремивший в коридор широко открытые глаза.

«Если распахнуть окно и прыгнуть на крышу, то он услышит меня»,— подумал дворянин.

А страшный Корнелиус все приближался, как приближается к преступнику смертный час. В такой крайности, движимый любовью, Гульнуар обнаружил полное присутствие духа: он бросился в амбразуру одной из дверей и прижался в углу, поджидая скрягу. Когда Корнелиус, держа перед собой светильник, достаточно приблизился к дворянину, тот дунул и погасил светильник; Корнелиус что-то пробормотал, выругался по-гол-

ландски, но повернул назад. Тогда дворянин побежал к себе в каморку, взял там свое оружие, возвратился к спасительному окну, тихо открыл его и выпрыгнул на крышу. Очутившись под открытым небом, на свободе, он почувствовал внезапную слабость — так он был счастлив; быть может, чрезмерная возбужденность, вызванная только что испытанным страхом, или смелость его затеи были причиной его волнения; победа часто таит в себе такие же опасности, как и сама битва. Он примостился у кровельного желоба, вздрагивая от радости и задаваясь вопросом: «По какой трубе надо спускаться к ней?»

Он окинул взглядом каждую трубу. Любовь сделала его догадливым — и он стал ощупывать трубы, чтобы узнать, которая из них была еще тепла от недавней топки. Определив это, смелый дворянин воткнул кинжал между двух камней, зацепил за него свою веревочную лестницу, бросил другой конец ее в отверстие трубы и отважно стал спускаться к своей возлюбленной, положившись на крепость доброго клинка. Он не знал, спит ли Сен-Валье или же бодрствует, но твердо решил сжать графиню в своих объятиях, пускай бы даже это стоило жизни и ему и графу. Он тихо опустил ноги на теплую золу, еще тише наклонился и увидел графиню, сидевшую в кресле. Озаренная светильником, бледная от счастья, трепеща от страха, женщина указала ему пальцем на Сен-Валье, который лежал на кровати в десяти шагах от кресла. Уж поверьте, что их жгучий поцелуй был беззвучен и отозвался только в их сердцах!..

На следующий день, около девяти часов утра, в тот момент, когда Людовик, прослушав обедню, выходил из своей часовни, он увидел перед собой мэтра Корнелиуса.

— Доброй удачи, куманек! — бросил ему на ходу король, нахлобучивая свою шапку.

— Государь, я охотно дал бы тысячу экю золотом, чтобы получить от вас аудиенцию хотя бы на минутку, ведь я теперь знаю, кто украл рубиновую цепь и все драгоценности...

— Ну, ну! Посмотрим,— сказал король, выходя во двор Плесси в сопровождении казначея, врача Куактье, Оливье ле Дэма и капитана своей шотландской гвар-

дии.—Расскажи. Стало быть, еще кого-нибудь собираешься повесить? Эй, Тристан!

Главный превотальный судья, прогуливавшийся по двору, подошел медленными шагами, подобно верной собаке, которая знает себе цену. Группа остановилась под деревом. Король сел на скамейку, а придворные стали перед ним полукругом.

— Ваше величество, один человек, выдавший себя за фламандца, так хитро меня провел...

— Ну уж, значит, он из хитрых хитрый,— промолвил Людовик XI, качая головой.

— О да! — ответил казначей.— Он, пожалуй, и вас бы сумел обойти. Как мог я заподозрить его, раз он был рекомендован мне в ученики Остерлинком, который доверил мне сто тысяч ливров? И вот теперь я готов побиться об заклад, что подпись еврея подделана. Короче говоря, государь, сегодня утром я обнаружил пропажу драгоценностей, которые были так прекрасны, что и вы ими не могли налюбоваться. Они у меня похищены, государь! Похитить драгоценности курфюрста Баварского! Бродяги ничего не уважают. Они у вас украдут ваше королевство, если вы не позаботитесь об его охране. Я тотчас поспешил в комнату, где находился этот ученик, по части воровства достойный звания мастера. На этот раз у нас не будет недостатка в уликах. Он отвинтил замочную коробку, но когда возвратился, то не мог найти всех винтов, так как луна уже не светила! К счастью, я, войдя в комнату, почувствовал один винт под ногой. Бродяга спал, он утомился. Представьте себе, господа, что он спустился в мой кабинет через дымовую трубу. Завтра — нет, нынче же вечером! — я велю заделать ее решеткой. У воров всегда получишь какой-нибудь урок. Он запасся шелковой лестницей, а его одежда сразу выдает, что он лазил по крышам и через трубу. Он рассчитывал остаться у меня, разорить меня, наглец! Где схоронил он драгоценности? Крестьяне видели рано утром, как он возвращался по крышам. У него были сообщники, ожидавшие его на плотине, которую вы построили. Ах, государь! Воры должны быть вам благодарны за то, что они могут сюда подъехать на лодке и — хлоп!—увезти добычу, не оставляя следов! Но теперь главарь их в наших руках, дерзкий мошенник, который смелостью мог

бы поспорить с любым дворянином. Ах! Виселица ждет его не дождется, а если дать ему чуть-чуть испробовать пытку, мы узнаем все. Разве не требуют этого заботы о славе вашего государства? Не должно бы у нас вовсе быть воров при таком великом короле!

Король давно уже не слушал его. Он погрузился в мрачные размышления, как это с ним столь часто случалось в последние дни его жизни. Воцарилось глубокое молчание.

— Это касается тебя, кум,— сказал он наконец Тристану,— расследуй дело.

Он встал, отошел на несколько шагов от скамьи, и придворные оставили его одного. Тут он заметил, что Корнелиус сел на мула и собирается уехать вместе с главным превотальным судьей.

— А тысяча экю? — сказал ему король.

— Ах, государь, вы слишком великий король! Нет такой суммы денег, какая могла бы оплатить ваше правосудие!

Людовик XI улыбнулся. Придворные позавидовали той свободе в речах и тем вольностям, которыми пользовался старый казначей, быстро скрывшийся в аллее шелковичных деревьев, соединяющей Тур и Плесси.

Изнуренный усталостью, дворянин действительно спал глубочайшим сном. Когда он вернулся из своей любовной экспедиции, то смелости и пыла, с какими он устремлялся к опасным наслаждениям, он уже не чувствовал при мысли о необходимости оберегать себя от опасностей, неясных или только воображаемых, в которые уже, быть может, и не верил. Поэтому он не стал чистить свою испачканную одежду и уничтожать следы своих успешных уловок, отложив все до следующего дня. Это было большой ошибкой, и ей, как нарочно, способствовали все обстоятельства. В самом деле, пока он справлял праздник своей любви, луна успела зайти, и теперь он, потеряв терпение, не разыскал всех винтов проклятой замочной коробки. Затем, проявляя небрежность, свойственную человеку, преисполненному радости или охваченному непреодолимой дремотой, он положился на счастливый случай, столь благосклонный к нему до тех пор. Как он ни внушал себе, что должен проснуться на рассвете, но происшествия дня и волнения ночи помешали

ему сдержать слово, данное самому себе. Счастье забывчиво. Не таким уж страшным показался Корнелиус молодому дворянину, когда тот укладывался на свою жесткую постель, с которой столько несчастных отправлялось на виселицу,— и эта беспечность его погубила. Пока королевский казначей не возвратился из Плесси-ле-Тур в сопровождении главного судьи и его страшных стрелков, мнимого Гульнуара стерегла старая дева, которая уселась на ступеньках винтовой лестницы, не смущаясь холодом, и вязала чулки для Корнелиуса.

Молодой дворянин все еще был во власти тайных наслаждений этой упоительной ночи, не зная о несчастье, которое приближалось к нему вскачь. Он видел сны. Его сонные грезы, как это случается в молодости, были такими яркими, что он не знал, где начинались сновидения и кончалась действительность. Во сне он снова сидел на подушке у ног графини, его голова лежала на коленях, от которых исходило ласковое тепло, и он слушал рассказ о преследованиях и мучениях, которым тиран-граф подвергал свою жену; его растрогал рассказ графини, бывшей одною из внебрачных дочерей Людовика XI— и притом самой любимой; юноша обещал пойти на следующий день все открыть этому грозному отцу; они убеждали друг друга, что все устроится как нельзя лучше, что брак будет расторгнут, муж посажен в тюрьму, а между тем муж мог проснуться при малейшем шуме, и его меч угрожал им смертью. Теперь, в сонных грезах, огонь светильника, пламя очей, цвета ковров и тканей были ярче; ощутимее исходил аромат от ночной одежды, сильнее напоен любовью был воздух, все вокруг больше дышало знойною негой, чем это было в действительности. И Мария сновидений гораздо менее, чем настоящая Мария, была способна устоять перед томными взглядами, кроткими мольбами, колдовскою нежностью распросов и искусным молчанием, перед сладострастной настойчивостью и перед собственным ложным великодушием, которое придает такую пламенность первым мгновениям страсти, возбуждает в душах новое опьянение при каждом новом, все более сильном порыве любви. Соблюдая положения любовной казуистики тех времен, Мария де Сен-Валье предоставила своему возлюбленному лишь ограниченные права. Она охотно позволя-

ла целовать ее ножки, ручки, платье, шею; она не отвергала его любви, соглашалась на то, чтобы любовник посвятил ей свои заботы и всю свою жизнь, позволяла ему умереть за нее, она предавалась страсти, которую еще больше разжигали строгие, доходившие порой до жестокости запреты подобного полуцеломудрия; но сама она оставалась неподатливой, решив одарить любовника высшей милостью лишь в награду за свое освобождение. В те времена, чтобы расторгнуть брак, нужно было ехать в Рим, склонить на свою сторону нескольких кардиналов и предстать пред лицом его святейшества папы, заручившись благорасположением короля. Мария хотела добиться свободы для своего чувства, чтобы принести ее в дар любимому человеку. Почти все женщины тех времен обладали достаточно сильной властью над сердцем мужчины, чтобы воцариться там и внушить такую страсть, которая подчинила бы себе всю его жизнь. Но во Франции дамы пользовались вообще таким почетом, чувствовали себя такими владычицами, были полны такой красивой гордости, что там мужчины больше принадлежали своим возлюбленным, чем те принадлежали им; часто за любовь к женщине платили своею кровью и, чтобы принадлежать ей, подвергались множеству опасностей. Но Мария сновидений, более снисходительная, чем подлинная Мария, и тронутая самоотвержением своего возлюбленного, плохо защищалась от бурной любви красивого дворянина. Какой же из двух Марий нужно было верить? Быть может, той, что явилась мнимому ученику во сне? Быть может, дама, которую он видел во дворце Пуатье, прикрыла свое настоящее лицо маской добродетели? Вопрос щекотлив, для дам будет лучше, если мы оставим его нерешенным.

В тот миг, когда Мария сновидений готова была, казалось, позабыть свое высокое достоинство и снизойти к любовнику, тот почувствовал, что его схватила чья-то железная рука, и услышал ехидный голос главного превотального судьи:

— Ну, благочестивый паломник, отдохнули от своих ночных странствий? Не пора ли вставать?

Филипп увидел черное лицо Тристана, узнал его язвительную улыбку; а дальше, на ступеньках лестницы, он заметил Корнелиуса, его сестру и, позади, стражни-

ков превотального суда. При этом зрелище, при виде этих дьявольских лиц, дышавших или ненавистью, или тем мрачным любопытством, с которым взирают на свою жертву палачи, Филипп Гульнуар сел и протер себе глаза.

— Клянусь богом,— воскликнул он, выхватив из-под подушки кинжал,— сейчас как нельзя более кстати побаловаться ножами!

— Ого! Сразу видно дворянина,— заметил Тристан.— Предо мною, кажется, Жорж д'Эстутвиль, племянник командующего войсками арбалетчиков?

Услышав из уст Тристана свое настоящее имя, молодой д'Эстутвиль меньше испугался за себя, чем за свою несчастную возлюбленную, которая могла подвергнуться опасности, если бы он был опознан. Чтобы устранить всякое подозрение, он воскликнул:

— Не сдамся, клянусь дьяволом! На помощь, мои бродяги!

Испустив в отчаянии этот крик, молодой придворный сделал огромный прыжок и с кинжалом в руке оказался на площадке лестницы. Но подручные превотального судьи привычны были к подобным столкновениям. Когда Жорж д'Эстутвиль достиг ступенек, они ловко схватили его, не обращая внимания на то, что одному из стражников он нанес сильный удар кинжалом, правда, только скользнувшим по кольчуге; затем они его обезоружили, связали ему руки и повергли на постель пред взоры своего начальника, застывшего в раздумье.

Тристан молча посмотрел на руки пленника, почесал бороду и сказал Корнелиусу, показывая на них:

— У него руки совсем не такие, как у бродяги или ученика. Должно быть, из знатных.

— Во всяком случае, ворует он знатно! — воскликнул с горечью *ссудных дел мастер*.— Любезный Тристан, дворянин это или мужик, но он разорил меня, мошенник! Мне не терпится увидеть, как подогреют ему все четыре лапки или обуют в ваши красивые сапожки. Нет сомнения, что он начальник целого легиона зримых и незримых дьяволов, которые знают все мои тайны, открывают мои замки, грабят и изводят меня. Они очень богаты, куманек! Ах! На этот раз мы завладеем их сокровищами, так как по всему видно, что этот молодчик — настоящий

Крез. Я получу обратно свои милые рубины и немалую сумму денег; у нашего достойного короля будут теперь экю в изобилии...

— О! Наши тайники крепче ваших! — сказал Жорж, улыбаясь.

— А, проклятый вор! Он сознаётся! — воскликнул скряга.

Превотальный судья был занят исследованием одежды Жоржа д'Эстутвиля и осмотром замка.

— Это ты отвинтил замок?

Жорж молчал.

— Ну что ж, молчи, если хочешь. Скоро ты исповедуешься в пыточной исповедальне,— промолвил Тристан.

— Хорошо сказано! — воскликнул Корнелиус.

— Уведите его! — сказал судья.

Жорж д'Эстутвиль попросил разрешения одеться. По знаку своего начальника стражники проворно его одели; так кормилица сменяет пеленки младенцу, пользуясь моментом, когда он спокоен.

Огромная толпа запрудила улицу Шелковицы. Ропот народа все увеличивался, казалось, вот-вот вспыхнет бунт. Известие о краже разнеслось по городу еще с утра. Об ученике шла молва, что он красив и молод, и он привлекал к себе всеобщие симпатии, что еще подогревало давнишнюю ненависть к Корнелиусу; и вот сыновья почтенных матерей, молодые женщины в красивых башмаках, со свежими лицами, которые не стыдно было показать людям, желали взглянуть на жертву. Когда показался Жорж, выведенный стражем, и тот, садясь верхом на лошадь, старательно намотал себе на запястье конец толстого кожаного ремня, державшего пленника на привязи и крепко связывавшего ему руки, поднялся невообразимый шум. Для того ли, чтобы увидеть Филиппа Гульнуара или чтобы его освободить, задние оттеснили передних к пикету кавалерии, расположенному перед *Дурным домом.* В эту минуту Корнелиус при содействии своей сестры запер дверь и закрыл ставни с поспешностью, которую вызывает панический страх. Тристан, не привыкший уважать людей, так как народ в ту эпоху не достиг еще верховной власти, ничуть не опасался бунта.

— Оттесните их, оттесните! — сказал он своим людям.

При этих словах своего начальника лучники пустили лошадей вскачь к нижнему концу улицы. Двое-трое зевак были подмяты копытами, нескольких других так сильно прижали к стенам, что чуть не задавили, и толпа благоразумно решила разойтись по домам.

— Дорогу королевскому суду! — кричал Тристан.— Что вам здесь надо? Хотите, чтобы вас перевешали? Идите, друзья мои, восвояси, ваше жаркое подгорает! Эй, сестрица! У вашего мужа штаны в дырках, возьмитесь-ка за иголку!

Хотя эти речи показывали, что превотальный судья был в хорошем расположении духа, все же и самые рьяные бежали от него прочь, как от зачумленного. Когда толпа схлынула, Жорж д'Эстутвиль был поражен, увидев в одном из окон *дворца Пуатье* свою дорогую Марию весело смеющейся вместе с графом... Она издевалась над своим бедным любовником, столь преданным ей, идущим ради нее на смерть! А быть может, она забавлялась, глядя на то, как стрелки своим оружием сбивают с людей шапки. Надо самому быть юношей двадцати трех лет, полным роскошных иллюзий, надо беззаветно довериться женской любви и самому любить всеми силами своего существа, с наслаждением рисковать своей жизнью ради поцелуя и увидеть, что тебя предали, только тогда можно понять, сколько бешенства, ненависти и отчаяния ощутил в сердце Жорж д'Эстутвиль, когда увидел, как смеется его возлюбленная, уронившая на него холодный, равнодушный взгляд. Она, видимо, смотрела в окно уже давно, потому что облокотилась на подушку; она так удобно устроилась, и старик муж казался довольным. Он также смеялся, проклятый горбун! Несколько слезинок скатилось из глаз молодого человека; и когда Мария де Сен-Валье увидела, что он заплакал, она отпрянула от окна. Тут слезы молодого человека высохли: по шапочке с черными и красными перьями он узнал рядом с нею пажа, который был ему предан. Граф не заметил появления пажа, так как тот, соблюдая осторожность, подошел на цыпочках. Он что-то шепнул Марии на ухо, и она опять села у окна. На миг ей удалось ускользнуть от вечного шпионства своего тирана, и она бросила Жор-

жу взгляд, в котором светилось и лукавство женщины, умеющей обмануть своего Аргуса, и огонь любви, и радость надежды. Если бы она прокричала ему: «Положись на меня!» — и то эти слова не выразили бы столько, сколько сказал ее взгляд, в котором отразилась тысяча мыслей, сверкнули все жестокие страхи, наслаждения и опасности их любви. Спустившись с небес в горнило мучений, молодой дворянин теперь снова вознесся к небесам. Вот почему он, легкий и довольный, весело шел на пытки, находя, что все предстоящие ему муки ничтожны перед радостями его любви. Когда Тристан покидал улицу Шелковицы, его люди остановились, завидев офицера шотландской гвардии, который мчался во весь опор.

— Что случилось? — спросил судья.

— Вас это не касается,— пренебрежительно ответил офицер.— Король послал меня за графом и графиней Сен-Валье, он приглашает их на обед.

Едва главный судья достиг плотины Плесси, как граф со своей женою, оба верхами, она — на белом муле, он — на коне, сопровождаемые двумя пажами, присоединились к лучникам, чтобы вместе с ними въехать в Плесси-ле-Тур. Все подвигались довольно медленно. Жорж шел пешком между двумя гвардейцами, из которых один все время держал его на ремне. Тристан и граф с женою, естественно, были впереди, преступник же следовал за ними. Молодой паж, приблизившись к лучникам, расспрашивал их, а порой говорил и с пленником,— так что мог улучить мгновение и шепнуть ему:

— Я перепрыгнул через стену нашего сада и доставил в Плесси письмо к королю от графини. Она чуть не умерла, узнав, что вас обвиняют в краже... Мужайтесь! Она поговорит о вас...

Графиня уже почерпнула в своей любви силу и хитрость. Когда она смеялась у окна, в ее позе и улыбке сказался весь тот героизм, на который способны женщины в решительные моменты своей жизни.

Вопреки странной фантазии автора «Квентина Дорварда», поместившего королевский дворец Плесси-ле-Тур на возвышенности, надлежит оставить его там, где он был в ту эпоху,— на месте, защищенном с двух сторон Шером и Луарой, а далее — каналом Святой Анны,

названным так Людовиком XI в честь своей любимой дочери, госпожи Божэ. Соединяя две реки между Туром и Плесси, этот канал одновременно представлял собою и надежное ограждение для замка и важный для торговли водный путь. Со стороны Брегемона, широкой и плодородной равнины, парк был защищен рвом, следы которого еще и доныне говорят об огромной его ширине и глубине. В эпоху, когда могущество артиллерии было только в зародыше, расположение Плесси, с давних пор выбранного Людовиком XI для своего местопребывания, могло считаться неприступным. В самом замке, построенном из кирпича и камня, не было ничего замечательного, но он был окружен прекрасными тенистыми деревьями, а из его окон, через просеки парка Plexitium, открывались виды, самые живописные в мире. Не было поблизости ни одного дома, и, не зная соперников, в самом центре небольшой равнины высился одинокий замок, где король был под охраной четырех водных преград. Если верить преданию, Людовик XI занимал западное крыло и из своей комнаты мог наблюдать и течение Луары, и по ту сторону ее красивую долину, орошаемую рекой Шуазиль, и часть холмов Сен-Сира; затем из окон, выходивших во двор, он охватывал взором и въезд в свою крепость и плотину, при помощи которой он устроил сообщение между своим любимым жилищем и городом Туром. Недоверчивый характер этого монарха дает основание верить подобным догадкам. Впрочем, если бы при постройке своего дворца Людовик XI осуществил в его архитектуре такую же роскошь, как впоследствии Франциск I у себя в Шамборе, то Турень навсегда осталась бы местопребыванием французских королей. Достаточно увидеть, как восхитительно расположен замок, какие открываются оттуда волшебные картины,— и вы убедитесь, что нет лучшего места для королевского жилища.

Людовику XI шел тогда пятьдесят седьмой год, ему оставалось жить лишь около трех лет; болезнь подтачивала его, и он уже чувствовал приближение смерти. Освободившись от своих врагов, готовясь присоединить к Франции все владения герцогов Бургундии при помощи брака между дофином и бургундской престолонаследницей Маргаритой, умело подготовленного Дескердом,

командующим королевскими войсками во Фландрии; утвердив повсюду свою власть, обдумывая полезнейшие улучшения, король понимал, что жизнь его уходит и что ему остаются только тяготы его возраста. Его обманывали все, даже его любимцы, поэтому с годами природная недоверчивость еще возросла в нем. Он хотел жить, и это проявлялось в нем как эгоизм короля, стремящегося увековечить себя силами своего народа,—но и для того, чтобы выполнить свои широкие планы, ему нужно было продлить свою жизнь. Все те изменения в монархическом строе, которые впоследствии осуществил здравый смысл публицистов и гений революции, уже приходили на ум Людовику XI. Введение единого налога, равенство подданных перед законом (тогда закон отождествлялся с государем) — все это было предметом его смелых начинаний. Накануне дня всех святых он вызвал к себе самых опытных из золотых дел мастеров, дабы установить во Франции единство мер и весов, как он уже установил единство власти. И вот, воспарив, как орел, своей необъятной мыслью над всем королевством, Людовик XI в то же время стал проявлять не только подозрительность, свойственную многим коронованным особам, но и странности, присущие выдающимся людям. Еще никогда до тех пор эта великая личность не была отмечена таким поэтическим своеобразием. Неслыханное сочетание противоположностей! Большая власть — в хилом теле; ум, недоверчивый к земным вещам,—и верующий в религиозные обряды; человек, ведущий борьбу с двумя силами, превосходящими его собственные,— с настоящим и будущим: с будущим, в котором он боялся мучений, что и побуждало его делать столько пожертвований в церкви; с настоящим, или с утратой самой жизни, из-за чего он покорно повиновался врачу Куактье. Этот король, сокрушивший все, сам был сокрушен угрызениями совести, а еще более — своей болезнью, постигшей его в пору могущества, среди тех поэтических вымыслов, которые создаются вокруг угрюмых владык-самодержцев. Это был исполинский, всегда великолепный поединок между человеком, воплотившим в себе самые высокие человеческие силы, и самой природой.

Вернувшись с короткой прогулки, в ожидании, когда для него наступит время обеда,— а в те времена обедали

в двенадцатом часу дня,—Людовик сидел в своей спальне, у камина, в кресле с вышитой обивкой. Оливье ле Дэм и врач Куактье стояли в амбразуре окна и лишь молча переглядывались, чтобы не потревожить сон своего господина. Слышно было только, как по первой зале прогуливались два камергера: владетель Монтрезора и Жан Дюфу—владетель Монбазона. Эти турские вельможи поглядывали на капитана шотландской гвардии, вероятно, по своему обыкновению, заснувшего в кресле. Король, казалось, дремал. Его голова свесилась на грудь, шапка сдвинулась на лоб, почти целиком закрывая глаза. Сидя в такой позе на своем высоком кресле, увенчанном королевской короной, он как бы весь ушел в себя, подобно человеку, заснувшему среди каких-то размышлений.

В этот момент Тристан со своей свитой всходил на мост святой Анны, находившийся в двухстах шагах от ворот Плесси, на канале.

— Кто это? — спросил король.

Двое придворных удивленно переглянулись.

— Ему что-то снится,— чуть слышно сказал Куактье.

— Праведный боже! — промолвил Людовик XI.— Вы считаете меня полоумным, что ли? Да ведь по мосту идут люди! Правда, я сижу возле камина, и здесь мне слышнее, чем вам. Это — действие закона природы, которым можно бы воспользоваться...

— Что за человек! —сказал ле Дэм.

Людовик XI встал, подошел к тому окну, откуда он мог видеть город; тогда он узнал главного судью и сказал:

— Ага! Вот мой кум со своим вором... да там и моя миленькая Мария де Сен-Валье. А я и позабыл обо всем. Оливье,— обратился он к брадобрею,— пойди скажи господину Монбазону, чтобы он приказал подать нам к столу доброго бургэйльского; да присмотри, чтобы повар не забыл подать морскую миногу; графиня очень любит и то и другое. Можно мне есть миногу? — несколько погодя добавил он, бросая беспокойный взор на Куактье.

Вместо ответа врач принялся исследовать лицо своего господина. Вдвоем они представляли собою настоящую картину. Благодаря романистам и историкам у нас прославились коричневое камлотовое полукафтанье и штаны из той же материи, которые носил Людовик XI. Его шапка, украшенная свинцовыми медалями, и орден-

ская цепь св. Михаила не менее знамениты; но ни один писатель, ни один художник не изобразил лица этого ужасного монарха в последние годы его жизни — болезненного, землистого лица, все черты которого выражали горькую хитрость, холодную иронию. У Людовика XI был лоб великого человека, изрезанный морщинами и говоривший о высоких думах, а в его щеках и губах чувствовалось что-то заурядное, обыденное. По некоторым чертам физиономии можно было его принять за старого развратника-виноградаря или за скупого торгаша; но сквозь это неясное сходство и сквозь дряхлость умирающего старика ясно проступали черты человека власти и действия, короля. Его светло-желтые глаза казались угасшими, но в них таилась искра храбрости и гнева, и при малейшем столкновении они могли извергнуть испепеляющее пламя. Врач был толстый горожанин, с цветущим, остроносым, алчным лицом, он одет был в черное и напускал на себя значительный вид. Обрамлением для этих двух особ служила спальня, отделанная ореховым деревом и обтянутая узорчатыми фландрскими тканями; потолок ее, с резными балками, уже почернел от копоти. Кровать и вся мебель, инкрустированные оловянными арабесками, может быть, показались бы сейчас более ценными, чем они действительно были в те времена, когда стало создаваться столько великолепных произведений искусства.

— Морская минога вам не годится,— ответил «физик».

Это название, незадолго до того введенное вместо слова «лекарь», теперь осталось за врачами лишь в Англии, а тогда давалось медикам повсюду.

— Так что же я буду есть? — покорно спросил король.

— Утку-чернявку с солью. Иначе у вас образуется столько желчи при движении, что вы, пожалуй, рискуете умереть в день всех усопших.

— Нынче?! — воскликнул объятый страхом король.

— Эх, ваше величество, успокойтесь,— сказал Куактье,— ведь с вами здесь я. Избегайте волнений и постарайтесь развлечься.

— Ах! В этом трудном мастерстве когда-то преуспевала моя дочь.

В это время Эмбер де Бастарне, владетель Монтрезора и Бридоре, тихо постучал в дверь королевской спальни. С разрешения короля он вошел и доложил о прибытии графа и графини де Сен-Валье. Людовик XI подал знак. Появилась Мария в сопровождении своего старого супруга, который пропустил ее вперед.

— Здравствуйте, дети мои,— сказал король.

— Государь,— тихо предупредила дама, целуя его,— я хотела бы поговорить с вами по секрету.

Людовик XI не подал вида, что слышал. Он повернулся к дверям и крикнул глухим голосом:

— Эй, Дюфу!

Дюфу, владетель Монбазона и сверх того виночерпий французского короля, поспешно явился.

— Сходи к дворецкому, надо подать мне к обеду чернявку; затем пойди к госпоже де Божэ и скажи ей, что нынче я желаю обедать один.— Знаете ли вы, сударыня, ведь вы совершенно пренебрегаете мною,— притворяясь немного рассерженным, продолжал король,— вот уже скоро три года, как я вас не видел! Ну, идите же сюда, милочка,— добавил он, садясь и протягивая к ней руки.— Вы очень похудели! Э, как же вы допускаете, чтобы она худела? — резко обратился Людовик XI к г-ну Пуатье.

Ревнивец бросил на свою жену такой испуганный взгляд, что ей стало почти жаль его.

— Это все от счастья, ваше величество,— ответил он.

— А! Вы слишком любите друг друга,— сказал король, сидя в кресле и поставив дочь перед собою.— Ну, я вижу, что был прав, называя тебя «Мария благодатная». Куактье, оставьте нас. Так чего вы желаете от меня? — сказал он дочери, когда врач вышел.— Уж если вы прислали ко мне вашего...

В этот опасный миг Мария смело закрыла королю рот своей рукою и шепнула ему на ухо:

— Я всегда считала, что вы проницательны и умеете молчáть.

— Сен-Валье,— смеясь, сказал король,— я думаю, что Бридоре хóчет о чем-то побеседовать с тобой.

Граф вышел, но он сделал движение плечом, хорошо знакомое его жене, которая угадала мысль ревнивого чудовища и решила предупредить его злые намерения.

— Скажи, дитя мое, как ты меня находишь? Что, очень я изменился?

— Государь, вы хотите знать истинную правду или хотите, чтобы я вас обманула?

— Нет,— тихо отвечал он,— мне надо знать, как далеко зашла моя болезнь.

— Тогда я скажу, у вас нынче плохой вид. Но чтобы моя правдивость не повредила успеху моего дела...

— Какого дела? — спросил король, нахмурившись и проводя рукой по своему лбу.

— Так слушайте, государь,— ответила она.— Молодой человек, который по вашему приказу схвачен в доме вашего казначея Корнелиуса и находится сейчас в распоряжении вашего превотального судьи, не виновен в краже драгоценностей герцога Баварского.

— Откуда ты это знаешь? — промолвил король.

Мария опустила голову и покраснела.

— Можно и не спрашивать, не таится ли тут любовь! — сказал Людовик XI, приподняв голову дочери и потрепав ее по подбородку.— Если ты, девочка, не будешь исповедоваться каждое утро, ты попадешь в ад.

— Можете ли вы оказать мне услугу, не стараясь проникнуть в мои тайные помыслы?

— А какое же удовольствие я тогда получу? — воскликнул король, видя в этом деле повод для развлечения.

— Ах! Неужели вам хочется получить удовольствие ценою моих огорчений?

— О, плутовка, разве на меня нельзя положиться?

— Если так, государь, отпустите этого дворянина на свободу!

— А! Это — дворянин! — воскликнул король.— Значит, он — не ученик?

— Кто бы он ни был, он, безусловно, невиновен,— ответила она.

— Я смотрю иначе,— холодно сказал король.— Я большой ревнитель правосудия в моем королевстве и должен наказывать злоумышленников...

— Ну, полноте, не принимайте такого озабоченного вида и подарите мне жизнь этого юноши!

— А что, если это лишит тебя благоразумия?

— Государь,— сказала она,— я благоразумна и добродетельна. Вы насмехаетесь...

— Что ж,— сказал Людовик XI,— так как я ничего не понимаю в этом деле, предоставим Тристану выяснить его...

Мария де Сассенаж побледнела и, собрав все свои силы, воскликнула:

— Государь, уверяю вас, что вы будете горько сожалеть об этом: обвиняемый ничего не крал. Если вы обещаете мне его помиловать, я все вам открою, даже рискуя быть наказанной вами.

— Ого! Это становится серьезным! — промолвил король, сдвигая свою шапку набок.— Говори, дочь моя!

— Так слушайте,— продолжала она тихим голосом, приблизив губы к уху отца,— этот дворянин всю ночь провел у меня

— Он прекрасно мог и побывать у тебя и обокрасть Корнелиуса. Это — двойной грабеж...

— Государь, в моих жилах течет ваша кровь, и я не такова, чтобы любить бродягу. Этот дворянин — племянник командующего вашими арбалетчиками.

— Ладно!— сказал король.— Тебе трудно дается исповедь.

Но тут он вдруг оттолкнул от себя трепещущую дочь и подбежал на носках, совершенно бесшумно, к двери своей спальни. Когда он говорил с графиней, на полу у дверей, куда проникал свет из другой залы, он заметил тень, отброшенную ногами какого-то любопытного. Он внезапно открыл дверь, окованную железом, и застиг за подслушиванием графа де Сен-Валье.

— Праведный боже! — воскликнул король,— Это дерзость, заслуживающая топора.

— Ваше величество,— гордо возразил Сен-Валье,— я предпочитаю удар топора по затылку супружескому украшению на лоб!

— Вы можете получить то и другое,— сказал Людовик XI,— никто из вас, господа, не избавлен от этих двух несчастий. Удалитесь в другую залу! Конингэм,— продолжал король, обращаясь к начальнику своей гвардии,— вы спали? Где же господин де Бридоре? И вы позволяете так приближаться ко мне! О господи, последний турский горожанин окружен бо́льшими заботами, чем я...

Поворчав таким образом, Людовик XI вернулся к себе в спальню, тщательно задернув за собой ковровую портьеру, образующую внутри комнаты как бы вторую дверь, предназначенную заглушать не столько свист северного ветра, сколько звук королевских слов.

— Итак, дочь моя,— продолжал король, испытывая удовольствие играть с дочерью, как кошка с мышью,— вчера Жорж д'Эстутвиль вкушал с тобою утехи любви?

— О! Нет, государь!

— Нет? Ах, клянусь святым Карпионом, он заслуживает смерти! Неужели этому негодяю дочь моя показалась недостаточно хороша?

— О, не в том дело! — воскликнула она.— Уверяю вас, что он целовал мне ноги и руки с таким пылом, который растрогал бы самую добродетельную женщину. Он любит меня честно, у него добрые намерения.

— Ты, стало быть, принимаешь меня за святого Людовика, думая, что я поверю такой чепухе? Молодой малый, да еще такой видный, стал бы рисковать жизнью, чтобы поцеловать твои башмаки или рукава! Рассказывай другим!

— О! Уверяю вас, государь! Но он приходил еще и по иному поводу...

При этих словах Мария почувствовала, что рискует жизнью своего мужа, так как Людовик XI тотчас же с живостью спросил:

— А по какому?

Это происшествие бесконечно забавляло его. И, разумеется, он никак не ожидал услышать те странные признания, на которые в конце концов решилась его дочь, предварительно выпросив прощение своему мужу.

— А, господин де Сен-Валье, вы проливаете королевскую кровь! — воскликнул Людовик, гневно сверкая глазами.

В эту минуту колокол Плесси прозвонил час королевского обеда.

Нахмурив брови, опираясь на руку дочери, Людовик XI появился на пороге и застал всех слуг на посту. Он бросил какой-то неопределенный взгляд на графа де Сен-Валье, думая о том, какой вынести ему приговор. Воцарившаяся глубокая тишина была вдруг прервана ша-

гами Тристана, поднимавшегося по главной лестнице. Он вошел прямо в зал и, подойдя к королю, сказал:

— Государь, дело расследовано.

— Как! Все уже кончено? — спросил король.

— Наш молодчик в руках монахов. Он не устоял и под пыткой сознался во всем.

Графиня тяжко вздохнула, побледнела, даже потеряла способность говорить и посмотрела на короля. Этот взгляд был перехвачен графом де Сен-Валье, который пробормотал:

— Меня предали, вор знаком с моей женой.

— Молчать!—крикнул король.—Здесь, кажется, кое-кто желает, чтобы я потерял терпение. Немедленно распорядись отложить эту казнь,— продолжал он, обращаясь к главному судье.— Ты головой мне отвечаешь за преступника, кум! Это дело необходимо расследовать получше, я сам им займусь. Пока отпусти обвиняемого на свободу! Он от меня не скроется; у этих воров есть излюбленные убежища, есть логовища, где все они прячутся. Передай Корнелиусу, что я приду к нему сегодня вечером, чтобы самому повести следствие. Господин де Сен-Валье,— сказал король, пристально глядя на графа,— я кое-что узнал о вас. Вся ваша кровь не может искупить единой капли моей крови, знаете ли вы это? Клянусь богородицей! Вы виновны в оскорблении королевского величества! Разве затем дал я вам в жены такую прелестную женщину, чтобы она стала бледной и бесплодной? Ну же, ступайте отсюда прямо домой и приготовьтесь в дальний путь.— На этих словах король приостановился, так как любил помучить человека, и потом добавил:— Вы отправитесь нынче же вечером понаблюдать за тем, как ведутся мои дела с венецианцами. Не беспокойтесь! С нынешнего вечера я возьму вашу жену в свой замок Плесси; уж здесь-то она будет в безопасности. Теперь я позабочусь о ней лучше, чем заботился после вашей свадьбы.

Слыша эти слова, Мария молча пожала руку отца, как бы благодаря за милость и за его доброе расположение. Что же касается короля, то он исподтишка развлекался.

Людовик XI очень любил вмешиваться в дела своих

подданных, ему нравилось появляться во всем своем королевском величии посреди обстановки мещанской жизни. Эта склонность, строго осуждаемая некоторыми историками, была не чем иным, как страстью к игре в инкогнито, одному из величайших удовольствий для коронованных особ, своего рода минутному отречению, вносящему некоторое простонародное начало в их собственное существование, где господствует такое пресное однообразие; но только Людовик XI играл в инкогнито открыто. При подобных встречах он, впрочем, держался славным малым, стараясь понравиться людям третьего сословия, которых он сделал своими союзниками против феодалов. Но уже давно ему не представлялся случай так опроститься и вникнуть в частные интересы какого-нибудь человека, занятого *сутяжеством* (старое слово, до сих пор употребляемое в Туре), так что он горячо принял к сердцу тревоги мэтра Корнелиуса и тайные огорчения графини де Сен-Валье. Несколько раз в течение обеда он обращался к своей дочери:

— Но кто же мог обокрасть моего кума? Да ведь эти кражи за восемь лет достигли миллиона двухсот тысяч экю. Миллиона двухсот тысяч экю, господа! — повторил он, глядя на дворян, несших при нем застольную службу.— Пресвятая богородица! За этакую сумму немало грехов отпустила бы римская курия! А я мог бы, праведный боже, приобрести Луару или, еще лучше, завоевать Пьемонт — прекрасную крепость, прямо-таки созданную для нашего королевства.

По окончании обеда Людовик XI сейчас же отбыл со своею дочерью, врачом и главным превотальным судьею и в сопровождении вооруженного конвоя явился во дворец Пуатье, где, как он и предполагал это, еще застал г-на де Сен-Валье, который дожидался жены — быть может, затем, чтобы покончить с ней.

— Милостивый государь,— сказал ему король,— я приказал вам отправляться в путь как можно скорее. Прощайтесь с женою и спешите на границу; у вас будет почетный конвой. Что же касается инструкций для вас, а также верительных грамот, то они уже будут ждать вас в Венеции.

Людовик XI дал поручику шотландской гвардии приказ (присоединив к этому и кое-какие секретные настав-

ления) взять небольшой отряд и сопровождать королевского посла до Венеции. Сен-Валье, более не медля ни минуты, пустился в путь, поцеловав жену холодным поцелуем, которым, если б только мог, охотно отравил бы графиню. Графиня удалилась к себе, а Людовик XI отправился в *Дурной дом*, спеша привести к развязке кровавый фарс, разыгравшийся у ссудных дел мастера, и самодовольно полагая, что в качестве короля наделен достаточной проницательностью для раскрытия воровских тайн. Корнелиус не без опасений оглядел свиту своего повелителя.

— Разве все эти люди примут участие в церемонии?— тихо спросил он.

Людовик XI не мог удержаться от улыбки, видя, как встревожены скряга и его сестра.

— Нет, куманек, успокойся,— ответил он.— Они вместе с нами будут ужинать в моем замке, а мы одни будем производить расследование. Я такой дока в судебных расследованиях, что — бьюсь об заклад на десять тысяч экю! — найду тебе преступника!

— Найдемте его, ваше величество, но не будем биться об заклад.

Они тотчас же пошли в комнату, куда хозяин ссудной казны складывал свои сокровища. Потребовав сначала показать сундук, где хранились драгоценности курфюрста Баварского, затем дымовую трубу, по которой должен был спускаться предполагаемый вор, Людовик XI легко убедил брабантца в неосновательности его предположений, так как в очаг нападала бы сажа, а ее совершенно не было — там, по правде сказать, редко разводился огонь; да и в самой трубе они не обнаружили никаких следов, и, сверх того, она выходила на крышу в почти недоступном месте. В конце концов, после двухчасового розыска, при котором обнаружилась вся проницательность, свойственная недоверчивому уму Людовика XI, ему стало очевидно, что никто не мог пробраться к сокровищам его кума. Никаких признаков взлома не было ни в замках, ни на поверхности железных сундуков, где хранилось золото и серебро мэтра Корнелиуса, а также и драгоценности, сданные в заклад богатыми должниками.

— Если вор открыл этот сундук,— сказал Людо-

вик XI,— почему же он взял только баварские драгоценности? По какой причине он не тронул этого жемчужного ожерелья? Странный преступник!..

При таком заключении бедный Корнелиус побледнел; молча они с королем смотрели друг на друга.

— Допустим, что так, государь, но зачем явился ко мне тот вор, которого вы взяли под защиту, зачем бродил он здесь всю ночь? — спросил Корнелиус.

— Если ты не догадался, кум, то я приказываю тебе и впредь не допытываться. Это уж моя тайна.

— Тогда, значит, в моем доме шалит черт,— жалобно сказал скряга.

При всяких других обстоятельствах король, быть может, посмеялся бы над восклицанием своего казначея; но он был погружен в задумчивость, устремив взгляд как бы сквозь своего собеседника, что так свойственно людям, одаренным властью или талантом. Брабантец испугался, не обидел ли он чем-нибудь своего страшного повелителя.

— Ангел он или черт, но похититель в моих руках! — внезапно воскликнул Людовик XI.— Если ты будешь обворован этой ночью, то я завтра же буду знать, кем именно. Позови-ка сюда эту старую уродину, которую ты называешь своей сестрой,— добавил он.

Что-то мелькнуло в глазах у Корнелиуса, словно он не решался уйти и оставить короля в комнате, где хранились сокровища; но все же он вышел, побежденный властью едкой улыбки, блуждавшей на поблекших губах Людовика XI. Однако, проявив такую доверчивость, Корнелиус все же постарался сходить за старухой как можно быстрее.

— Есть ли у вас мука? — спросил король сестру Корнелиуса.

— О, конечно, мы сделали запас на зиму,— ответила она.

— Вот и хорошо! Принесите-ка сюда немного,— сказал король.

— А зачем вам наша мука, государь? — испуганно воскликнула старуха, притом без всякого смущения перед королевским величием, похожая в этом на всех, кто охвачен какой-либо сильной страстью.

— Старая дура, исполнишь ли ты приказание нашего милостивого короля! — закричал Корнелиус.— Уж не думаешь ли ты, что королю есть нечего?

— Вот и покупайте хорошую муку! — ворчала старуха на лестнице.— Ах! Моя мука!

Она вернулась с лестницы и сказала королю:

— Государь, королевское ли это дело мою муку осматривать?!

Наконец она притащила холщовый мешок — такие мешки с незапамятных времен служат в Турени рыночным торговцам и покупателям для переноски орехов, фруктов или зерна. Муки было с полмешка. Хозяйка открыла мешок и опасливо показала муку королю, то и дело бросая на него дикий и быстрый взгляд, который у старых дев словно готов брызнуть ядом на всех мужчин.

— Дорогая мука. по шесть су за септерею...— сказала старуха.

— Так что ж! — ответил король.— Рассыпьте ее по полу. Только смотрите, сыпьте ровным слоем, как снежком припорашивает.

Старая дева ничего не понимала. Кажется, случись светопреставление, оно не поразило бы ее так, как этот приказ.

— Мою муку, государь! На пол... но...

Мэтр Корнелиус, начиная догадываться — правда, еще не ясно — о намерениях короля, отобрал у нее муку и осторожно высыпал на пол. Старуха затрепетала, но протянула руку за своим мешком и, когда брат отдал его, исчезла, глубоко вздыхая. Корнелиус взял метелку из перьев и, постепенно пятясь, принялся разравнивать муку в виде снежной скатерти по всему полу своего хранилища под наблюдением короля, которого, казалось, очень забавляла эта затея. Когда они достигли двери, Людовик XI спросил у своего кума:

— Есть ли второй ключ от этого замка?

— Нет, государь.

Король осмотрел устройство двери, которая закладывалась железными брусьями, укрепленными на толстых пластинах; все отдельные части этой брони сходились к замку с секретом, а ключ Корнелиус держал при себе. Все обследовав, Людовик XI велел позвать Тристана и

приказал ему разместить на ночь, соблюдая строжайшую тайну, несколько человек из своих вооруженных стрелков где-нибудь поблизости — на шелковичных деревьях возле плотины или же по кровельным желобам соседних домов, а весь королевский конвой отправить в Плесси, чтобы можно было подумать, будто король не собирается ужинать у мэтра Корнелиуса; затем он велел скряге исправно закрыть все ставни, чтобы не проскользнул ни один луч света, и запастись самым скромным угощением,— иначе могли бы догадаться, что в доме ночует король. Людовик XI торжественно отбыл, проехав по плотине, а затем в сопровождении лишь двух человек тайно вернулся через проход в крепостной стене к своему куму — *ссудных дел мастеру*. Все было очень ловко устроено, и соседи, горожане и придворные решили, что королю вздумалось возвратиться в Плесси и он отложил ужин у своего казначея на следующий вечер. Сестра Корнелиуса подтвердила это предположение тем, что купила лишь зеленого соуса в съестной лавке у Зеленной площади, впоследствии получившей название площади Бона из-за роскошного фонтана, которым несчастный Санблансе (Яков де Бон) украсил столицу своей родины, выписав для него белый мрамор из Италии.

Около восьми часов вечера, когда король ужинал в обществе своего врача, Корнелиуса и начальника шотландской гвардии, отпуская веселые шутки и забывая, что он — Людовик XI, притом больной, почти умирающий, на улице царила глубокая тишина, и прохожие, в том числе и какой-нибудь вор, могли заключить, что *Дурной дом* необитаем.

— Надеюсь, моего кума обкрадут этой ночью, и мое любопытство будет удовлетворено,— с улыбкой сказал король.— Кстати, господа, пусть никто из присутствующих без моего приказа не выходит завтра из своих комнат, не то они будут строго наказаны.

Затем все легли спать. На следующее утро Людовик XI вышел первым из своей спальни и направился к сокровищнице, но он, к немалому своему удивлению, увидел отпечатки широких ступней, рассеянные по лестнице и коридорам дома. Осторожно шагая, чтобы не затоптать эти драгоценные следы, он направился к хранилищу и не обнаружил на его двери ни малейших признаков

взлома. Он стал изучать направление следов, но так как они постепенно становились все менее отчетливыми и наконец совсем исчезли, то было трудно определить, куда скрылся вор.

— Эй, куманек,— крикнул король Корнелиусу,— а тебя ведь обокрали!

На этот крик старый брабантец вышел, объятый неподдельным ужасом. Людовик XI пошел показать ему следы, отпечатанные на полу; но тут, снова рассматривая их, король случайно взглянул на ноги скряги и обнаружил, что подошвы его туфель точно такой же формы, как те, что во множестве были отпечатаны на плитах пола. Он не промолвил ни слова, и, при мысли обо всех тех, кто был повешен без вины, улыбка сбежала с его лица. Скряга быстро направился к своей сокровищнице. Приказав ему оттиснуть свою ступню рядом со следами, которые уже имелись, король убедил его в том, что вор — не кто иной, как он сам.

— У меня пропало жемчужное ожерелье! — воскликнул Корнелиус.— Здесь кроются какие-то чары. Ведь я не выходил из своей комнаты...

— Мы сейчас все узнаем,— сказал король, больше прежнего озадаченный при виде явного чистосердечия своего казначея.

Тотчас же он вызвал в свои покои вооруженных дозорных и спросил их:

— Итак, что вы видели нынче ночью?

— Ах, государь, мы видели какое-то колдовство,— сказал поручик.— Господин королевский казначей слез, как кошка, по стене дома, да так легко — мы сначала подумали, что это тень.

— Я?! — только и мог воскликнуть Корнелиус и вслед за этим оцепенел в безмолвии, будто у него отнялись руки и ноги.

— Можете идти,— промолвил король, обращаясь к стрелкам,— и скажите господам Конингэму, Куактье, Бридоре, а также Тристану, что им разрешается встать с постелей и сейчас же явиться сюда... Ты заслуживаешь смертной казни,— холодно сказал Людовик XI брабантцу, который, к счастью для себя, не услышал его,— у тебя на совести не менее десяти смертей.— Людовик XI прервал свою речь, сотрясаясь в безмолвном смехе.— Но

успокойся,— продолжал он, заметив странную бледность, разлившуюся по лицу скряги,— лучше уж пущу тебе кровь, чем лишу тебя жизни. Посредством кругленькой суммы, внесенной в качестве штрафа в мою казну, ты можешь вырваться из когтей моего правосудия; но если ты не выстроишь по крайней мере часовню в честь богородицы, то на том свете ждет тебя, пожалуй, слишком теплое местечко.

— Один миллион двести тридцать тысяч экю да восемьдесят семь тысяч экю составляют один миллион триста семнадцать тысяч,— машинально сказал Корнелиус, погрузившийся в свои подсчеты.— Один миллион триста семнадцать тысяч экю пропало!

«Он спрятал их в каком-нибудь укромном уголке»,— решил король, которому эта сумма начала казаться королевски прекрасной. Так вот магнит, который постоянно притягивал его сюда: он чуял свое сокровище.

Тут вошел Куактье. Пока король рассказывал ему о происшествии, он, видя, в каком состоянии был Корнелиус, наблюдал за ним опытным глазом.

— Государь, во всем этом нет ничего сверхъестественного,— заметил врач, выслушав короля.— Наш *ссудных дел мастер* обладает способностью ходить во сне. Я встречаюсь уже с третьим случаем такой странной болезни. Если бы вы пожелали доставить себе удовольствие понаблюдать за ним, вы в первую же ночь, когда он подвергнется припадку, увидели бы, как этот старик совершенно безопасно ходит по самому краю крыши. У тех двух человек, которых я уже наблюдал, я заметил любопытную связь между проявлением этой болезни ночью и их дневными делами и занятиями.

— О мэтр Куактье, да ты — ученый!

— Разве я не ваш врач? — высокомерно заявил *физик*.

При этом ответе у Людовика XI вырвалось движение, которое он обычно делал, когда наталкивался на какую-нибудь хорошую мысль,— заключалось оно в быстром приподнимании шляпы.

— В таких случаях,— продолжал Куактье,— люди продолжают и во сне заниматься своими делами. Так как наш больной любит деньги, то невольно остается верен своей сильнейшей склонности. Поэтому у него должны

быть такие припадки всякий раз, когда он в течение дня испытывал тревогу за свои сокровища.

— Праведный боже, какие сокровища! — воскликнул король.

— Но где они? — спросил Корнелиус, который, по странному свойству нашей натуры, даже пребывая в оцепенении и поглощенный мыслями о своем несчастье, слышал разговор врача с королем.

— А! — воскликнул Куактье с дьявольским хохотом.— Сомнамбулы, проснувшись утром, совершенно не помнят своих поступков и движений...

— Оставьте нас,— сказал ему король.

Когда Людовик XI остался наедине со своим кумом, он посмотрел на него с насмешливой, холодной улыбкой.

— Мессир Хугворст,— произнес он, раскланиваясь,— во Франции все спрятанные сокровища принадлежат королю.

— Да, государь, все принадлежит вам, и вы полный властелин над нашей жизнью и богатствами, но до сих пор вы были милосердны и брали только то, что вам необходимо.

— Послушай, куманек! Если я помогу тебе разыскать это сокровище, то ты смело и без опасений можешь разделить его со мной!

— Нет, государь, я не хочу его делить, но хочу предложить его вам полностью — после моей смерти. А какой вы придумали способ?

— Мне лишь надо самому проследить за тобой во время твоих ночных прогулок. Всякий другой, кроме меня, будет опасен.

— Ах, государь,— воскликнул Корнелиус, бросаясь к ногам Людовика XI,— вы единственный человек в королевстве, которому я хотел бы довериться в этом деле, и за милость, оказанную вашему слуге, я сумею вас хорошо отблагодарить: в лепешку расшибусь, а устрою брак монсеньора дофина с престолонаследницей Бургундии. Вот сокровище! Не деньги, а земли, которые прекрасно округлят королевские владения.

— Ну, ну, фламандец, ты обманываешь меня,— сказал король, нахмурив брови,— или, значит, ты плохо мне служил до сих пор.

— Как можете вы, государь, сомневаться в моей

преданности, вы, единственный человек, которого я люблю?

— Пустые слова! — сказал король, разглядывая брабантца. — Ты не должен был дожидаться этого случая, чтобы быть мне полезным. Ты в оплату хочешь оказать мне покровительство! Боже правый! Мне, Людовику Одиннадцатому! Разве ты — господин, а я — слуга?

— Ах, государь! — воскликнул старый *ссудных дел мастер*. — Я лишь хотел приятно изумить вас известием о том, что мне удалось сговориться по вашему делу с гентцами; чтобы получить подтверждение, я и поджидал ученика Остерлинка. А что с ним сталось?

— Довольно! — сказал король. — Новая ошибка. Я не люблю, чтобы самовольно вмешивались в мои дела. Довольно! Я хочу поразмыслить обо всем этом.

Мэтр Корнелиус с юношеским проворством убежал в нижнюю залу, где находилась его сестра.

— Ах, Жанна, душенька моя, у нас здесь где-то есть тайник, куда я спрятал миллион триста тысяч экю! Ведь вор-то я, я сам!

Жанна Хугворст так и вскочила со своей скамейки, словно сиденье было из раскаленного железа. Старая дева, совсем изнурившая себя многолетним добровольным постом, так была потрясена, что вздрогнула всем телом и почувствовала ужасную боль в спине. По мере того как брат рассказывал ей о болезни, жертвой которой он стал, и о том странном положении, в котором они оба оказались, она все больше бледнела, и ее старческое лицо совершенно исказилось, хотя обычно из-за морщин трудно было разглядеть на нем какие-либо изменения.

— Мы с Людовиком Одиннадцатым дошли до того, что лжем друг другу, словно торгуем на ярмарке чудодейственными снадобьями, — закончил он свой рассказ. — Ты понимаешь, дитя мое, что если бы он проследил за мною, то один овладел бы секретом тайника. Во всем мире только король может выследить, куда я хожу по ночам. Я не поручусь, что совесть короля, хотя он и столь близок к смерти, может устоять перед суммой в миллион триста семнадцать тысяч экю. Надо его опередить, вынуть птенчиков из гнездышка и отослать все наши сокровища в Гент; ты одна...

Корнелиус внезапно умолк, как бы взвешивая в уме

сердце этого венценосца, который ведь еще двадцатидвухлетним юношей замышлял отцеубийство. Придя к окончательному суждению насчет Людовика XI, он вскочил, как будто готовый немедленно бежать от опасности. При этом движении его сестра, сохранившая в себе слишком мало или, наоборот, слишком много жизни, чтобы вынести такое испытание, упала бездыханная наземь: она была мертва... Мэтр Корнелиус схватил свою сестру и стал во всю мочь трясти ее, приговаривая:

— Не время умирать. Успеешь потом... О! Все кончено. Старая обезьяна все делала некстати!

Он закрыл ей глаза и положил на пол; но тут пробудились все добрые и благородные чувства, дремавшие в глубине его души, и, почти забыв о своих неведомо где спрятанных сокровищах, он горестно воскликнул:

— Так, значит, я потерял тебя, бедный мой друг, а ведь ты так хорошо меня понимала. О! Ты была сущим кладом. Вот он, мой клад! С тобою уходит мой покой и все, к чему я был привязан. Если бы ты знала, как выгодно было бы прожить еще только две ночи, ты бы уж постаралась для меня и не умерла бы, бедная малютка!.. Эй! Жанна, ты слышишь? Миллион триста семнадцать тысяч экю! Ах, если уж это не может пробудить тебя... Нет... Мертва!

Затем он сел и умолк, лишь по впалым щекам скатились две крупные слезы; потом, вздыхая время от времени, он запер залу и снова поднялся к королю. Людовик XI был поражен, взглянув на своего старого приятеля и увидев печать тяжелого горя на его лице, мокром от слез.

— Что случилось? — спросил он.

— Ах, государь, случится беда — жди другой! Моя сестра умерла. Она раньше меня попадет туда,— сказал он, указывая пальцем вниз. Ужасный смысл был в этом жесте.

— Довольно! — воскликнул король, который не любил разговоров о смерти.

— Я назначаю вас своим наследником... Мне больше ничего не нужно. Вот мои ключи. Повесьте меня, если на то будет ваша воля, возьмите себе все, обыщите дом, он полон золота. Я все отдаю вам...

— Полно, куманек,— сказал Людовик XI, почти растроганный этим странным проявлением горя.— В одну

прекрасную ночь мы найдем клад, и при виде таких богатств к тебе вернется вкус к жизни. Я снова приду к тебе на этой неделе...

— Когда вам будет угодно, государь.

Людовик XI уже пошел было к двери своей спальни, но при этом ответе резко обернулся. Тут эти два человека так посмотрели друг на друга, что выражения их глаз не передать ни словом, ни кистью.

— Прощай, кум! — отрывисто сказал, наконец, Людовик XI, приподнимая шапку.

— Да хранит вас бог и пресвятая богородица,— смиренно произнес *ссудных дел мастер,* провожая короля.

После стольких лет дружбы эти два человека почувствовали, что их разделяет преграда, воздвигнутая недоверием и деньгами, меж тем как прежде деньги и взаимное недоверие все же не мешали им ладить друг с другом; так хорошо они изучили один другого за долгие годы, что по голосу, каким Корнелиус неосторожно произнес: «Когда вам будет угодно, государь»,— Людовик XI уже прекрасно догадался, как тягостны его казначею дальнейшие королевские посещения, так же как и Корнелиус в словах: «Прощай, кум!»,— сказанных королем, почувствовал объявление войны. Вот почему Людовик XI и его *ссудных дел мастер,* расставаясь, были в немалом затруднении, не зная, как им надлежит теперь держаться друг с другом. Правда, монарх владел тайной брабантца, но тот ведь мог, пользуясь своими связями, обеспечить ему победу в приобретении того, о чем король Франции мечтал больше всего,— владений, принадлежащих бургундскому дому и возбуждавших в те времена зависть у всех государей Европы. Брак знаменитой Маргариты зависел от гентцев и фламандцев, окружавших ее. Золото Корнелиуса и его влияние могли бы сильно содействовать благоприятному исходу переговоров, начатых Дескердом — полководцем, которому Людовик XI вверил командование армией, расположенной на границе Бельгии.

Два хитрых лиса оказались в положении дуэлянтов, располагающих, по прихоти случая, до такой степени одинаковыми силами, что поединок не привел бы ни к чему. И вот потому ли, что с этого утра здоровье Людовика XI еще ухудшилось, потому ли, что Корнелиус

поспособствовал приезду во Францию Маргариты Бургундской, действительно прибывшей в Амбуаз в июле 1438 года, чтобы сочетаться браком с дофином, после обручения, совершенного в дворцовой часовне,— так или иначе, но король не наложил на своего казначея никакого взыскания, не возбудил против него никакого судебного дела; однако между ними установились отношения вооруженного мира. К счастью для *ссудных дел мастера*, в Туре распространился слух, что все кражи были совершены его сестрою и что она была тайно предана смерти Тристаном. Иначе, если бы стала известна правда, весь город взбунтовался бы и *Дурной дом* был бы разнесен раньше, чем подоспела бы защита от короля. Но если, по причинам, которые более или менее удовлетворительно объясняются вышеизложенными историческими обстоятельствами, Людовик XI впал в бездеятельность, то с Корнелиусом Хутворстом дело обстояло не так. Первые дни после того рокового утра королевский казначей провел в непрерывных заботах. Как хищный зверь в клетке, он ходил взад и вперед, вынюхивая золото по всем углам; он осматривал в доме все трещины, требовал своих сокровищ у деревьев сада, у фундамента, у кровли башенок, у земли и неба. Нередко целыми часами простаивал он, охватывая глазами все вокруг или устремляя взор в пространство. Пытаясь вызвать в себе чудодейственную силу экстаза и колдовское могущество, он надеялся разглядеть свои богатства сквозь пространство и все препятствия. Он постоянно был поглощен какой-то удручающей думой, его снедала жгучая алчность, но по временам еще больше терзала тоска при мысли о борьбе, которую он ведет с самим собою с тех пор, как его страсть к золоту обернулась против себя же: это было нечто вроде непрерывного самоубийства, в котором соединились муки жизни и смерти. Никогда еще порок не вступал в такую страшную схватку с самим собою; ибо скупец, неосторожно запершись в подземелье, где хранится его золото, чувствует, подобно Сарданапалу, наслаждение в том, чтобы умереть на лоне своего богатства. Но Корнелиус, одновременно и вор и обворованный, между которыми стояла тайна, владел и не владел своими сокровищами — небывалая мука, совершенно нелепая, но жестокая и безысходная. Иногда, уже впадая в неко-

торую забывчивость, он оставлял открытыми оконца в воротах, и тогда прохожие могли видеть этого уже изможденного человека стоящим посреди своего запущенного сада в полной неподвижности, вперив в любопытных нестерпимо сверкающий взгляд, от которого мороз подирал по коже. Если случайно Корнелиус появлялся на улицах Тура, можно было подумать, что это приезжий: он никогда не знал, где он ходил как потерянный. Часто он спрашивал дорогу у прохожих, вообразив, что он в Генте, и вечно занят был поисками своих пропавших богатств. Мысль, самая живучая изо всех человеческих мыслей и с наибольшей полнотой материализованная, мысль, в которой человек отождествляет себя со своим порождением — с совершенно фиктивным существом, носящим имя *Собственности*,— этот демон непрестанно вонзал свои острые когти в его сердце. Затем, в самый разгар такой пытки, возникал страх со всеми чувствами, которые ему сопутствуют. Ведь тайна, неизвестная ему самому, была в руках у двух человек. Людовик XI или Куактье могли подослать людей, чтобы выследить, куда он ходит во сне, и узнать, в какую неведомую пропасть бросал он свои богатства собственными руками, обагренными невинной кровью стольких жертв (все эти страхи не заглушали в нем угрызений совести). Не желая никому позволить, пока он жив, завладеть его сокровищем, неведомо где схороненным, он в первые же дни после постигшего его несчастья стал принимать самые строгие меры предосторожности, чтобы не уснуть; затем, пользуясь своими торговыми связями, он раздобыл сильнейшие противонаркотические средства. Его бдения были ужасны: он был одинок в своей борьбе с ночью, с тишиной, с угрызениями совести, со страхом, со всеми теми мыслями, которые человечество воплотило в столь яркие образы, инстинктивно подчиняясь, быть может, моральной истине, еще не подкрепленной ощутимыми доводами. В конце концов этот человек, столь могущественный, человек, у которого от занятий политическими и коммерческими делами очерствело сердце, этот безвестный в истории гений, изнемог от ужасной пытки, которую сам себе создал. Его одолели какие-то новые мысли, еще более мучительные, чем прежде, и, будучи уже не в состоянии совладать с ними, он перерезал себе горло бритвой. Его смерть почти со-

впала со смертью Людовика XI, так что *Дурной дом* был дочиста разграблен чернью. Некоторые старожилы Турени утверждали, что один откупщик, по имени Бонер, нашел клад *ссудных дел мастера* и, воспользовавшись своей находкой, начал возводить строения в Шенонсо — чудесный дворец, который, несмотря на богатство нескольких королей и на пристрастие Дианы де Пуатье, а также ее соперницы Екатерины Медичи к произведениям зодчества, до сих пор остается незаконченным.

К счастью для Марии де Сассенаж, граф де Сен Валье, как известно, умер во время своего посольства. Этот род не угас: у графини после отъезда графа родился сын, прославившийся в истории Франции времен Франциска I своей необычной судьбою. Он был спасен своей дочерью, знаменитой Дианой де Пуатье, незаконной правнучкой Людовика XI, которая стала незаконной женою, горячо любимой подругой Генриха II, ибо незаконные дети и любовь были наследственными явлениями в этой знатной семье.

Замок Сашэ, ноябрь — декабрь 1831 г.

ЛУИ ЛАМБЕР

Et nune et semper dilectae dicatum [1].

Луи Ламбер родился в 1797 году в маленьком городке Вандомского департамента Монтуаре, где у его отца был небольшой кожевенный завод. Отец хотел сделать сына своим преемником, но рано проявившееся у Луи стремление к науке изменило отцовские планы. А так как фабрикант и его жена обожали Луи, как обожают единственного сына, то они ни в чем ему не противоречили. Ветхий и Новый завет попали в руки мальчика, когда ему было всего пять лет; и эти две книги, в которых заключено столько книг, определили его судьбу. Мог ли он постичь своим детским воображением таинственную глубину Писания? Мог ли он следовать за полетом святого духа через миры? Или же он пленился только романтическим очарованием, насыщающим эти восточные поэмы? Или по-детски невинная душа его прониклась высокой благодатью, которой божественные руки освятили эти книги? Для некоторых читателей наше повествование будет ответом на эти вопросы. Во всяком случае, первое чтение библии имело одно следствие: Луи ходил по всему Монтуару в поисках книг; он получал их, потому что тайне детского обаяния никто не может противостоять. Отдаваясь всей душой занятиям, которыми никто не руководил, он достиг десятилетнего возраста. В эту эпоху заместителей призывников найти было труд-

---

[1] Ныне и всегда нежно любимой посвящаю *(лат.)*.

но, многие богатые семьи нанимали их заранее, чтобы не оказаться без заместителя к моменту жеребьевки. Ничтожные средства кожевенников не позволяли им нанять человека для замены сына, поэтому они нашли, что принятие духовного сана— единственный дозволенный законом путь освобождения от рекрутского набора. В 1807 году они послали его к дяде с материнской стороны, священнику Мера, маленького городка, расположенного на Луаре около Блуа. Это удовлетворяло и страсть Луи к науке и желание родителей не подвергать его ужасам войны; любовь к исследованиям и раннее развитие давали надежду, что Луи сделает блестящую карьеру на церковном поприще. Пробыв около трех лет у дяди, довольно образованного старого оратории, Луи уехал от него в начале 1811 года, чтобы поступить в Вандомский коллеж, куда он был помещен и где содержался на средства госпожи де Сталь.

Ламбер оказался под покровительством этой знаменитой женщины благодаря случаю, или, вернее, провидению, которое всегда расчищает дорогу беспризорному гению. Но для нас, чей взгляд скользит только по поверхности человеческого мира, эти случайности, которых так много бывает в жизни великих людей, кажутся результатом вполне естественного явления: ведь для большинства биографов голова гениального человека поднимается над массой других голов, как красивое растение, и своим очарованием притягивает глаза ботаника, блуждающего по полям.

Это сравнение подходит к истории Луи Ламбера, проводившего в доме родителей все время, которое его дядя давал ему для отдыха; но вместо того, чтобы по обычаю большинства школьников предаться радостям чудесного far niente [1], притягивающего нас во всяком возрасте, он с раннего утра брал хлеб и книги и отправлялся читать и размышлять в лесную чащу, чтобы избежать наставлений матери, которой такие упорные занятия казались опасными. Инстинкт матери всегда безошибочен. С этого времени чтение для Луи стало чем-то вроде жажды, которую ничто не могло утолить; он поглощал книги любого рода и в равной мере питался сочинениями религи-

---

[1] Безделье *(итал.)*.

озными, историческими, философскими, физико-математическими. Он говорил мне, что испытывал несказанное наслаждение, читая словари, если не было под рукой других книг, и я ему охотно верил. Какой школьник не находил удовольствия в поисках возможного значения неизвестного ему существительного? Анализ слова, его общего смысла, его истории был для Ламбера источником длительных размышлений. Но они не были похожи на те инстинктивные размышления, с помощью которых ребенок привыкает к явлениям жизни, пытается понять моральную и физическую сущность бытия. Такая непроизвольная культура позже сказывается и в способности мыслить и в характере. В отличие от этого Луи с проницательностью дикаря постигал явления и объяснял их, раскрывая самые основы и одновременно делая выводы. Так, благодаря устрашающей игре, которую иногда позволяет себе природа, о чем свидетельствовала необычность такого существа, как Луи, он мог уже в четырнадцать лет легко формулировать идеи, глубина которых стала мне понятна много лет спустя.

— Часто,— говорил он мне, вспоминая о своих чтениях,— я совершал пленительные путешествия в бездны прошлого вслед за одним словом, как насекомое, примостившееся на травинке, плывущей по течению реки. Покинув Грецию, я прибывал в Рим, затем проходил через все последующие века. Какую прекрасную книгу можно написать, рассказывая о судьбе и приключениях одного слова! Конечно, оно получало различные оттенки благодаря событиям, которым служило; в зависимости от места действия оно пробуждало различные идеи; но разве не важнее рассмотреть его в трех разных отношениях: души, тела и движения? А наблюдать за ним, отвлекшись от его функций, его следствий, его воздействия, разве не значит утонуть в целом океане размышлений? Разве большинство слов не окрашено той идеей, которую они внешне выражают? Какой гений создал их? Если нужен великий ум, чтобы создать слово, то какой же возраст у человеческого языка? Сочетание букв, их форма, образ, который они придают слову, точно рисуют, по-разному у каждого народа, неведомые существа, живущие в наших воспоминаниях. Кто объяснит нам по-философски переход от ощущения к мысли, от мысли к

слову, от слова к его иероглифу, от иероглифа к алфавиту, от алфавита к письменной речи, красота которой раскрывается в системе образов, расклассифицированных риторами и являющихся как бы иероглифами мысли? Разве древняя запись человеческих идей в зоологических образах не определила первые знаки, которыми воспользовался Восток, чтобы создать письменность на своих языках? И разве она не оставила по традиции кое-какие следы в наших новых языках, поделивших между собой осколки первоначального языка древних наций, языка величавого и торжественного, и величие и торжественность которого уменьшаются тем сильнее, чем больше стареет общество? Звуки этого языка так звонки и полнозвучны в иудейской библии, еще так красивы в Греции, но гаснут по мере прогресса наших сменяющих друг друга цивилизаций. Не этому ли древнему духу мы обязаны тайнами, скрытыми в человеческом слове? Разве не существует в слове «прав» нечто вроде волшебной прямоты? Не содержится ли в необходимом для него кратком звучании неясный образ целомудренной обнаженности, простоты истинного во всех смыслах? Этот слог дышит какой-то свежестью. Я взял как пример формулу абстрактной идеи, не желая объяснять эту проблему словом, которое сделало бы ее понимание слишком легким, как, например, слово «лёт», сразу действующее на непосредственное ощущение. И разве это происходит не с каждым словом: все они носят отпечаток животворящей власти, которой наделяет их человеческая душа и возвращает ей эту власть благодаря таинственному взаимодействию между словом и мыслью! Разве не говорят, что любовник пьет с губ возлюбленной столько же любви, сколько ей отдает? Одним своим внешним обликом слова пробуждают в нашем сознании образ тех созданий, которым служат одеждой. Как и для всех существ, для них есть только одна среда, где они могут действовать и развиваться. Но эта проблема, быть может, заключает в себе целую науку!

И он пожимал плечами, точно хотел сказать мне: мы и слишком велики и слишком ничтожны!

Страсть Луи к чтению могла быть полностью удовлетворена. У кюре Мера имелось две-три тысячи томов. Это сокровище он приобрел во время революции, когда

громили соседние замки и монастыри. В качестве присягнувшего революции священника добряк мог выбрать лучшие произведения из драгоценных собраний, продававшихся на вес. В течение трех лет Луи Ламбер освоил все наиболее существенное в заслуживающих прочтения книгах из дядиной библиотеки. Поглощение мыслей путем чтения сделалось у него весьма любопытным процессом: его глаз охватывал одновременно семь-восемь строчек, а ум впитывал их смысл с той же быстротой, как и взгляд; часто одного слова в фразе было для него достаточно, чтоб впитать весь ее сок. У него была потрясающая память. Он так же ясно помнил мысли, приобретенные во время чтения, как и те, которые были подсказаны ему размышлением или собеседованием. Он обладал всеми видами памяти: он запоминал местность, имена, слова, вещи и лица. Он не только по желанию вспоминал любые предметы, но ясно видел их расположение, освещение, расцветку, как в тот момент, когда он на них смотрел. Эта способность распространялась точно так же на самые неуловимые оттенки познания. Он утверждал, что помнит не только расположение мысли в книге, откуда он ее взял, но даже свои настроения в те давние времена. У него был особый, неслыханный дар восстанавливать в памяти развитие мысли и всю свою духовную жизнь — от первой, воспринятой им идеи до самой последней, чуть расцветшей, от самой смутной до наиболее отчетливой. Его мозг, с ранних лет привыкший к трудному механизму концентрации человеческих сил, извлекал из этого богатого хранилища бесчисленное количество образов, восхитительных по своему реализму и свежести, которыми он и питался во время своих проникновенных созерцаний.

— Когда хочу, я опускаю на глаза вуаль,— говорил он мне на своем особом языке, которому сокровища его памяти придавали неожиданную оригинальность.— Внезапно я погружаюсь в самого себя и нахожу темную комнату, где явления природы раскрываются в более чистой форме, чем та, в которой они появились сначала перед моими внешними чувствами.

К двенадцати годам его воображение, возбужденное постоянным упражнением всех его способностей, необыкновенно развилось, и это позволяло ему получать та-

кие точные представления о вещах, которые он познавал только через книги, что образ, запечатлевавшийся в его душе, не мог быть более живым и при непосредственном наблюдении. Он достигал этого, быть может, потому, что пользовался аналогиями, или потому, что был одарен вторым зрением, с помощью которого он охватывал всю природу.

— Читая описание битвы при Аустерлице,— сказал он мне однажды,— я увидел ее во всех подробностях. Пушечные залпы, крики сражающихся звучали у меня в ушах и заставляли все внутри сжиматься; я чувствовал запах пороха, слышал ржанье лошадей и голоса людей; я любовался равниной, где сталкивались вооруженные народы, как если бы стоял на возвышенности Сантона. Это зрелище показалось мне таким же устрашающим, как видения Апокалипсиса.

Когда он отдавал все свои силы чтению, то терял до некоторой степени ощущение физической жизни и существовал только во всесильной игре своего внутреннего мира, который необычайно расширялся; он оставлял, по его собственным словам, «пространство за собой». Но я не хочу предварять все фазы его интеллектуальной жизни. Помимо моей собственной воли, я нарушил порядок, в котором должен развернуть историю этого человека, перенесшего все свои действия в область мысли, как иные отдают всю свою жизнь действию.

К сочинениям мистического характера у него была просто непреодолимая склонность.

— Abyssus abyssum [1],— говорил он мне.

Наш дух — бездна, и ему нравится погружаться в бездну. Дети, мужчины, старики — мы все увлекаемся тайнами, в каком бы виде они перед нами ни появлялись.

Эта склонность была для него роковой, если, конечно, можно судить о его жизни по обычным законам и измерять счастье других по собственной мерке или подчиняясь общественным предрассудкам. Эта склонность к потустороннему, или, по тому выражению, которое он часто употреблял, к mens divinior [2], возникла, быть может, под влиянием на его внутренний мир первых книг, прочи-

---

[1] Бездна бездн *(лат.)*.

[2] Дух божественного *(лат.)*.

танных у дяди. Святая Тереза и г-жа Гюйон продолжили для него библию, он отдал им первые плоды своего созревавшего разума, и они приучили его к тем живым откликам души, проявлением и результатом которых становится экстаз. Эти изучения, эта склонность возвысили его сердце, очистили его, облагородили, возбудили в нем страсть к божественной природе, научили его почти женской утонченности, которая бессознательно возникает у великих людей; быть может, высшим проявлением духа является отличающая женщину необходимость самоотверженности, только перенесенная в сферу возвышенного. Благодаря этим первым впечатлениям Луи остался целомудренным в коллеже. Эта благородная девственность чувства неизбежно привела к усилению горячности в его крови и обострению возможностей его мысли.

Баронесса де Сталь, высланная из Парижа и удаленная от него на сорок лье, пожелала провести несколько месяцев изгнания в поместье, расположенном около Вандома. Прогуливаясь однажды, она встретила на опушке парка сына кожевенника, ребенка, одетого почти что в лохмотья и поглощенного чтением. Он читал перевод книги «Небо и ад». В этот период во всей французской империи только господа Сен-Мартен, де Жане и некоторые другие французские писатели, наполовину немцы по происхождению, знали имя Сведенборга. Крайне удивленная г-жа де Сталь с обычной резкостью, которую она намеренно подчеркивала в вопросах, взглядах и жестах, взяла книгу; потом, бросив взгляд на Ламбера, спросила:

— Разве ты понимаешь это?

— Вы молитесь богу? — спросил, в свою очередь, мальчик.

— Ну... конечно...

— А вы его понимаете?

Баронесса несколько мгновений ошеломленно молчала, потом она села около Ламбера и начала с ним разговаривать. К несчастью, моя память, вообще неплохая, не может сравниться с памятью моего товарища, и я совершенно все забыл из этого разговора, кроме первых слов. Эта встреча сильно поразила г-жу де Сталь; вернувшись в замок, она говорила о ней мало, хотя необходи-

мость высказаться у нее обычно выражалась красноречивыми излияниями; но она была очень озабочена этим разговором. Единственный сохранивший воспоминание об этом событии живой свидетель, которого я спрашивал, чтобы узнать хотя бы несколько слов, вырвавшихся тогда у г-жи де Сталь, с трудом вспомнил, что баронесса сказала о Ламбере: это настоящий ясновидец. В глазах светских людей Луи не оправдал прекрасных надежд своей покровительницы. Временную благосклонность к нему рассматривали как женский каприз, как одну из фантазий, свойственных художникам. Г-жа де Сталь хотела отнять Луи Ламбера и у императора и у церкви, чтобы направить его к благородным целям, которые, по ее словам, были ему предназначены; она воображала его каким-то новым Моисеем, спасенным из воды. Перед отъездом она поручила одному из своих друзей, г-ну де Корбиньи, который в то время был префектом в Блуа, в положенное время поместить ее Моисея в Вандомский коллеж; потом она его, по всей вероятности, забыла.

Ламбер поступил в коллеж четырнадцати лет, в начале 1811 года, и должен был выйти из него, закончив курс философии, в конце 1814 года. Я сомневаюсь, чтобы во время обучения его благодетельница хоть раз дала о себе знать, и можно ли считать подлинным благодеянием то, что она три года оплачивала содержание мальчика, не думая о его будущем и заставив его сойти с того жизненного пути, на котором он, быть может, нашел бы свое счастье! Условия эпохи и характер Луи Ламбера могут вполне оправдать и беззаботность и щедрость г-жи де Сталь. Человек, выбранный посредником между нею и мальчиком, покинул Блуа в тот момент, когда Луи кончил коллеж. Последующие политические события оправдывают равнодушие этого человека к протеже баронессы. Автор *Коринны* ничего больше не услышал о своем маленьком Моисее. Сто луидоров, данных ею г-ну де Корбиньи, который, мне кажется, умер в 1812-м, не были настолько крупной суммой, чтобы пробудить воспоминания г-жи де Сталь, восторженная душа которой повсюду находила себе пищу, а все интересы поглощали события 1814—1815 годов. Луи Ламбер в эти годы был и слишком беден и слишком горд, чтобы разыскивать свою

благодетельницу, путешествовавшую по всей Европе. Тем не менее он пошел пешком из Блуа в Париж, чтобы повидать ее, и, к несчастью, пришел в тот самый день, когда баронесса умерла. Два письма, написанные Ламбером, остались без ответа. Воспоминание о добрых намерениях г-жи де Сталь в отношении Луи удержались только в нескольких юных умах, пораженных, как и я, этой удивительной историей. Нужно было быть в нашем коллеже, чтобы понять, какое впечатление обычно производило на нас появление *новичка* и то особое чувство, которое должна была вызвать история Ламбера.

Здесь необходимо дать некоторые объяснения по поводу основных законов нашего учреждения, наполовину военного, наполовину религиозного, чтобы рассказать о новой жизни, которой предстояло теперь жить Ламберу.

Перед революцией орден ораторианцев, посвятивший себя так же, как и иезуитский, народному просвещению, унаследовавший от него некоторые школы, обладал многочисленными учреждениями в провинции, из которых наиболее значительными являются коллежи: Вандомский, Турнон, Ла Флеш, Пон-Левуа, Соррез, Жюйи. В Вандомском коллеже, как, впрочем, и в других, воспитывалось, если не ошибаюсь, некоторое количество младших сыновей, предназначенных для службы в армии. Декрет Конвента об увольнении преподавательского состава очень мало повлиял на устав Вандомского коллежа. Когда первый кризис прошел, коллеж водворился в своем прежнем помещении. Некоторые члены конгрегации, разбредшиеся по окрестностям, вернулись назад и восстановили коллеж, сохранив старый устав, привычки, традиции и нравы, придававшие ему тот особый облик, которого не было ни у одного из тех лицеев, где мне довелось побывать после Вандомского коллежа.

Расположенный посередине города на речушке Луар, омывающей его здания, коллеж образует большую, заботливо отгороженную территорию, где находятся все здания, необходимые для такого рода учреждений,— часовня, театр, лазарет, булочная, а также сады и источники. В этот коллеж, самое знаменитое воспитательное заведение из всех имеющихся в центральных провинциях, поступала молодежь из провинций и колоний. Дальность

расстояния не давала возможности родителям часто посещать своих детей.

Кроме того, правила запрещали отпуск на каникулы. Поступив в коллеж, учащиеся покидали его только по окончании курса. За исключением прогулок под наблюдением отцов-воспитателей, все было рассчитано так, чтобы в этом учреждении господствовала монастырская дисциплина. В мое время еще сохранилось живое воспоминание об отце-корректоре, а традиционный кожаный ремень с честью выполнял свою грозную роль. Наказания, изобретенные когда-то иезуитами, одинаково ужасные как в моральном, так и в физическом отношении, сохранялись полностью по старой программе. Письма к родным в определенные дни были обязательны, так же как исповедь. Таким образом, наши грехи и наши чувства были строго регламентированы. Все носило отпечаток монастырского распорядка. Я вспоминаю среди прочих остатков старых установлений инспекцию, которой мы подвергались каждое воскресенье. Мы надевали парадную форму, выстраивались, как солдаты, в ожидании двух директоров, которые в сопровождении поставщиков и учителей вели тройное обследование: костюма, гигиены, морали.

Двести—триста учащихся, которых мог вместить коллеж, были разделены по старинному обычаю на четыре секции, называемые *маленькие, младшие, средние и старшие*. Секция малышей включала так называемые восьмой и седьмой классы; секция младших — шестой, пятый и четвертый; секция средних — третий и второй; наконец, старшая секция изучала риторику, философию, специальную математику, физику и химию. Каждая из этих особых секций имела свое здание, свои классы и свой двор на большом общем участке, куда можно было выйти из учебных комнат и который доходил до столовой. Эта столовая, достойная старого монастырского ордена, вмещала всех учащихся. В противоположность правилам других учебных заведений нам разрешалось разговаривать во время еды, ораторианская терпимость позволяла обмениваться блюдами по нашему вкусу. Этот гастрономический обмен всегда был одним из самых больших удовольствий нашей жизни в коллеже. Если кто-нибудь из среднего класса, посаженный во главе стола, предпочитал порцию красного гороха десерту, пото-

му что нам давали и десерт, тотчас предложение — «десерт за горох» — передавалось из уст в уста, пока какой-нибудь сладкоежка не принимал предложения и не посылал свою порцию гороха, и она передавалась из рук в руки, пока не доходила до предложившего обмен, и тем же путем отправлялся десерт. Ошибок никогда не бывало. Если возникало несколько предложений подобного рода, то они нумеровались, тогда говорили: «Первый горох за первый десерт». Столы были длинные, наши непрерывные передачи приводили все в движение; и мы разговаривали, и ели, и действовали с необычайной живостью. Болтовня трехсот молодых людей, приход и уход слуг, менявших тарелки, подававших блюда, приносивших хлеб, надзор директоров создавали из вандомской столовой единственное в своем роде зрелище, которое всегда удивляло посетителей.

Чтобы несколько скрасить нашу жизнь, лишенную всякого общения с внешним миром, всякого семейного баловства, отцы разрешали нам держать голубей и сажать сады. Двести—триста шалашей, тысяча голубей, угнездившихся вокруг каменной ограды, и около тридцати садов представляли зрелище не менее интересное, чем наши трапезы. Но было бы слишком скучно рассказывать все детали, которые делают из Вандомского коллежа особое учреждение, оставляющее массу воспоминаний в тех, кто провел в нем свое детство. Кто из нас, несмотря на все горести учения, не вспоминает с наслаждением диковинных сторон нашей монастырской жизни? Сладости, купленные втихомолку во время прогулок, разрешение играть в карты и устраивать спектакли во время каникул, мелкое воровство и вольности, порожденные одиночеством; еще ярче вспоминается военная музыка, последние следы военного обучения; наша академия, капеллан, отцы-учителя; наконец, наши особые игры, разрешенные или запрещенные: гонки на ходулях, скольжение по ледяным зимним дорожкам, стук наших галльских деревянных подошв и главным образом товары в лавочке, устроенной у нас на дворе. Эту лавочку содержал своего рода мэтр Жак; у него, согласно проспекту, и дети и взрослые могли купить ящики, сапоги на деревянных подошвах, инструменты, голубей с ожерельями и мохноногих, требники (этот товар покупали редко), перо-

чинные ножи, бумагу, перья, карандаши, чернила всех цветов, мячи, шарики — одним словом, целый мир увлекательных ребячьих вещей, заключавших все — от соуса из голубей, которых приходилось убивать, до горшочков, где мы хранили рис, оставлявшийся от ужина для того, чтобы позавтракать на следующий день. Кто из нас настолько несчастен, что забыл, как билось у него сердце при виде этой лавочки, открывавшейся периодически в течение воскресных каникул, где мы поочередно тратили отпущенные нам деньги; но так как средства, полученные от родителей на мелкие удовольствия, были очень скромны, нам приходилось выбирать между этими вещами, столь соблазнительными для наших душ. Молодая супруга, которой муж дарит двенадцать раз в год кошелек с золотом — роскошный бюджет ее прихотей,— мечтала ли так страстно в первые дни медового месяца о различных покупках, которые поглотят эту сумму, как мечтали мы накануне первого воскресенья каждого месяца? В ночных сновидениях мы за шесть франков обладали всеми сокровищами неистощимой лавочки; а во время мессы громкие ответы, которые нам приходилось давать на возгласы священника, прерывали наши тайные подсчеты. Кто из нас может вспомнить, что у него хоть раз осталось несколько су на покупки во второе воскресенье? Наконец, кто не подчинялся уже тогда социальным законам, то жалея тех париев, которых скупость или семейные несчастья оставляли без денег, то помогая им, то презирая их?

Если кто хочет вообразить себе уединенность большого коллежа с его монастырскими зданиями, в центре маленького города, четыре парка, в которых мы размещались по иерархии, тот ясно представит себе, какой интерес возбуждало в нас появление *новичка*, нового пассажира, попавшего на корабль. Никогда ни одна юная герцогиня, представленная ко двору, не подвергалась такой язвительной критике, какой подвергался поступивший новичок со стороны всего своего отделения. За нами присматривали поочередно через неделю два отца-воспитателя, и обычно в течение вечерней рекреации перед молитвой льстецы, привыкшие беседовать с одним из этих воспитателей, первые слышали слова: «Завтра у вас будет «новичок»! И тогда внезапно крик: «Но-

вичок! Новичок!» — начинал звенеть по всем дворам. Мы сбегались со всех сторон, собираясь толпой вокруг учителя, и тотчас забрасывали его вопросами: «Откуда он? Как его зовут? В каком классе он будет?»

Вокруг появления Луи Ламбера создалась сказка, достойная «Тысячи и одной ночи». Я тогда был в четвертом, среди младших. Нашими учителями были два мирянина, хотя мы их по традиции называли отцами. В мое время в Вандоме было только три настоящих оратории, которым это звание принадлежало законно: в 1814 году они покинули коллеж, который постепенно переходил в ведение государства, и обрели приют у алтарей деревенских приходов, наподобие кюре из Мера. Отец Огу, дежурный воспитатель этой недели, был довольно славный человек, но не обладал обширными знаниями; у него не было необходимого такта, чтобы понять различные детские характеры и назначать наказания, считаясь с их возможностями. Отец Огу весьма охотно начал рассказывать о поразительных событиях, благодаря которым у нас на следующий день должен был появиться самый необыкновенный новичок. Тотчас же все игры прекратились, все младшие молча столпились, чтобы выслушать историю Луи Ламбера, найденного г-жой де Сталь в лесу, словно осколок метеорита. Г-н Огу вынужден был нам рассказать и о г-же де Сталь: весь вечер я воображал ее ростом в десять футов; потом я видел картину «Коринна», где Жерар изобразил ее очень высокой и очень красивой; увы, идеальная женщина, созданная моим воображением, превосходила ее настолько, что настоящая госпожа де Сталь совсем померкла в моем сознании даже после чтения ее совершенно мужской книги «О Германии». Но Ламбер представлялся нам настоящим чудом: когда г-н Марешаль, заведующий учебной частью, проэкзаменовал его, то он, по словам отца Огу, даже колебался, не поместить ли его к старшим. Ламбер слабо знал латынь, поэтому пришлось оставить его в четвертом классе, но он, конечно, каждый год будет перепрыгивать через класс, и в виде исключения его должны были бы принять в академию.

Мы будем иметь честь видеть среди младших платье, отмеченное красной ленточкой, которую носили академики Вандома. Академики пользовались блестящими

преимуществами: они часто обедали за столом директора и дважды в год устраивали свои литературные вечера, на которых мы присутствовали и таким образом знакомились с их произведениями.

Академик — это великий человек в миниатюре. Если любой вандомец будет совершенно искренен, он признается, что впоследствии настоящий академик настоящей французской Академии казался ему не таким удивительным, как ребенок-гигант, отмеченный крестом и драгоценной, неоценимой красной ленточкой нашей академии. Трудно было стать членом этой прославленной группы, не достигнув второго класса, так как академики должны были во время каникул по четвергам устраивать публичные собрания и читать нам повествования в стихах или в прозе, послания, трактаты, трагедии, комедии, а разумению младших классов подобное творчество считалось недоступным. Я долго помнил одну сказку под названием «Зеленый осел», по-моему, наиболее выдающееся произведение этой безвестной академии. Ученик четвертого класса — академик! Среди нас будет жить этот четырнадцатилетний ребенок, уже поэт, любимый г-жой де Сталь, будущий гений, по словам отца Огу; волшебник, способный разобрать тему или перевод за то время, как нас ведут в класс, и выучить все уроки, прочитав их один раз. Луи Ламбер спутал все наши мысли. Любопытство отца Огу, нетерпеливое стремление увидеть новичка, которое он проявлял, еще больше воспламеняли наше пылкое воображение.

— Если у него есть голуби, для него не хватит шалаша, нет нигде места! Тем хуже! — говорил один из нас, ставший впоследствии знаменитым агрономом.

— А рядом с кем он будет сидеть? — спрашивал другой.

— О, как бы я хотел быть его «фезаном»! — взволнованно восклицал третий.

На языке нашего коллежа слово «фезан» (в других местах говорят «копен») является трудно переводимым выражением. Оно означает братский раздел радостей и горестей нашей детской жизни, близость интересов, порождавшую ссоры и примирения, договор оборонительного и наступательного союза. Странно подумать! Никогда в мое время не случалось, чтобы «фезанами» оказыва-

лись два родных брата. Если человек живет только чувством, может быть, он боится обеднить себя, смешивая обретенную привязанность с естественной.

Впечатление, которое произвели на меня речи отца Огу в этот вечер, осталось самым ярким впечатлением моего детства, и я могу сравнить его только с чтением «Робинзона Крузо».

Позже, при воспоминании об этих исключительных переживаниях, у меня возникла, быть может, совсем новая мысль о различных эффектах, которые производят слова в различных умах. В слове нет ничего абсолютного, мы больше воздействуем на него, чем оно воздействует на нас; его сила в образе, который мы в нем видим или в него вкладываем; но исследование этого явления требует пространных и неуместных здесь рассуждений. Так как я не мог спать, то вел длительный спор со своим соседом по дортуару относительно исключительного существа, которое появится среди нас завтра. Этот сосед, Баршу де Пенхоэн, который впоследствии некоторое время был офицером, а теперь стал писателем большой философской глубины, не изменил ни своему предназначению, ни случайности, соединившей в одном и том же классе, на той же самой парте, под той же самой крышей тех двух единственных учеников, о которых Вандом слышит до сих пор; ибо в тот момент, когда была опубликована эта книга, наш товарищ Дюфор еще не вступил на общественную дорогу в парламенте. Недавний переводчик Фихте, комментатор и друг Баланша, уже занимался так же, как и я, метафизическими вопросами; он часто городил вместе со мной всякий вздор о боге, о нас самих и о природе. Тогда он претендовал на звание пиррониста. Ревниво стремясь играть свою роль, он отрицал способности Ламбера; а так как я только что прочел «Знаменитых детей», я засыпал его доказательствами, указывая на маленького Монкальма, Пико делла Мирандола, Паскаля — словом, на все рано созревшие умы. Все это были известные аномалии в истории человеческого духа и предшественники Ламбера. В то время я ужасно пристрастился к чтению. Отец мой хотел направить меня в политехническую школу, и потому он дополнительно оплачивал частные уроки по математике. Мой репетитор, библиотекарь коллежа, разре-

шил мне пользоваться книгами и не слишком следил за тем, что именно я уносил из библиотеки, из тихого убежища, куда во время каникул я ходил к нему брать уроки. Я думаю, что он или не умел давать их, или был очень занят каким-то серьезным делом, потому что он мне охотно позволял читать в урочное время, а сам работал, не знаю над чем. Таким образом, между нами был молчаливо заключен договор: я не жаловался на то, что ничему не учусь, а он молчал по поводу того, что я брал книги. Увлеченный этой несвоевременной страстью, я пренебрегал уроками, сочиняя поэмы, которые, конечно, не много обещали, если судить по одной знаменитой среди моих товарищей слишком длинной стихотворной строчке, которой начиналась эпопея об Инках:

О Инка! властелин и злополучный и несчастный!

В насмешку над моими опытами я был прозван Поэтом, но такие насмешки не могли меня исправить. Я продолжал рифмовать строчки, несмотря на мудрый совет господина Марешаля, нашего директора, который пытался излечить меня от моей пагубной застарелой болезни, рассказав в одной из проповедей о несчастьях малиновки, которая выпала из гнезда, попытавшись летать раньше, чем у нее выросли крылья. Я продолжал читать и стал самым бездеятельным, самым ленивым, самым задумчивым учеником младшего отделения, и, следовательно, меня наказывали чаще других. Это автобиографическое отступление должно сделать понятным характер размышлений, которые меня осаждали при появлении Ламбера. Мне было тогда двенадцать лет. Я чувствовал неясную симпатию к ребенку, с которым у меня было некоторое сходство в темпераментах. Я должен был, наконец, найти спутника по мечтам и размышлениям. Не зная еще, что такое слава, я был польщен, что буду товарищем ребенка, чье бессмертие было предсказано г-жой де Сталь. Луи Ламбер казался мне гигантом.

Наконец, настало долго ожидаемое завтра. За минуту до завтрака мы услышали на пустынном дворе шаги г-на Марешаля и новичка. Все головы тотчас же повернулись в сторону двери. Отец Огу, который разделял с нами муки любопытства, не засвистел, как обычно, чтобы пре-

кратить шепот и призвать нас к занятиям. И тогда мы увидели этого пресловутого новичка, которого г-н Марешаль держал за руку. Учитель спустился с кафедры, и директор, следуя этикету, торжественно сказал ему:

— Милостивый государь, я привел к вам господина Луи Ламбера, он будет в четвертом классе и завтра придет на уроки.

Потом, тихо поговорив с учителем, он громко добавил:

— Где вы его посадите?

Было бы несправедливо потревожить из-за новичка кого-нибудь из нас, а так как была свободна только одна парта, рядом со мной, последним из поступивших в этот класс, то Луи Ламбер и занял ее. Несмотря на то, что занятия еще не кончились, мы все встали, чтобы посмотреть на Ламбера. Г-н Марешаль слышал наши разговоры, понял наше возбуждение и сказал с той добротой, за которую мы все его особенно любили:

— По крайней мере ведите себя хорошо, не мешайте заниматься другим классам.

Эти слова отпустили нас на отдых незадолго до завтрака, и мы все окружили Ламбера, в то время как г-н Марешаль прогуливался по двору с отцом Огу. Нас было примерно восемьдесят чертенят, смелых, как хищные птицы. Хотя мы все прошли через жестокие испытания поступления в коллеж, но никогда не давалось пощады новичку, и язвительный смех, вопросы, дерзости сыпались на голову неофита для его посрамления. Таким образом испытывались его привычки, сила и характер. Ламбер, то ли спокойный по натуре, то ли ошеломленный, не отвечал на наши вопросы. Один из нас заявил тогда, что новичок вышел из школы Пифагора. Раздался общий смех. И на все время пребывания в коллеже Ламбер получил прозвище Пифагора. В то же время пронзительный взгляд Ламбера, отражавшееся на его лице презрение к нашему ребячеству, хотя презрение вообще было совершенно чуждо его характеру, спокойная поза, в которой он стоял, его видимая сила в полной гармонии с возрастом вызывали некоторое уважение даже в самых дурных из нас. Что касается меня, то я сидел около него и молчаливо наблюдал.

Луи был худеньким и хрупким мальчиком четырех с половиной футов ростом; его загорелое лицо, почерневшие

от солнца руки свидетельствовали, казалось, о значительной силе мышц, а между тем он был слабее, чем бывают обычно в его возрасте. Через два месяца после его поступления в коллеж, когда пребывание в закрытом помещении сняло с него загар, как это случается с растением, мы увидели, что он бледен и бел, как женщина. Всем бросилась в глаза его крупная голова. Очень кудрявые волосы красивого черного цвета придавали невыразимое очарование его лбу, который казался огромным даже и нам, совершенно не интересовавшимся объяснениями френологии — науки, находившейся тогда еще в колыбели. Красота этого лба была необыкновенной, пророческой главным образом благодаря чистой линии надбровных дуг, словно вырезанных из алебастра, под которыми сверкали черные глаза; эти дуги сходились на переносице и, что бывает редко, казались идеально параллельными. Трудно было составить себе ясное представление о его лице, черты которого, кстати сказать, были довольно неправильными, очень заметны были только глаза, удивлявшие богатством и изменчивостью выражения и, казалось, отражавшие его душу. То светлый и поразительно проницательный, то нежный и неземной взгляд этих глаз становился тусклым, можно сказать, бесцветным в те минуты, когда Луи предавался созерцанию. Тогда его глаза походили на оконные стекла, в которых только что отражалось солнце, но вдруг погасло. Его сила и его голос имели такое же свойство, как и взгляд: то неподвижность, то изменчивость. Голос его то становился нежным, как голос женщины, которая нечаянно призналась в любви, то затрудненным, ломким, запинающимся, если можно выразить этими словами необычные оттенки. Что же касается его силы, то часто он уставал от самой легкой игры и казался слабым, почти калекой. Но в первые дни его жизни в коллеже, когда один из наших матадоров посмеялся над этой болезненной хрупкостью, делавшей его неспособным к бурным упражнениям, бывшим тогда в ходу в нашем коллеже, Ламбер схватил двумя руками конец одного из наших столов, состоявшего из двенадцати пюпитров, расположенных в два ряда, двумя скатами, оперся туловищем на учительскую кафедру, придержал стол ногами, поставив их на нижние перекладины, и сказал:

— Пусть десять человек одновременно попробуют его сдвинуть!

Я присутствовал при этом и могу засвидетельствовать фантастическое доказательство силы Ламбера: вырвать стол из его рук оказалось невозможно. Ламбер обладал способностью в некоторые мгновения концентрировать в себе необыкновенное могущество, собирать все силы и направлять их на одну какую-нибудь цель. Но дети, так же, впрочем, как и взрослые, привыкли судить по первым впечатлениям; они наблюдали за Луи только в первые дни после его приезда: он совершенно не оправдал предсказаний г-жи де Сталь и не совершил ни одного из тех чудес, какие мы от него ждали. После первого испытательного триместра Луи стал считаться самым обыкновенным учеником. Только мне одному дано было проникнуть в эту высокую душу, и почему бы мне не назвать ее даже божественной? Что может быть ближе к богу, чем сердце гениального ребенка? Благодаря общности вкусов и мыслей мы сделались друзьями и «фезанами». Наше братское единение было таким глубоким, что товарищи соединили наши имена. Их перестали произносить по отдельности; чтобы позвать одного из нас, нам кричали: «Поэт и Пифагор!» Имена других учеников тоже произносились вместе, как одно. Таким образом, я был в течение двух лет другом по школе бедного Луи Ламбера, и моя жизнь была в то время настолько тесно соединена с его жизнью, что для меня оказалось возможным написать историю его духовного развития.

Долгое время я не понимал поэзии и богатства, скрытых в сердце и в мозгу моего товарища. Мне надо было дожить до тридцати лет, чтобы наблюдения мои созрели и отстоялись, чтобы луч живого света осветил их заново, чтобы я понял значение явлений, неопытным свидетелем которых я был; я наслаждался ими, не объясняя себе ни их величия, ни механизма, я даже забыл некоторые из них и запомнил только самые яркие; но теперь моя память привела все в порядок, и я постиг тайны этого плодовитого ума, вспоминая о пленительных днях нашей юной дружбы. Только время дало мне возможность проникнуть в смысл событий и фактов, которыми богата эта никому не известная жизнь, подобная жизни многих других людей, потерянных для науки. Эта

история важна только для выражения и оценки вещей чисто нравственного порядка, а если она полна анахронизмов, то, быть может, это не повредит ее своеобразному интересу.

В течение первых месяцев жизни в Вандоме Луи заболел такой болезнью, симптомы которой были незаметны для взора наших воспитателей, однако эта болезнь неизбежно должна была мешать проявлению его больших способностей. Привыкнув к свежему воздуху, к тому, что его образование пополнялось от случая к случаю, независимо от чьей-либо воли, окруженный нежной заботой обожавшего его старика, привыкнув думать под открытым небом, он с трудом осваивался с жизнью в четырех стенах комнаты, где восемьдесят молодых людей молчаливо сидели на деревянных скамьях, каждый за своим пюпитром. Его чувства были так обострены, что развили в нем исключительную душевную тонкость, и он очень страдал от жизни в большом сообществе. Портившие воздух испарения, смешанные с запахом всегда грязного класса, замусоренного остатками наших завтраков и ужинов, действовали на его обоняние, на то чувство, которое больше всего связано с мозговой системой и поэтому в случае поражения приносит незаметное сначала расстройство в мыслительные органы. Кроме этих причин порчи воздуха, были еще и другие; в комнатах для занятий находились ящики, где мы хранили нашу добычу: голубей, убитых к празднику, пищу, тайком унесенную из столовой. Наконец, в этих комнатах находился еще громадный каменный постамент, где все время стояли два ведра, полные воды, своеобразный водослив, где каждое утро, в присутствии учителя, мы поочередно ополаскивали лицо и мыли руки. Оттуда мы переходили к столу, где нас причесывали и пудрили женщины. Наше жилище, убиравшееся раз в день, перед нашим пробуждением, было всегда грязным. Кроме того, несмотря на большое количество окон и высоту дверей, воздух постоянно портили запахи парикмахерских принадлежностей, умывальника, ящиков, где хранились вещи каждого ученика, не говоря уже об испарениях наших сгрудившихся восьмидесяти тел. Этот humus коллежа, смешанный с грязью, которую мы все время приносили со двора, порождал зловоние, точно от

навозной кучи. Отсутствие чистого, ароматного воздуха, которым он до сих пор дышал, перемена привычек, дисциплина — все угнетало Ламбера. Опершись головой на левую руку, облокотившись правой на свой пюпитр, он все часы занятий смотрел на листву деревьев во дворе или на облака на небе: казалось, он учил уроки; но, видя, что его перо неподвижно, а страница оставалась чистой, учитель кричал ему:

— Вы ничего не делаете, Ламбер!

Это «вы ничего не делаете» было булавочным уколом, терзавшим сердце Ламбера. Потом у него уже не было свободного времени, в перемены он должен был писать pensum'ы. «Пенсум»—наказание, тип которого варьируется в зависимости от обычаев каждого коллежа; в Вандоме «пенсум» представлял некоторое количество строчек, переписанных в часы перемен. И Ламбер и я были так завалены «пенсумами», что за два года нашей дружбы у нас не было и шести свободных дней. Если бы не книги, утащенные из библиотеки, которые поддерживали жизнь в нашем мозгу, подобное существование привело бы нас к полнейшему отупению. Отсутствие упражнений губительно для детей. Привычка особым образом держать себя на празднествах и приемах, усвоенная с малолетства, говорят, очень сильно действует на телосложение царственных особ, если им не удается помочь своему физическому развитию жизнью на поле сражений и охотничьим спортом. Если законы этикета и двора до такой степени воздействуют на мозг спинного хребта, что делают женственными тазовые кости королей, расслабляют их мозговую ткань и ведут к вырождению, разве не приносит ученикам глубочайший физический и моральный вред постоянный недостаток свежего воздуха, движения, веселья? Неужели система наказаний, обычная для коллежей, не привлечет внимания авторитетов в области народного просвещения,— ведь найдутся среди них мыслители, которые думают не только о себе.

Мы навлекали на себя «пенсумы» по тысяче причин. У нас была такая хорошая память, что мы никогда не учили уроков. Достаточно было, чтобы кто-нибудь из товарищей произнес отрывок по-французски или по-латыни или грамматическое правило, чтобы мы могли повторить его; но если, к несчастью, учитель решал изменить оче-

редность и спрашивал нас первыми, мы часто даже не знали, что было задано: «пенсум» назначался, несмотря на наши самые остроумные объяснения. Во всяком случае, мы откладывали приготовление уроков до самого последнего момента. Всякий раз, когда мы хотели дочитать какую-нибудь книгу или погружались в мечты, уроки забывались, и это был новый источник «пенсумов». Сколько раз наши переводы были написаны за время, пока ученик первого класса, обязанный собирать их, войдя в класс, требовал их по очереди у каждого ученика! К моральным трудностям, которые переживал Ламбер, привыкая к коллежу, присоединялось еще не менее трудное испытание, через которое мы прошли все: надо было претерпеть множество бесконечно разнообразных физических страданий. Чувствительность кожи у детей требует тщательной заботы, особенно зимой, когда по самым разнообразным поводам им приходится переходить из ледяной атмосферы грязного двора в жарко натопленный класс. Таким образом, из-за отсутствия материнских забот, младших и маленьких просто пожирали болячки и трещины на коже, настолько болезненные, что во время завтрака приходилось делать особые перевязки, конечно, не особенно тщательно, так как уж слишком много было больных рук, ног и пяток. Многие дети вынуждены были предпочитать болезни лечению. Ведь им приходилось выбирать: то ли заканчивать приготовление уроков, то ли наслаждаться катком, то ли идти на перевязку, которая небрежно накладывалась и с которой они обращались еще небрежней. Кроме того, нравы коллежа ввели в моду насмешки над слабенькими, ходившими на перевязки, и ученики соревновались в срывании тряпок, намотанных на руки санитарами. Таким образом, зимой у многих из нас так болели пальцы и ноги, изъеденные болячками, что мы были не очень-то склонны учиться, и нас наказывали за то, что мы не учились. Очень часто наставник, обманутый притворными болезнями, не считался с реальными. В оплату за учение входило полное содержание учеников в коллеже. Администрация обыкновенно назначала торги на поставку обуви и одежды; отсюда этот осмотр каждые пятнадцать дней, о котором я уже говорил. Этот выгодный для администрации метод имел весьма грустные последствия для осматриваемого. Горе

малышу, у которого была дурная привычка стаптывать или рвать ботинки или преждевременно пронашивать подошвы, то ли из-за походки, то ли из-за шарканья в часы занятий, когда ребенок повинуется свойственному его возрасту стремлению двигаться! В течение всей зимы несчастный испытывал злейшие страдания во время прогулки; во-первых, отмороженные места мучительно болели, как во время припадков подагры; затем крючки и шнурки, закреплявшие ботинки, лопались, стоптанные каблуки мешали проклятым ботинкам как следует прилегать к ногам ребенка; ему приходилось тащиться по замерзшим тропинкам или порою с трудом вытаскивать свою обувь из глинистой почвы Вандома; наконец, дождь, снег часто проникали сквозь незаметно распоровшиеся швы, плохо прилаженную бумажную затычку, и нога начинала пухнуть. Из шестидесяти детей не было и десяти, которые не испытывали при ходьбе какой-нибудь боли; и все же они следовали за основной массой, повинуясь общему ритму, как взрослые люди, которых заставляет жить сама жизнь. Сколько раз отважный паренек, плача от гнева, все же собирал остатки энергии, чтобы, превозмогая боль, двигаться вперед или вернуться в свое обиталище! Вот насколько в этом возрасте неопытная душа боится и смеха и сочувствия — двух видов насмешки. В коллеже, как и в обществе, сильный презирает слабого, еще не понимая, в чем состоит истинная сила. И это все еще пустяки. Никаких перчаток не полагалось. Если случайно родители, санитарка или директор давали самым хрупким из нас пару перчаток, шутники и старшие в классе клали их на печку, забавлялись тем, что сушили их, пока они не трескались; потом, если удавалось вырвать их у шалунов, они отсыревали и скорежились от небрежного обращения. Ни одни перчатки не выдерживали. Перчатки казались привилегией, а дети любят равенство.

Все эти разнообразные мучения должен был испытать Луи Ламбер. Как все люди, склонные к размышлениям, поглощенные мечтами, часто привыкают к какому-нибудь машинальному движению, он постоянно играл своими ботинками и очень быстро изнашивал их. Нежная, как у женщины, кожа на его лице, на ушах, на губах трескалась от малейшего холода. Его руки, такие мяг-

кие и белые, делались красными и шершавыми. Он непрерывно простужался. Луи и впрямь донимали всевозможные болезни, пока он не приспособился к вандомским нравам. Долгий жестокий опыт всяческих бед заставил его наконец «думать о своих делах», как говорили у нас в коллеже. Ему пришлось заботиться о своем ящике, о своей парте, об одежде, о ботинках; не позволять красть у себя ни чернил, ни книг, ни тетрадей, ни перьев; наконец, пришлось научиться думать о тысяче деталей нашей детской жизни, которыми столь прилежно занимались эгоисты и посредственности, всегда получавшие награды за отличные успехи и поведение, награды, не доставшиеся многообещавшему ребенку, который под бременем почти божественного воображения страстно отдавался бурному потоку своих мыслей. Это еще не все. Между учителями и учениками постоянно шла борьба, беспощадная борьба, с которой в обществе можно сравнить только борьбу оппозиции против министерства при представительном правлении. Но журналисты и ораторы оппозиции, быть может, не умеют так быстро использовать какое-нибудь преимущество, так жестоко упрекать за любую вину, так едко насмехаться, как это умеют дети по отношению к людям, которым доверено их воспитание. Даже ангел потерял бы терпение, занимаясь этой профессией. Поэтому не следует слишком сильно винить бедного, плохо оплачиваемого, не очень проницательного наставника за то, что он иногда выходит из себя и бывает несправедлив. Под взглядом множества насмешливых глаз, окруженный ловушками, этот наставник иногда мстит за все свои промахи, которые дети чрезвычайно быстро замечают.

Не считая крупных проступков, для которых существовали другие наказания, ремень был в Вандоме l'ultima ratio patrum [1]. Для наказания за невыполненные обязанности, плохо выученные уроки, глупые выходки было достаточно и «пенсума»; но оскорбленное самолюбие учителя отзывалось на нас ремнем. Из всех физических страданий, которым мы подвергались, самую сильную боль нам причиняла кожаная полоска шириной примерно в два пальца, которая обрушивала на наши слабые руки всю

[1] Последнее средство отцов (*лат.*).

силу, весь гнев наставника. Подвергаясь этому классическому наказанию, виновный стоял на коленях посреди зала. Нужно было подняться со скамьи и стать на колени около кафедры под любопытными, часто насмешливыми взглядами товарищей. Для нежных душ эти приготовления были двойной пыткой, подобной путешествию от залы суда до эшафота на Гревской площади, которое совершал некогда приговоренный к смерти. В зависимости от своего характера одни кричали, плача горькими слезами, до или после удара, другие претерпевали боль со стоическим спокойствием, но в ожидании наказания даже самые мужественные едва могли подавить конвульсивную гримасу на лице. Луи Ламбер без конца подвергался этому наказанию из-за одной особенности своей натуры, которую долгое время он сам не замечал. Когда возглас учителя: «Вы ничего не делаете!» — грубо отрывал его от размышлений, он зачастую и вначале совершенно бессознательно бросал на наставника взгляд, исполненный какого-то яростного презрения, насыщенный мыслью, как насыщена электричеством Лейденская банка. Этот взгляд, несомненно, раздражал учителя, и, оскорбленный беззвучной эпиграммой, он стремился отучить ученика от этих молниеносных взглядов. Первый раз, когда учитель оскорбился взглядом, поразившим его, как молния, он сказал фразу, которую я запомнил:

— Если вы еще раз так взглянете на меня, Ламбер, вы получите ремень!

При этих словах все носы вздернулись, все глаза следили то за учителем, то за Ламбером. Замечание прозвучало до такой степени глупо, что мальчик снова бросил на учителя молниеносный взгляд. Так возникла ссора между учителем и учеником, навлекавшая на Ламбера частые наказания ремнем. И это заставило его понять подавляющую силу своего взгляда.

Бедный поэт с такими чувствительными нервами, иногда истеричный, как женщина, угнетенный хронической меланхолией, так же болеющий своим гением, как юная девушка любовью, которой она жаждет, еще не зная ее, этот мальчик, такой сильный и такой слабый, оторванный Коринной от просторов родных полей, чтобы попасть в матрицу коллежа, в которой каждый ум, каждое существо, несмотря на свои способности, свой темпера-

мент, должно приспособиться к правилам, к форме, как золото вынуждено превращаться в монеты под прессом чеканки, Луи Ламбер выстрадал все, что могло задеть его тело или его душу. Он был прикован к скамье, закрепощен партой, избит ремнем, измучен болезнями, оскорблен во всех своих чувствах, сжат петлей бедствий, и вся его телесная оболочка мучительно страдала от бесчисленных тиранических требований коллежа. Подобно мученикам, улыбавшимся во время пыток, он ускользал в небеса, которые приоткрывала ему его мысль. Быть может, эта внутренняя жизнь помогла ему заглянуть в тайны, в которые он так верил.

Наше свободолюбие, наши незаконные занятия, наше кажущееся безделье, отупение, в каком мы жили, непрерывные наказания, отвращение к урокам и «пенсумам» создали нам неоспоримую репутацию никчемных и неисправимых детей. Учителя презирали нас, а товарищи, от которых мы скрывали наши незаконные занятия, боясь их насмешек, выражали нам самое отвратительное пренебрежение. Эта двойная недооценка была несправедлива со стороны учителей, но была совершенно естественной со стороны соучеников. Мы не умели играть в мяч, бегать, ходить на ходулях. В дни амнистии или если у нас случайно оказывалась свободная минута, мы не участвовали ни в каких развлечениях, принятых в это время в коллеже. Чуждые забавам наших товарищей, мы пребывали в одиночестве, меланхолически сидя под каким-нибудь деревом во дворе. Поэт и Пифагор были исключением, они вели жизнь за пределами общины учеников. Присущие школьникам проницательный инстинкт и обостренное самолюбие заставляли их чувствовать в нас душевную жизнь или более высокую, или более низкую сравнительно с их жизнью. Отсюда у одних была ненависть к нашей молчаливой аристократичности, у других — презрение к нашей никчемности. Эти чувства возникли между нами вопреки нам самим, и, может быть, я разгадал их только сегодня. Итак, мы жили, как две крысы, прячась в углу классной комнаты, где были наши парты, и мы были вынуждены там сидеть и во время уроков и во время перемен. Это исключительное положение должно было привести и привело к войне между нами и детьми нашего отделения. Почти всегда забытые

всеми, мы существовали там спокойно, и такая жизнь нас наполовину удовлетворяла; мы были похожи на два растения или два украшения, не гармонировавшие с общем стилем комнаты. Но иногда самые насмешливые из наших товарищей оскорбляли нас, желая показать, что они могут безнаказанно злоупотреблять своей силой, а мы отвечали на это презрением; все это частенько кончалось тем, что на Поэта и Пифагора обрушивался град ударов.

Ламбер тосковал по дому много месяцев. Я не знаю, каким образом описать охватившую его меланхолию. Луи испортил мне множество шедевров. Так как мы оба разыгрывали роль *«Прокаженного из долины Аосты»*, мы испытали чувства, выраженные в книге господина де Местра, прежде чем прочитали о них в его красноречивом изложении. Конечно, какое-нибудь произведение может воскресить воспоминания детства, но ему никогда не удается заглушить их. Вздохи Ламбера прозвучали для меня гораздо более проникновенными гимнами печали, чем самые прекрасные страницы *Вертера*. Но, быть может, нельзя сравнивать страдания, которые причиняет справедливо или несправедливо осужденная нашими законами страсть, со скорбями бедного ребенка, жаждущего ярких лучей солнца, стремящегося в росистые долины, на свободу. Вертер был рабом одной страсти, вся душевная жизнь Луи Ламбера была порабощена. При одинаковом таланте очень трогательное чувство, основанное на самых искренних, а значит, самых чистых желаниях, должно превзойти жалобы гения. Часто, после того, как Луи долго созерцал листву одного из тополей на дворе, он говорил мне только одно слово, но это слово раскрывало необъятную мечту.

— К счастью,— воскликнул он однажды,— у меня бывают хорошие минуты, когда мне кажется, что стены класса рухнули и что я сам далеко, в полях! Какое наслаждение нестись по воле своей мысли, как мчится птица, увлеченная полетом! Почему зеленый цвет так распространен в природе? — спрашивал он меня.— Почему там так мало прямых линий? Почему в творениях человека так мало кривых? Почему только человек ощущает прямую линию?

Эти слова говорят о долгих блужданиях по широким просторам. Конечно, перед ним снова развертывались кар-

тины природы, он снова вдыхал аромат лесов. Он сам был живой трепетной элегией, всегда молчаливый, готовый претерпеть все; он всегда страдал, не имея возможности сказать: «Я страдаю!» Этот орел, который хотел насыщаться всем миром, жил в четырех узких и грязных стенах; так его жизнь стала в самом широком значении этого выражения жизнью идеальной. Полный презрения к почти бесполезным занятиям, на которые мы были обречены, Луи шел своей воздушной дорогой, совершенно оторвавшись от окружавших его вещей. Повинуясь свойственному детям стремлению подражать, я старался согласовать свое существование с его жизнью. Луи особенно сильно заражал меня страстью к тому полудремотному состоянию, в которое погружает тело глубокое созерцание, потому что я был молод и впечатлителен. Мы привыкли, подобно любовникам, думать вместе, сообщать друг другу наши мечты. Его интуитивные ощущения уже и тогда были так же остры, как прозрение мысли у великих поэтов, и часто приближались к безумию. Однажды он спросил:

— Можешь ли ты, как я, помимо своей воли, чувствовать воображаемые страдания? Например, когда я напряженно думаю о том, что я буду ощущать, если лезвие моего перочинного ножа войдет мне в тело, я начинаю чувствовать такую острую боль, как если бы я себя действительно порезал: не хватает только крови. Но это чувство возникает и охватывает меня внезапно, как шум, нарушающий глубокое молчание. Мысль может причинить физические страдания! Ну, что ты на это скажешь?

Когда он высказывал подобные мысли, мы обз погружались в наивные мечты. Мы пытались искать в нас самих неописуемые явления, относящиеся к возникновению мысли, которую Ламбер надеялся проследить в ее малейших проявлениях, чтобы когда-нибудь иметь возможность описать неведомый инструмент. Потом, после споров, часто очень ребячливых, из глаз Ламбера вырывался пылающий взгляд, он сжимал мою руку и в самых глубинах своей души находил слово, которым пытался выразить все до конца.

— Мыслить — значит видеть! — сказал он мне однажды, возбужденный одним из наших соображений по

поводу самих основ психической организации человека. Все человеческое знание основывается на дедукции, на медленном движении от причины к следствию и от следствия к причине. В отличие от этого, стремясь к более широкому выражению, вся поэзия, как и всякое произведение искусства, проявляется в мгновенном охвате явлений.

Он был спиритуалистом; но я осмеливался противоречить ему, вооружившись его же собственными наблюдениями над чисто физической основой разума. Оба мы были правы. Быть может, материализм и спиритуализм выражают две стороны одного и того же факта. Исследования Ламбера о субстанции мысли заставляли его со своеобразной гордостью принимать жизнь, полную лишений, на которую нас обрекали леность и пренебрежение к школьным занятиям. У него было сознание собственной ценности, которое поддерживало в нем стремление мыслить и рассуждать. С какой нежностью ощущал я воздействие его души на мою! Сколько раз мы сидели на нашей скамейке, читая одну и ту же книгу и, не разлучаясь, забывали друг о друге, но в то же время чувствовали, что оба вместе мы погружены в океан идей, как две рыбы, плавающие в одних и тех же водах! Извне наша жизнь казалась растительной, но мы существовали только сердцем и разумом! Чувства и мысли были единственными событиями нашей школьной жизни.

Ламбер так сильно влиял на мое воображение, что я до сих пор чувствую это влияние. Я слушал его рассказы, погружавшие в атмосферу чудесного, с таким же наслаждением и жадностью, с каким и дети и взрослые поглощают сказки, в которых действительность принимает самые нелепые формы. Его страсть к таинственному и естественная в детском возрасте доверчивость заставляли нас часто говорить о рае и аде. Тогда Луи, объясняя мне Сведенборга, пытался заставить меня разделить его верования в ангелов. В самых ложных рассуждениях Ламбера встречались и тогда изумительные наблюдения над могуществом человека; именно они придавали его словам тот облик правдивости, без которого ничего нельзя создать ни в каком искусстве. Он рисовал романтический конец судьбам человечества, и это подогревало его склонность отдаваться верованиям, свойственным девственному воображению. Разве не в эпоху своей юности

народы создают себе идолов и догмы? А сверхъестественные существа, перед которыми они трепещут,— разве они не воплощают в преувеличенном виде их собственные чувства, их потребности? То, что осталось в моей памяти от моих поэтических разговоров с Ламбером относительно шведского пророка, произведения которого позже я прочел из любопытства, может быть кратко сведено к следующему.

В человеке соединяются два различных существа. По Сведенборгу, ангел — это человек, в котором духовное существо победило материальное. Если человек хочет следовать призванию быть ангелом, он должен, как только мысль раскроет ему двойственность его бытия, стремиться развивать тончайшую природу живущего в нем ангела. Если ему не удалось обрести просветленное знание своего будущего, он дает возможность возобладать материальному началу вместо того, чтобы укреплять свою духовную жизнь, все его силы уходят на игру внешних чувств, и от материализации этих двух начал ангел постепенно погибает. В противном случае, если человек будет поддерживать свой внутренний мир необходимыми ему эссенциями, дух начинает преобладать над материей и пытается от нее отделиться. Когда это отделение происходит в той форме, которую мы называем смертью, ангел достаточно сильный, чтобы освободиться от своей оболочки, продолжает существовать и начинает свою настоящую жизнь. Наличие бесконечного числа отличающихся друг от друга индивидуальностей может быть объяснено только этой двойственностью бытия, они дают возможность понять и доказать ее. Действительно, расстояние между человеком, чей бездеятельный ум обрекает его на очевидную тупость, и тем, кого внутреннее зрение одарило известной силой, заставляет нас предположить, что между гениальными людьми и остальными может существовать такая же разница, какая отделяет зрячих от слепых. Эта мысль, бесконечно расширяющая мироздание, в некотором смысле дает ключ к небесам. Внешне кажется, что на земле все эти существа смешаны друг с другом, на самом же деле они разделены на различные сферы в зависимости от совершенства их внутреннего мира. В этих сферах все различно: и нравы и язык.

В невидимом мире, так же как и в мире реальном, ес-

ли какой-нибудь обитатель низшей сферы достигнет, не будучи достойным, высшего круга, он не только не понимает ни его привычек, ни бесед, но его присутствие парализует голоса и сердца высших существ. В «*Божественной комедии*» у Данте, быть может, была какая-то смутная интуиция этих сфер, которые начинаются в мире скорбей и поднимаются кольцеобразным движением до самых небес. Доктрина Сведенборга является созданием просветленного духа, рассказавшего о бесчисленных формах, в которых ангелы появляются среди людей.

Эту доктрину, которую я сегодня пытаюсь резюмировать, придав ей логический смысл, Ламбер изложил мне как обольстительное откровение, окутанное пеленой особой фразеологии, свойственной мифологам: туманные фразы, переполненные абстракциями, так же сильно воздействующими на мозг, как некоторые книги Якоба Бёме, Сведенборга или госпожи Гийон, внимательное чтение которых пробуждает фантазии, многообразные, как мечты, порожденные опиумом. Ламбер рассказывал мне о таких странных мистических явлениях, так сильно поражал мое воображение, что у меня кружилась голова. Тем не менее я любил погружаться в этот таинственный, не постижимый для внешних чувств мир, в котором всем нравится жить, уносясь воображением или в неясные дали будущего, или в магические области сказки. Эти страстные отклики души на пережитые ею же впечатления, помимо моей воли, убеждали меня, насколько она сильна, и приучали к углубленному мышлению.

Что же касается Ламбера, он объяснял все своей теорией ангелов. Для него чистая любовь, такая любовь, о которой мечтают в юности, была встречей двух ангельских натур. Поэтому ничто не могло сравниться с тем пылом, с каким он мечтал встретить ангела-женщину. Кто лучше, чем он, мог внушить и чувствовать любовь? Что может дать представление об изумительной чувствительности, если не милая естественность и отпечаток доброты в его чувствах, словах, действиях, в каждом незначительном жесте, наконец, во взаимопонимании, которое связывало нас друг с другом и которое мы выражали, называя друг друга «фезанами». Не существовало никакого различия в том, что исходило от него и что исходило от меня. Мы взаимно копировали почерки, чтобы один

мог делать урок за двоих. Когда один из нас заканчивал книгу, которую мы должны были вернуть учителю математики, он мог читать ее без всякой помехи в то время, как другой выполнял за него и урок и «пенсум». Мы делали уроки, точно платили налог, обеспечивающий спокойное существование. Если мне не изменяет память, когда их делал Ламбер, они часто были выполнены с исключительным совершенством. Но так как нас обоих считали за идиотов, то учитель проверял наши работы под влиянием рокового предубеждения и даже приберегал их, чтобы развлекать ими наших товарищей. Я вспоминаю, что однажды вечером, когда кончался урок, который длился от двух до четырех, учитель взял перевод Ламбера. Текст начинался: *Caius Gracchus, vir nobilis* [1]. Луи перевел: *у Кайя Гракха было благородное сердце.*

— Где вы видите «сердце» в слове *nobilis?* — резко сказал учитель.

И все рассмеялись, в то время как Ламбер ошеломленно глядел на учителя.

— Что скажет госпожа баронесса де Сталь, узнав, что вы при переводе искажаете смысл слова, которое обозначает благородный род, патрицианское происхождение?

— Она скажет, что вы глупец! — вполголоса ответил я.

— Господин поэт, вы на восемь дней отправитесь в карцер,— ответил учитель, который, к несчастью, меня услышал.

Бросив на меня невыразимо нежный взгляд, Ламбер тихо повторил:

— *Vir nobilis.*

Именно госпожа де Сталь часто являлась источником несчастий Ламбера. По всякому поводу и учителя и ученики бросали ему в лицо это имя то с иронией, то с упреком. Луи сразу же постарался попасть в карцер, чтобы составить мне компанию. Там мы были свободнее, чем где бы то ни было, и могли разговаривать целыми днями. В молчаливых дортуарах у каждого ученика была ниша в шесть квадратных футов, на перегородках вверху были устроены решетки, и дверь с просветами запиралась каждый вечер и открывалась каждое утро под

---

[1] Кай Гракх, благородный муж *(лат.)*.

наблюдением отца-надзирателя, который был обязан присутствовать при нашем утреннем подъеме и при отходе ко сну. Слуги дортуаров необычайно быстро открывали двери, и скрип этих дверей был тоже одной из особенностей коллежа. Таким образом устроенные альковы служили нам карцерами, где нас иногда держали целыми месяцами. За учениками, помещенными в клетку, наблюдал острый взгляд начальника, надзирателя, который легким шагом приходил и в определенные часы и неожиданно, чтобы проследить, не болтаем ли мы вместо того, чтобы выполнять свои «пенсумы». Но ореховая скорлупа, разбросанная по лестницам, тонкость нашего слуха позволяли нам всегда предвидеть приход надзирателя, и мы могли без всякой помехи отдаваться своим любимым занятиям. Так как чтение нам было запрещено, часы карцера обычно отдавались метафизическим дискуссиям или рассказам о кое-каких любопытных случаях, относившихся к чудесным проявлениям мысли.

Я хочу рассказать один из самых удивительных фактов не только потому, что он относится к Ламберу, но еще и потому, что этот факт решил его научную судьбу. Согласно обычным правилам коллежей, воскресенье и четверг были днями отдыха; но церковные службы, на которых мы обязаны были присутствовать, так заполняли воскресенья, что мы считали четверг нашим единственным праздничным днем.

Прослушав мессу, мы могли располагать временем для долгих прогулок по полям, в окрестностях Вандома. Замок Рошамбо был излюбленнейшим местом для наших экскурсий, может быть, потому, что находился далеко. Младшие редко совершали такую утомительную прогулку; все же учителя раз или два в год предлагали нам поход в Рошамбо в качестве награды. В 1812 году, весной, мы должны были пойти туда в первый раз. Желание видеть знаменитый замок Рошамбо, хозяин которого давал иногда ученикам молока, заставило всех нас вести себя примерно. Итак, ничто не помешало прогулке. Ни я, ни Ламбер не знали долины Луара, где было построено это здание. Поэтому и его и мое воображение было еще накануне весьма возбуждено предстоящей прогулкой, которой обычно радовались в коллеже. Мы говорили о ней весь вечер и собирались истратить на фрукты и молочные

продукты деньги, которые нам удавалось приберечь вопреки вандомским законам. На другой день после обеда, в половине первого, мы отправились, получив по кубическому куску хлеба, предназначавшемуся для полдника. Потом легкие, как ласточки, мы шли толпой к знаменитому замку с таким пылом, что долго не чувствовали усталости. Когда мы взобрались на холм, откуда можно было любоваться замком, расположенным на середине склона, и извилистой долиной, где сверкала река, извиваясь, как змея, по красиво закругленной лужайке, и изумительным пейзажем, исполненным невыразимого очарования, одним из тех, с которыми связываются яркие воспоминания юности или любви и которые позже не следует пытаться увидеть снова, Луи Ламбер сказал мне:

— Но я видел все это сегодня ночью во сне!

Он узнал и группу деревьев, под которыми мы остановились, расположение рощи, цвет речной воды, башню замка, неровности почвы, далекие просторы, наконец, все детали этого пейзажа, который сегодня он видел в первый раз. И он и я — мы, конечно, были детьми; я-то безусловно: ведь мне не было еще тринадцати; в пятнадцать лет Луи мог мыслить глубоко, как истинный гений, но, во всяком случае, в эту эпоху наша дружба была так сильна, что мы не могли лгать друг другу даже в мелочах. Если Ламбер предчувствовал благодаря всемогуществу своей мысли значение фактов, он был далек от того, чтобы оценить их во всем объеме; так что сначала он просто удивился. Я спросил его, не ездил ли он в Рошамбо в детстве. Мой вопрос поразил его, но, проверив свои воспоминания, он ответил отрицательно. Этот случай, аналогичные которому можно найти в снах многих людей, дает возможность понять первые пробудившиеся способности Ламбера; действительно, он сумел вывести из этого настоящую систему; вооружившись обрывком мысли, он построил целую теорию, как сделал Кювье совсем в другой области.

Мы уселись под старым дубом. После нескольких минут размышления Луи сказал:

— Если пейзаж не пришел ко мне, что было бы нелепо думать, значит, я приходил сюда. Если же я был здесь в то время, когда спал у себя в алькове, разве это не доказывает полнейшее отделение моего внутреннего

«я» от моего тела? Разве это не свидетельствует о какой-то способности духа к передвижению или о духовных явлениях, соответствующих передвижению тела? Если же мой дух и мое тело могли разделиться во время сна, почему я не могу отделить их совершенно так же во время бодрствования? Я не вижу никакого компромиссного решения для этих двух положений. Но пойдем дальше, исследуем детали. Или все эти факты свершились благодаря силе, приводящей в движение другое существо, для которого мое тело служит футляром, потому что я лежал в алькове и в то же время видел пейзаж,— а это опрокидывает множество систем; или этот факт произошел в каком-нибудь нервном центре, где бушуют чувства, но название которого еще надлежит узнать, или в том мозговом центре, где кипят идеи. Эта последняя гипотеза приводит к весьма странным вопросам. Я ходил, я видел, я слышал. Движение нельзя мыслить без пространства, звук действует только в углах и на поверхностях, а окраска не ощущается без света. Если ночью, с закрытыми глазами я видел в самом себе окрашенные предметы, если я слышал шум в абсолютной тишине и без тех обязательных условий, при которых он формируется, если, будучи совершенно неподвижен, я преодолел расстояние, значит, у нас есть духовные способности, независимые от внешних физических чувств. Неужели дух может проникнуть в материальную природу? Почему же люди так мало размышляли до сих пор о событиях во сне, доказывающих, что человек живет двойной жизнью? Разве в этом явлении не заключается новой науки?— прибавил он, сильно хлопая себя по лбу. — Но если это явление не может быть положено в основу новой науки, то оно, несомненно, свидетельствует об огромных возможностях человека и, во всяком случае, показывает, насколько часто совершается разъединение наших двух существ, факт, над которым я так давно бьюсь. Я нашел, наконец, свидетельство превосходства, отличающего наши скрытые чувства от явных. Homo duplex! [1] Но,— сказал он после паузы, выражая сомнение бессознательным жестом,— может быть, в нас и нет двойной природы? Быть может, мы просто одарены внутренними качества-

[1] Двойственный человек *(лат.)*.

ми, могущими совершенствоваться, упражнение и развитие которых дает нам возможность активности, проникновения, видения вещей, которые еще не были в поле нашего зрения? Одержимые любовью к чудесному, страстью, порожденной нашей гордыней, мы превратили эти явления в поэтическое творчество, потому что мы их не понимаем. Так легко обожествлять непонятное! Ах! Признаюсь, я бы оплакивал потерю моих иллюзий. У меня потребность верить в двойственность человеческой природы и в ангелов Сведенборга! Неужели это новое знание их убьет? Да, исследование наших неведомых способностей предполагает, казалось бы, материалистическую науку, ибо *дух* употребляет, разделяет, воодушевляет субстанцию, но он не может ее разрушить.

Луи грустно задумался и замолчал. Быть может, юношеские мечты казались ему пеленками, от которых скоро придется освободиться.

— Зрение и слух,— несомненно, только футляры для чудесных инструментов,— сказал он, смеясь над собственным выражением.

В те мгновения, когда он мне говорил о рае и аде, он обычно рассматривал природу как властелин, но, произнося эти последние слова, насыщенные знанием, он смелее, чем всегда, парил над окрестностью, и его лоб, казалось мне, разрывался от напора его духовных сил; силы эти, которые следует называть духовными до какого-либо нового обозначения, казалось, вырывались через органы, предназначенные для их проявления: его глаза излучали мысль, его поднятая рука, его сомкнутые дрожащие губы говорили, его горящий взгляд излучал сияние. Он уронил внезапно отяжелевшую голову на грудь, точно устал от слишком бурного порыва. Этот ребенок, этот богатырь сгорбился, целиком захваченный лихорадочным стремлением к истине, взял меня за руку, сжал ее своей влажной рукой и после паузы сказал:

— Я буду знаменит! И ты тоже,— быстро прибавил он.— Мы оба создадим химию воли.

Какое благородное сердце! Я признавал его превосходство, но он всячески старался никогда не дать мне его почувствовать. Он делился со мной сокровищами своей мысли, считал моей какую-то часть своих собственных открытий и оставлял мне в полную собственность мои

ничтожные соображения. Всегда ласковый, как любящая женщина, он проявлял свои чувства стыдливо, с той душевной деликатностью, которая делает жизнь блаженной и легкой.

На следующий же день он начал работу, которую назвал *«Трактат о воле»*. Однако его размышления часто изменяли и план и метод произведения. Но события этого торжественного дня, несомненно, стали его зародышем; точно так же у Месмера ощущение электрического тока при соприкосновении с пружиной стало основой открытий в магнетизме — науке, некогда скрытой в глубине таинственного культа Изиды, Дельфийского храма, пещеры Трофония и снова обретенной этим изумительным человеком непосредственно перед Лафатером, предшественником Галля. Освещенные внезапным светом, идеи Ламбера приняли более грандиозные пропорции; он разобрался в открытых им отдельных истинах и объяснил их; потом, как литейщик, он сплавил их воедино. После шести месяцев упорного труда работы Ламбера возбудили любопытство наших товарищей и стали предметом жестоких насмешек, приведших к роковым последствиям.

Однажды один из наших преследователей, пожелавший непременно увидеть наши рукописи, подбив еще и других мучителей, насильно завладел ящичком, где лежало сокровище, которое мы оба, и я и Ламбер, защищали с беспримерной храбростью. Ящик был заперт, и наши враги не смогли его открыть; но они попытались сломать его во время сражения; эта черная злоба заставила нас поднять громкий крик. Несколько товарищей, воодушевленные чувством справедливости или пораженные нашей героической защитой, советовали оставить нас в покое, подавляя своей назойливой жалостью. Внезапно, привлеченный шумом битвы, вмешался отец Огу, заинтересовавшись причиной спора. Наши противники отвлекли нас от наших «пенсумов», учитель пришел защитить своих рабов. Чтобы оправдать себя, нападающие сослались на существование рукописей. Неумолимый Огу приказал отдать ему ящик; если бы мы стали сопротивляться, он, пожалуй, велел бы разбить его, Ламбер отдал ему ключ, учитель взял бумаги, перелистал их, потом сказал нам, забирая их себе:

— Так вот та ерунда, из-за которой вы пренебрегаете своими обязанностями!

Крупные слезы покатились из глаз Ламбера; он плакал отчасти от унижения своего нравственного достоинства, отчасти от беспричинной обиды и угнетавшего нас предательства. Мы бросили на наших обвинителей укоряющий взгляд: ведь они предали нас общему врагу! Если они могли, согласно ученическому кодексу, бить нас, разве они не должны были молчать о наших проступках? Поэтому несколько минут им было стыдно собственной подлости. Отец Огу, по всей вероятности, продал рукопись *«Трактата о воле»* вандомскому лавочнику, не поняв важности научных сокровищ, неоформленные зародыши которых разошлись по рукам невежд.

Через шесть месяцев после этого я покинул коллеж. Не знаю, возобновил ли свою работу Ламбер, которого наша разлука повергла в черную меланхолию. В память этой катастрофы, происшедшей с книгой Луи, я использовал для начала своих исследований и для совершенно вымышленной истории название, придуманное Ламбером, и дал имя дорогой ему женщины молодой самоотверженной девушке; но это не единственное заимствование, которое я у него сделал: его характер, его занятия были мне очень полезны для этого сочинения, сюжет которого возник как воспоминание о размышлениях нашей юности.

Эта история написана с целью воздвигнуть скромный памятник тому, кто завещал мне все сокровища своей мысли. В своем детском труде Ламбер развил идеи взрослого человека. Десять лет спустя, встретившись с несколькими учеными, серьезно занимавшимися поразившими нас явлениями, которые Ламбер так чудесно проанализировал, я понял важность этих работ, забытых, как детская забава. Я провел много месяцев, вспоминая основные открытия моего бедного товарища. Собрав свои воспоминания, я могу утверждать, что еще в 1812 году он в своем трактате установил путем догадки и подверг обсуждению множество важных фактов, доказательства которых, по его словам, должны были рано или поздно обнаружиться. Его философские рассуждения, несомненно, давали возможность причислить его к великим мыслителям, появлявшимся через различные

промежутки времени среди людей, чтобы открыть им в первоначальном виде принципы будущей науки, корни которой растут медленно, но затем приносят прекрасные плоды в мире разума. Так, бедный ремесленник Бернар, копавший землю, чтобы найти тайну эмали, утверждал в XVI веке с непререкаемым авторитетом гения геологические истины, доказательство которых создало в наши дни славу Бюффона и Кювье. Я надеюсь дать кое-какое представление о трактате Ламбера с помощью некоторых важнейших положений, составляющих его основу; но помимо своей воли я должен освободить их от тех идей, которыми окружил их Ламбер и которые были для них необходимыми спутниками. Так как я шел иными путями, я брал из его исследований только те, которые лучше всего помогали моей системе. Я только его ученик и не знаю, смогу ли точно передать его мысли, потому что я их ассимилировал и таким образом придал им свою собственную окраску.

Для новых идей нужны были новые слова или расширенное, распространенное, даже лучше сказать — утонченное значение их. Чтобы показать основу своей системы, Ламбер выбрал несколько обыденных слов, смутно выражавших его мысль. Слово *воля* определяло для него среду, где развивается мысль, или, если выразиться менее абстрактно, сгусток силы, с помощью которой человек может производить за пределами самого себя те действия, которые составляют его внешнюю жизнь. «Воление» — слово, заимствованное из рассуждений Локка, обозначало тот акт, с помощью которого человек выражает свою *«волю»*. Слово *мысль* было для Ламбера существеннейшим продуктом воли, но выражало также *среду, где родятся идеи*, для которых она служит субстанцией. *Идея* — общее название для всех действий мозга — выражало акт, с помощью которого человек использует способность мыслить. Итак, *воля*, *мысль* обозначали творческие возможности; *воление*, *идея* являлись двумя производными. Воление казалось ему идеей, которая из абстрактной стадии перешла в конкретную, из своего жидкого состояния — в почти твердое, если только этими словами можно сформулировать суждения о вещах, которые так трудно разграничить. По его мнению, *мысль* и *идеи* — это движения и действия нашего духовного

организма, так же как *воление* и *воля* представляют проявление внешней жизни.

Он считал, что *воля* первична, а *мысль* следует за ней; чтобы думать, надо хотеть, говорил он. Много живых существ живет на стадии *воли*, не доходя до стадии *мысли*. На севере — долговечность, на юге — кратковременность жизни; но так же на севере — оцепенение, на юге — непрестанное возбуждение воли, до того климатического пояса, где от излишнего холода или от излишней жары органы почти парализуются.

Своеобразное понятие *среды* было подсказано ему одним наблюдением, сделанным в детстве; он не подозревал его важности, но странность его должна была поразить утонченно-чувствительное воображение Луи. Его мать, хрупкая и нервная, очень нежная и любящая, была одним из тех созданий, в котором воплотилась женщина во всем совершенстве ее качеств, хотя судьба по ошибке бросила ее на дно общества. Воплощение любви, она все выстрадала и умерла молодой, всю себя отдав материнскому чувству. Ламбер, шестилетний мальчик, спал в большой колыбели около материнской кровати, но засыпал не всегда сразу и видел, как электрические искры срывались с ее волос, когда она их расчесывала. Пятнадцатилетний человек использовал для науки этот факт, который ребенку казался игрой, факт тем более неопровержимый, что этим свойством обладают почти все женщины, чья судьба трагична и непризнанные чувства стремятся себя выразить, а избыток сил — вырваться наружу.

В подтверждение своих определений Ламбер выставил в качестве великолепного вызова науке много требующих решения проблем, разрешения которых он предполагал найти, спрашивая самого себя: не входит ли принцип, рождающий электричество, как основа в тот особый флюид, откуда появляются наши идеи и наши воления? Не образуют ли волосы, которые обесцвечиваются, светлеют, падают, исчезают, в зависимости от различных ступеней рассеяния или кристаллизации мыслей, некую систему сосудов, то поглощающих, то выделяющих и движимых электрической силой? Являются ли токи нашей воли субстанцией, возникающей в нас и внезапно начинающей действовать под влиянием еще не подвергшихся наблюдению причин, и являются ли они более необычными, чем

те токи, которые создает невидимый, неощутимый флюид или вольтов столб, воздействующий на нервную систему мертвеца? Формирование наших идей и их постоянное проявление, быть может, менее непонятны, чем испарения невидимых, но необыкновенно энергично действующих частиц, например мускусного зерна, которое как будто теряет их, но не уменьшается в весе. А если кожный покров нашей телесной оболочки имеет только защитные функции, только поглощает, только выделяет пот, реагирует на ощущения, то кровообращение и его аппарат, возможно, способствуют передаче волевых импульсов, как циркуляция нервного флюида способствует движению мысли. И, наконец, не является ли более или менее энергичный приток этих двух реальных субстанций результатом большего или меньшего совершенства в устройстве органов тела, устройстве, которое надлежит изучить всесторонне?

Установив эти принципы, он хотел разделить явления человеческой жизни на две серии различных моментов и настойчиво, с пламенной убежденностью требовал для каждой из них специального анализа. Действительно, проследив почти у всех существ два отличных друг от друга ряда изменений, он изображал их, даже просто принимал их как природную сущность и называл этот жизненный антагонизм: *действие* и *противодействие*.

— Желание,— говорил он,— это факт, целиком осуществляемый нашей волей, прежде чем он будет осуществлен во внешнем мире.

Таким образом, все наши воления и все наши идеи составляют *действие*, а вся сумма наших внешних проявлений — *противодействие*.

Позже, когда я прочел о сделанных Биша наблюдениях над дуализмом наших внешних чувств, я был точно оглушен воспоминаниями, увидев поразительное совпадение между идеями этого знаменитого физиолога и идеями Ламбера. Оба они умерли преждевременно, но оба одинаково шли к каким-то истинам. Склонность природы давать двойное назначение различным созидающим органам своих творений и двойное действие нашего организма, что в настоящее время является бесспорным фактом, обоснованным рядом ежедневно повторяющихся доказательств, подтверждает выводы Ламбера относительно *действия* и *противодействия*. Он обозначал понятие

неведомого существа, действенного или внутреннего термином Species [1], под которым подразумевалось таинственное единство волокон, определяющее зависимость различных возможностей мысли и воли, еще недостаточно исследованных; наконец, это неназванное существо, способное видеть, действовать, доводить все до конца, осуществлять все, прежде чем возникнут какие-нибудь материальные признаки, оно, чтобы соответствовать своей природе, не должно подчиняться ни одному из тех физических условий, с помощью которых существо противодействующее или внешнее—видимый человек—ограничено в своих проявлениях. Отсюда вытекало множество логических объяснений относительно самых странных по виду проявлений двойственности нашей природы и ряд поправок ко многим системам, одновременно правильным и ложным. Некоторые люди, заметив кое-какие явления естественной игры *«двойственного существа»*, были, как Сведенборг, увлечены за пределы действительного мира своей пылкой душой, влюбленной в поэзию, опьяненной божественным началом. И всем, не понимающим причин, восхищенным следствиями, хотелось обожествить этот внутренний орган, построить мистический мир. Отсюда и ангелы! Пленительная иллюзия, от которой не хотел отказаться Ламбер; он любовался этими ангелами даже в тот момент, когда меч его анализа обрезал их ослепительные крылья.

— Рай,— говорил он мне,— в конце концов только *потустороннее* существование наших усовершенствованных способностей, а *ад* — небытие, в котором исчезают качества несовершенные.

В те века, когда познание подчинялось религиозным и спиритуалистическим впечатлениям, господствовавшим в промежутке между Христом и Декартом, между верой и сомнением, можно ли было удержаться от объяснения нашей внутренней природы иначе, как божественным вмешательством? У кого же, как не у самого бога, ученые могли искать объяснения невидимому существу, столь действенно и противоречиво чувствительному, наделенному такими многогранными свойствами, способными совершенствоваться под влиянием обычаев, и столь мо-

---

[1] Образ, существо *(лат.)*.

гущественному под властью определенных оккультных условий, что временами оно с помощью видений и передвижений уничтожало расстояние в обоих аспектах пространства и времени, из которых одно — это расстояние умственное, а другое — расстояние физическое? Это существо обладало способностью реконструировать прошлое, проникая в него взглядом или таинственно воскрешая его, что похоже на способность человека узнавать по очертаниям, оболочке, зародышу зерна прежнее цветение растения с бесчисленным разнообразием оттенков, ароматов и форм; оно же, хотя и не совсем точно, могло догадываться о будущем то с помощью изучения первопричин, то благодаря физическому предчувствию.

Другие люди, менее поэтически религиозные, холодные и рассудочные, даже, может быть, шарлатаны, энтузиасты не столько сердцем, сколько разумом, признавая некоторые отдельные явления, считали их бесспорными, но не рассматривали как излучения из одного общего центра. Каждый из них хотел создать из простого отдельного факта науку. Отсюда и произошли демонология, астрология, колдовство, гадание, основанные на случаях, по существу, неопределенных, потому что они изменяются в зависимости от темпераментов, смотря по обстоятельствам, еще совершенно не изученным. Но так же из этих научных ошибок и из церковных процессов, в которых благодаря своим собственным способностям погибло столько мучеников, возникли блестящие доказательства чудесного могущества, которым располагает *действенное существо* и которое, по мысли Ламбера, может полностью изолироваться от *существа противодействующего*, разбить его оболочку, разрушить стены, ограничивающие его всемогущее зрение. Это явление, по словам миссионеров, индусы называют tokeïade; потом действенное существо с помощью других способностей может различить в мозгу, несмотря на его самые плотные извилины, идеи, которые там формируются или сформировались, и весь пройденный сознанием путь.

— Если видения возможны,— говорил Ламбер,— они должны происходить благодаря способности постигать идеи, изображающие человека в его чистой субстанции, жизнь которого, быть может, неразрушимая, непостижима для наших внешних чувств, но может сделаться ощу-

тимой для внутреннего существа, когда оно доходит до высокой ступени экстаза или до полного совершенства ви́дения.

Я знаю, но теперь уже смутно, что, следуя шаг за шагом за результатами мысли и воли во всех их разновидностях, установив их законы, Ламбер отдал себе отчет во множестве явлений, которые до сих пор справедливо считались непонятными. Таким образом, колдуны, одержимые, люди двойного зрения и всякого рода демонические натуры, жертвы эпохи средневековья оказывались предметом такого естественного объяснения, что зачастую сама простота его представлялась мне залогом истины. Удивительные способности, за которые ревнивая к чудесам римско-католическая церковь карала костром, были, по мнению Луи, результатом некоторого родства между основополагающими началами материи и мысли, происходящими из одного источника. Человек с ореховой палочкой в руке, найдя родниковую воду, подчинялся какому-то непонятному ему самому притяжению или отталкиванию; и именно необычность таких явлений обеспечила некоторым из них историческую достоверность. Таинственные притяжения наблюдались очень редко. Они выражаются в удовольствии, о которых редко говорят люди, счастливые, что одарены ими, упоминая о них разве только вследствие какой-нибудь необычайной странности данного случая, всегда тайно, в совершенно интимной обстановке, где все забывается. Но отталкивание возникает, если имеется нарушенное сродство, и его всегда уда́чно подмечали, когда дело шло о знаменитых людях. Так, у Бейля начинались конвульсии, когда он слышал, что вода бьет ключом. Скалигер бледнел при виде кресса. У Эразма от запаха рыбы поднималась температура. Эти три случая отталкивания вызывались водяными субстанциями. Герцог д'Эпернон падал в обморок при виде зайчонка, Тихо де Браге — лисицы, Генрих III—кошки, маршал д'Альбер—поросенка; все эти отталкивания были порождены животными испарениями, ощущаемыми часто на огромных расстояниях. Кавалер де Гиз, Мария Медичи и многие другие чувствовали себя плохо при виде всякой розы, даже нарисованной. Канцлеру Бэкону становилось дурно во время затмения луны, независимо от того, знал он или не знал, что оно проис-

ходит; и все время, пока оно продолжалось, его жизнь была в опасности, но он выздоравливал сразу, как только оно кончалось, и затем уже не чувствовал ни малейшего недомогания. Этих достоверных явлений отталкивания, выбранных из числа тех, которые случайно отмечены историей, достаточно, чтобы понять явления неведомых симпатий. Отрывок трактата, который я вспомнил из многочисленных заметок Ламбера, может дать представление о методе, каким он пользовался в своих произведениях. Я не считаю необходимым настаивать на связи с этой теорией сходных наук, изобретенных Галлем и Лафатером; они были ее естественным следствием, и всякий человек, слегка знакомый с наукой, заметит ответвления, которыми соединялись с нею френологические наблюдения одного и физиогномические документы другого. Открытие Месмера, столь важное и до сих пор еще недостаточно оцененное, могло уложиться целиком в развитии положений трактата Луи, хотя он и не был знаком с произведениями, кстати сказать, весьма сжато изложенными, знаменитого швейцарского врача. Простые логические выводы этих принципов заставили Ламбера признать, что с помощью сжатия внутреннего существа воля может сконцентрироваться, потом обратным движением быть выброшенной наружу и даже передаться материальным предметам. Таким образом, вся сила одного человека имеет возможность действовать на других, пронизывать их сущностью, чуждой их собственной, если они не защищаются от этого нападения. Свидетельства этой теоремы человеческого знания с необходимостью становятся все многочисленнее, но ничто не может доказать их подлинность. Нужны были или громкая катастрофа Мария и его обращение к Кимвру, который должен был его убить, или торжественный приказ некой матери флорентийскому льву, чтобы некоторые молниеносные удары мысли стали известны как исторические факты. Для Ламбера воля, мысль были *живыми силами*; и говорил он о них так, что вы начинали разделять его верования. Для него эти силы были в каком-то плане и видимы и ощутимы, мысль была медленной или быстрой, тяжелой или подвижной, ясной или темной; он приписывал ей все качества действующих существ, заставляя ее подниматься, отдыхать, пробуждаться, увели-

чиваться, стареть, сжиматься, отмирать, оживать; он постигал ее жизнь, определяя все ее действия необычными словами нашего языка, он констатировал внезапность, силу и другие качества с помощью особой интуиции, которая давала ему возможность распознать все явления этой субстанции.

— Часто среди спокойствия и молчания,— говорил он мне,— когда наши внутренние способности уснули, когда мы отдаемся блаженству отдыха, когда в нас все точно покрывается тьмой и мы погружаемся в созерцание внешнего мира, внезапно вырывается какая-то идея, с быстротой молнии проносится по бесконечным пространствам, понятие о которых нам дает наше внутреннее зрение. Эта блестящая идея, возникшая как блуждающий огонек, исчезает бесследно, ее существование так же эфемерно, как жизнь тех детей, которые приносят родителям и бесконечную радость и бесконечное горе; они похожи на мертворожденные цветы на равнинах мысли. Иногда идея вместо того, чтобы вырваться из нас с силой и умереть невоплощенной, начинает оформляться, колеблется в неизвестных туманностях тех органов, которые дали ей жизнь; она терзает нас длительными родами, развивается, делается плодовитой, вырастает во внешнем мире во всей прелести своей юности, украшенная всеми признаками долгой жизни; она выдерживает самые любопытные взгляды, привлекает их, никогда не утомляет; она требует обдумывания и вызывает восторг, как всякое тщательно обработанное произведение. Иногда идеи рождаются целыми роями, одна ведет за собой другую, они образуют некую цепь, они тревожат нас, они кишат, они словно охвачены безумием. То они поднимаются бледные, смутные, гибнут оттого, что им не хватает питания и силы, не хватает жизненной субстанции. То в какие-то особые дни они мчатся в бездну, чтобы осветить безмерные глубины; они пугают нас и подавляют нашу душу. Идеи образуют внутри нас целую систему, похожую на одно из царств природы, нечто вроде флоры, чья иконография будет составлена гением, которого, быть может, примут за безумца. Да, все и в нас и во внешней жизни свидетельствует о существовании чудесных созданий, которые я сравниваю с цветами, повинующимися неизвестно каким откровениям своей природы! Их дея-

тельность, как самое существенное в человеке, не более удивительна, чем аромат и окраска в растениях. Может быть, ароматы тоже идеи! Если считать, что линия, где кончается мясо и начинается ноготь, заключает в себе необъяснимую невидимую тайну непрерывных превращений наших флюидов в роговицу, нужно признать, что нет ничего невозможного в чудесных изменениях человеческой субстанции. Но разве не бывает в нравственном мире явлений движения и притяжения, похожих на их физические соответствия? Можно взять, например, *ожидание*, которое могут ярко переживать все, оно становится таким тягостным только благодаря закону, по которому тяжесть всякого тела увеличивается в зависимости от скорости. Разве тяжесть чувства, которое порождает ожидание, не увеличивается непрерывным присоединением пережитых страданий к скорби данного момента? Наконец, чему, как не электрической субстанции, можно приписать магическое действие, с помощью которого воля властно сосредоточивается во взгляде, чтобы по приказу гения испепелить препятствия, звучит в голосе или просачивается, несмотря на лицемерие, сквозь человеческую оболочку? Поток этого властелина флюидов, который под высоким давлением мысли или чувства растекается волнами или иссякает, становится тоненькой струйкой, потом собирается, чтобы вновь разрядиться стрелами молний,— он и является оккультным орудием, которому мы обязаны либо гибельными или благодетельными усилиями искусств и страстей, либо грубыми, ласковыми, устрашающими, сладострастными, раздражающими, обольстительными интонациями голоса, вибрирующими в сердце, во внутренностях или в мозгу, в зависимости от наших желаний; либо всеми возможностями осязания — источником движений мысли, управляющих творческими руками стольких художников, которым после бесчисленных, сделанных со страстным волнением набросков удается воссоздать природу; либо, наконец, бесконечным разнообразием взглядов, от бесцветного и бездейственного до сверкающего и способного устрашать. В этой системе никакие права бога не ущемляются. Материальная мысль раскрыла мне в нем новое величие!

Выслушав все его слова, приняв в душу его взгляд,

как некое озарение, я не мог не принять с восторгом его убеждений, не мог не увлечься ходом его мыслей. Таким образом, *мысль* появлялась предо мной, как совершенно физическая сила в сопровождении своих бесчисленных порождений. Она была новой человечностью, выражавшейся в новой форме. Простого обзора законов, которые Ламбер считал формулой нашего мышления, вполне достаточно, чтобы вообразить чудодейственную активность, с какой его душа поглощала самое себя. Луи искал доказательств своим принципам в истории великих людей, жизнь которых, рассказанная нам биографами, дает ряд любопытных деталей насчет того, насколько действенной могла быть их мысль. Его память дала ему возможность вспомнить те факты, которые могли помочь развитию его утверждений. Он разместил их в тех главах, где они могли служить примерами, и, таким образом, многие из его изречений приобретали характер почти математической достоверности. Произведения Кардано, человека, обладавшего удивительной силой прозрения, дали ему драгоценный материал. Он не забыл ни Аполлония Тианского, предсказавшего в Азии смерть тирана и описывавшего его муки в тот самый момент, когда все это происходило в Риме, ни Плотина, который почувствовал, что Порфирий собирается убить себя, и прибежал к нему, чтобы отговорить его, ни факта, отмеченного в предыдущем (XVIII) столетии при господстве самого язвительного неверия, какое только можно встретить, факта, потрясающего людей, привыкших делать из сомнения оружие против него же самого, но совершенно простого для некоторых верующих: Альфонс-Мария де Лигуори, епископ Святой Агаты, дал последнее напутствие папе Ганганелли, который его видел, слышал и отвечал ему; а в то же время, на очень большом расстоянии от Рима, у себя дома, в кресле, где он обычно сидел, возвратившись после церковной службы, епископ был погружен в экстаз. Вернувшись к обычной жизни, он увидел, что все слуги стоят вокруг него на коленях, считая его мертвым. «Друзья мои,— сказал он им,— святой отец только что испустил дух». Через два дня прибывший курьер подтвердил эту новость. Час смерти папы совпал с тем часом, когда епископ пришел в себя. Ламбер не пропустил и одного приключения, еще более близкого

по времени, случившегося в последнем столетии с молодой англичанкой, которая, страстно любя одного моряка, отправилась к нему из Лондона и нашла его одного, без проводника, в пустыне Северной Америки, где очутилась как раз вовремя, чтобы спасти ему жизнь. Луи использовал мистерии античности, деяния святых мучеников, в которых он нашел самые прославленные примеры силы человеческой воли, демонологию средних веков, криминальные процессы, медицинские исследования, с изумительной проницательностью отыскивая повсюду истинные происшествия, вероятные явления. Эта богатая коллекция научно обоснованных фактов, выбранных из огромного количества книг, в большинстве случаев достойных доверия, несомненно, была употреблена на бумажные пакеты; и этому труду, по меньшей мере любопытному, порожденному самой удивительной человеческой памятью, суждено было погибнуть. Среди доказательств, обогащавших труд Ламбера, была одна история, случившаяся в его семье, история, которую он рассказал мне, прежде чем начал писать свой трактат. Этот факт, относящийся к «запредельному бытию» внутреннего существа,— если я могу позволить себе выковать новое слово, чтобы обозначить еще не названное явление,— поразил меня так сильно, что я все запомнил. Отец и мать Ламбера должны были вести процесс, проигрыш которого мог запятнать их честь, единственное сокровище, которым они обладали в жизни. Они были в величайшем страхе, когда шел вопрос о том, придется ли уступить несправедливым требованиям истца, или удастся защититься от его домогательств. Совещание произошло осенней ночью у очага, топившегося торфом, в комнате дубильщика и его жены. На это совещание были приглашены двоетрое родственников и прадед Луи со стороны матери, старик рабочий, совсем дряхлый, но со строгим и величественным выражением лица, светлыми глазами и редкими прядями седых волос, еще сохранившихся на пожелтевшем от старости черепе. Подобно «оби» у негров или «сагаморы» у дикарей, он был чем-то вроде оракула, с которым советовались в исключительно важных случаях. Его владения обрабатывались внуками, которые кормили его и ухаживали за ним; он им предсказывал дождь и хорошую погоду и указывал время, когда они должны

были косить или увозить сжатый хлеб. Точность его барометрических указаний стала широко известной и еще больше усилила доверие и уважение, которым его окружали. Он целыми днями неподвижно сидел на стуле. Это состояние экстаза стало для него обычным после смерти жены, к которой у него была самая живая и самая прочная привязанность. Спор шел при нем, и он, казалось, не уделял ему большого внимания.

— Дети мои,— сказал он им, когда его попросили сообщить свое мнение,— это дело слишком серьезное, чтобы я мог решить его один. Мне нужно посоветоваться с женой.

Старик встал, взял свою палку и вышел, оставив всех в полном удивлении и в уверенности, что он впал в детство. Но вскоре он вернулся и сказал:

— Мне не пришлось идти до кладбища, ваша мать шла мне навстречу, я встретил ее у ручья. Она мне сказала, что вы найдете у одного нотариуса в Блуа квитанции, которые дадут вам возможность выиграть процесс.

Эти слова были произнесены твердым голосом. Все поведение и выражение лица деда говорили о том, что такие явления были для него привычны. Действительно, указанные квитанции были найдены, и процесс не состоялся.

Эта история, происшедшая под отчим кровом на глазах Луи, которому тогда было девять лет, во многом способствовала его вере в чудесные видения Сведенборга, давшего в течение своей жизни несколько доказательств могущества призраков, появившихся перед его внутренним существом. Становясь взрослее, по мере того, как развивался его ум, Ламбер должен был искать в законах человеческой природы причин чуда, с детства привлекшего его внимание. Каким именем назвать случай, который собрал вокруг него факты, книги, относящиеся к этим явлениям, и сделал его одновременно и сценой и актером для величайших чудес мысли? Луи имел бы право на славу даже в том случае, если бы он в пятнадцатилетнем возрасте выдвинул только одно-единственное следующее психологическое положение: «События, которые выражают действия человечества и являются продуктом его ума, имеют причины, в которых они предугаданы, как наши действия совершаются в наших мыслях прежде

чем найдут внешнее выражение; предчувствия или пророчества — это первый намек на эти причины»,— и тогда я полагал бы, что нужно оплакивать в его лице потерю гения, равного Паскалю, Лавуазье и Лапласу. Быть может, химерические представления об ангелах слишком долго господствовали над его работами; но разве, стараясь сделать золото, алхимики незаметно для себя не создали химию? И все же, если позже Ламбер изучал сравнительную анатомию, физику, геометрию и другие науки, которые имели связь с его открытиями, у него, несомненно, было намерение собрать факты и сделать анализ их, а это единственный факел, который может провести нас через самые темные и неуловимые области бытия. У него, конечно, было слишком много здравого смысла, чтобы оставаться в тумане теорий, которые можно изложить в нескольких словах. Разве в настоящее время самый простой опыт, опирающийся на факты, не более драгоценен, чем самые прекрасные системы, обоснованные более или менее остроумными доводами? Но так как я не общался с ним в ту эпоху его жизни, когда его размышления были более продуктивными, я могу только предполагать, основываясь на первых его мыслях, как велико было значение его произведений.

Легко понять, в чем была слабость «Трактата о воле». Хотя Ламбер и был одарен качествами, отличающими исключительных людей, он все же был ребенком. Хотя он уже умел отвлеченно мыслить, притом весьма искусно и многообразно, в его уме еще жили пленительные верования, всегда близкие молодым людям. Его концепции приближались к зрелости гения лишь в некоторых пунктах, в подавляющем же большинстве случаев они находились только в зародыше. Для некоторых умов, влюбленных в поэзию, самый большой недостаток Ламбера показался бы обаятельным. В его творении сохранились следы колебаний этой прекрасной души между двумя великими принципами: спиритуализмом и материализмом; сколько мощных гениев переживали эту душевную борьбу, и ни один из них не посмел слить их воедино! Сначала Ламбер был чистым спиритуалистом, но он с необходимостью вынужден был признать материальность мысли. Переубежденный фактами, установленными анализом в тот самый момент, когда его сердце бы-

ло полно нежности к рассеянным облакам в небесах Сведенборга, он еще не находил в себе сил создать целостную, строгую, отлитую воедино систему. Отсюда и возникли некоторые противоречия, проявившиеся даже в беглом очерке, который я пишу о его первых опытах. Хотя его работа не была закончена, не являлась ли она черновиком науки, тайны которой он мог бы исследовать впоследствии, а также утвердить основы, изучить, вывести и связать воедино ее следствия?

Через шесть месяцев после конфискации «Трактата о воле» я покинул коллеж. Наша разлука была внезапной. Моя мать, обеспокоенная тем, что у меня все время держалась повышенная температура, и еще тем, что из-за отсутствия физических упражнений появились признаки коматозного состояния, взяла меня из коллежа, оформив все за четыре-пять часов. При известии о моем отъезде Ламбера охватила жестокая скорбь. Мы спрятались, чтобы поплакать.

— Увижу ли я тебя когда-нибудь? — нежно говорил он мне, сжимая меня в объятиях.— Ты-то будешь жить,— продолжал он,— но я умру. Если я смогу, я явлюсь тебе.

Только молодой человек может произнести подобные слова с выражением такой убежденности, что они воспринимаются как предсказание, как обещание, ужасного исполнения которого следует лишь опасаться. В течение долгого времени меня преследовала неясная мысль об этом обещанном мне явлении. Бывают такие дни хандры, сомнений, ужаса, одиночества, когда я должен гнать от себя воспоминания об этом меланхолическом прощании, которое тем не менее оказалось не последним. Когда я шел через двор к выходу, Ламбер прижался к одному из закрытых решеткой окон столовой, чтобы увидеть, как я буду проходить. По моему желанию, мать получила для Ламбера разрешение пообедать с нами в гостинице. Вечером я, в свою очередь, проводил его до рокового порога коллежа. Никогда любовник и любовница не проливали столько слез при расставании, как мы.

— Прощай же! Я буду один в этой пустыне,— сказал он, показывая двор, где две сотни детей играли и кричали.— Когда я вернусь усталый, полумертвый после долгих путешествий по просторам моей мысли, в чьем сердце найду я отдохновение? Чтобы сказать тебе все,

достаточно было одного взгляда. Кто же теперь поймет меня? Прощай! Лучше бы я никогда не встречал тебя, я бы не узнал многого из того, чего мне теперь будет так недоставать.

— А я,— отвечал я ему,— что будет со мной? Разве мое положение не ужасней? — И прибавил, хлопнув себя по лбу: — У меня здесь нет ничего такого, что могло бы меня утешить.

Он покачал головой изящно и вместе с тем грустно, и мы расстались. В этот момент Луи Ламбер был пяти футов и двух дюймов ростом, и больше он уже не вырос. Его лицо, ставшее особенно выразительным, свидетельствовало о доброте характера. Божественное терпение, развитое дурным обращением, постоянная сосредоточенность, которой требовала созерцательная жизнь, лишила его взгляд той дерзкой гордости, которая нравится в некоторых лицах и в которой наши учителя читали свое осуждение. Теперь на его лице ярко отражались мирные чувства, его пленительную ясность никогда не искажали ирония или насмешка, так как природная доброжелательность Луи смягчала в нем сознание силы и превосходства. У него были красиво очерченные, почти всегда влажные руки. Стройная фигура его могла служить моделью для скульптора, но наша серая, как железо, форма с золотыми пуговицами, короткие штаны придавали нам такой неловкий вид, что совершенство пропорций и мягкость очертаний тела Ламбера можно было увидеть только в бане. Когда мы плавали в нашей купальне на Луаре, тело Луи резко отличалось своей белизной от различных тонов кожи наших товарищей, костеневших от холода, посиневших в воде. Его формы были изящны, позы грациозны, цвет кожи нежный; он не дрожал, выйдя из воды, может быть, потому, что избегал тени и стремился на солнце. Луи был похож на обладающие особой чувствительностью цветы, которые закрывают свои чашечки при малейшем ветерке и желают цвести только под безоблачным небом. Он ел очень мало, пил только воду; кроме того, то ли инстинктивно, то ли следуя своим вкусам, он был скуп на движения, требовавшие затраты сил; его жесты были сдержанны и просты, как у людей Востока или у дикарей, для которых серьезность — состояние естественное. Вообще он не любил ничего, что могло бы в

его поведении показаться изысканным. Он обычно склонял голову налево и так часто сидел облокотясь, что рукава даже новой одежды быстро пронашивались. К этому наброску его портрета я должен прибавить очерк его нравственного облика, так как думаю, что теперь могу судить о нем беспристрастно.

Хотя Луи был религиозен по природе, он не признавал мелочной обрядности римско-католической церкви; его идеи были особенно близки к идеям святой Терезы, Фенелона, многих отцов церкви и некоторых святых, которые в наше время были бы объявлены еретиками и безбожниками. Во время церковной службы он держался безучастно. Он молился порывами, когда испытывал душевный подъем, и эти молитвенные настроения возникали нерегулярно; он полностью отдавался своей природе и не хотел ни молиться, ни думать в определенные часы. Часто в церкви он мог в такой же мере размышлять о боге, как и обдумывать какую-нибудь философскую идею. Иисус Христос был для него самым прекрасным примером его системы. Et Verbum caro factum est[1] казались ему высокими словами, призванными выразить особенно наглядно традиционную формулу Воли, Слова, Действия. Христос не заметил своей смерти, божественными деяниями он довел свое внутреннее существо до такого совершенства, что его бестелесный облик мог появиться перед учениками, наконец, чудеса евангелия, магнетические исцеления Христа и способность говорить на всех языках как бы подтверждали учение Луи Ламбера. Я вспоминаю по этому поводу, как он говорил, что самая прекрасная работа, которую можно написать в наши дни,—это история первых лет церкви. Он никогда не был так поэтичен, как в те моменты, когда во время наших вечерних бесед начинал рассуждать о чудесах, сотворенных силой воли в эпоху великой веры. Он находил самые яркие доказательства своей теории почти во всех историях о мучениках в первом веке церкви, который он называл *«великой эрой мысли»*.

— Когда христиане героически переносили мучения во имя утверждения своей веры, разве не было явлений, доказывавших,— говорил он,— что материальные силы

---

[1] И слово стало плотью *(лат.)*.

никогда не устоят перед силой идей или волей человека? Каждый может сделать вывод относительно своей воли на основании проявлений воли других людей.

Я думаю, что нет необходимости говорить о его мыслях, касающихся поэзии и истории, или шедевров, написанных на нашем языке. Не представляет большого интереса излагать здесь мнения, которые теперь стали почти общепринятыми, но в устах ребенка могли бы показаться необыкновенными. Луи во всем был на высоте. Чтобы в двух словах раскрыть его талант, достаточно сказать, что он мог бы написать «Задига» так же остроумно, как Вольтер; он мог бы так же сильно, как Монтескье, дать диалог между Суллой и Евкратом. Великая честность его идей выражалась прежде всего в том, что он желал, чтобы произведение его было полезно людям; в то же время его тонкий ум требовал такой же новизны мысли, как и формы. Все, что не выполняло этих требований, вызывало в нем глубочайшее отвращение. В памяти моей сохранилось одно из наиболее замечательных его литературных определений, которое может дать понятие о смысле всех других и одновременно показать ясность его суждений: «Апокалипсис — это записанный экстаз». Он рассматривал библию как отрезок традиционной истории допотопных народов, в которой приняло участие новое человечество. Для него мифология древних греков имела источником и еврейскую библию и священные книги Индии, но эта нация, влюбленная в красоту, пересказала все на свой лад.

— Невозможно,— говорил он,— сомневаться в приоритете священных книг народов Азии над нашим священным писанием. Для того, кто добровольно признает эту историческую истину, границы мира необычайно раздвигаются. Разве не на азиатском плоскогорье нашли убежище те немногие люди, которым удалось пережить катастрофу, поразившую наш земной шар, если, конечно, люди существовали до этого переворота или удара? Это очень серьезный вопрос, решение которого записано в глубине морей. Антропогония библии является только генеалогией роя, вылетевшего из человеческого улья, который повис на горных склонах Тибета, между вершинами Гималаев и Кавказа. Характер первоначальных идей той орды, которую ее законодатель назвал божьим наро-

дом, несомненно для того, чтобы скрепить ее единство, а, может быть, и для того, чтобы сохранить свои собственные законы и свою систему правления, ибо книги Моисея заключают в себе религиозный, политический и гражданский кодекс,— характер этот отмечен печатью ужаса: мощная мысль пророка объясняла сотрясение земного шара как месть свыше. И, наконец, поскольку этот народ не вкусил ни одной из тех радостей, которые дает жизнь на родной земле, злоключения кочевничества могли подсказать ему только мрачную, величественную и кровавую поэзию. В противоположность этому зрелище быстрых изменений к лучшему на лице земли, чудесное воздействие солнца, первыми свидетелями которого были индусы, внушили им смеющиеся картины счастливой любви, культ огня, бесчисленные образы воспроизведений жизни. Этих великолепных образов не хватает произведению еврейского гения. Постоянная необходимость сохранять самих себя, пережитые опасности и пройденные до места отдыха страны породили чувство исключительности в этом народе и ненависть к другим нациям. Эти три священных писания являются архивами погибших миров. Вот в чем тайна грандиозного величия их языков и мифов. Величавая человеческая история покоится под именами этих людей и местностей, под этими фантазиями, которые неодолимо привлекают нас, хотя мы и не знаем почему. Быть может, мы вдыхаем в них воздух древней родины нового человечества.

По мнению Ламбера, эти три литературы заключали в себе все мысли человека. С тех пор, с его точки зрения, не появлялось ни одной книги, содержания которой, хотя бы в зародыше, нельзя было в них найти. Этот взгляд показывает, насколько его первоначальное исследование библии было научно углубленным и куда это изучение его привело. Он всегда как бы парил над обществом, которое знал только по книгам, и потому судил о нем холодно.

— Законы,— говорил он,— никогда не препятствуют затеям знатных и богатых, но обрушиваются на слабых, которые, наоборот, нуждаются в покровительстве.

Его доброта не позволяла ему сочувствовать политическим идеям; но его система приводила к пассивной покорности, пример которой подал Иисус Христос. В те-

чение последних дней моего пребывания в Вандоме Луи уже не подстегивала жажда славы, он уже в некотором смысле абстрактно насладился известностью; и после того как он вскрыл внутренности этой химеры, как древние жрецы, искавшие будущее в сердцах людей, он ничего в них не нашел. Презирая чисто личные чувства, он говорил мне: «Слава — это обожествленный эгоизм».

Здесь, быть может, заканчивая рассказ об этом необыкновенном детстве, я должен окинуть беглым взглядом все в целом.

Незадолго до нашей разлуки Ламбер сказал мне:

— Не говоря уже об общих законах нашего организма, формулировка которых, быть может, принесет мне славу, жизнь — это движение. которое выражается особо в каждом человеке: через мозг, через сердце или через нервы, в зависимости от неведомых нам влияний. От этих трех систем, названных такими обыденными словами, происходят бесчисленные разновидности человечества, которые являются результатом различных пропорций, где эти три основных начала скомбинированы с субстанцией, которую они впитывают в окружающей их среде.

Он остановился, хлопнув себя по лбу, и сказал мне:

— Странное явление! У всех великих людей, чьи портреты привлекли мое внимание, короткая шея. Может быть, природа хочет, чтобы у таких людей сердце было ближе к мозгу.

Потом он продолжал:

— Отсюда проистекает некоторая совокупность действий, которая составляет социальную жизнь. Человеку, живущему нервами,— действие или сила; человеку, живущему мозгом,— гений; человеку сердца — вера. Но,— добавлял он с грустью,— вере доступны лишь туманы святилищ, и только ангел достигает света.

Итак, следуя его собственным определениям, Ламбер целиком принадлежал сердцу и мозгу.

Для меня жизнь его разума расчленяется на три фазы.

С детства он был обречен на преждевременную активность, вызванную, несомненно, какой-нибудь болезнью или каким-нибудь особым совершенством его органов; с детства его силы выражались игрой внутренних чувств и чрезмерным развитием нервных флюидов. Как человек

идеи, он хотел утолить жажду своего разума, стремившегося усвоить все идеи. Отсюда жажда чтения; а размышления над прочитанным дали ему возможность свести все идеи к их наиболее простому выражению, впитать их в себя, чтобы затем исследовать их сущность. Благие результаты этого замечательного периода, которых другие люди достигают только после длительных исследований, сказались у Ламбера в период его телесного детства: счастливого детства, расцвеченного удачными научными находками поэта. Срок, к которому большинство интеллектов достигает зрелости, для него оказался отправным моментом в поисках новых миров разума. Так, сам этого не сознавая, он создал себе жизнь, полную требовательности и жадно-ненасытную. Разве он не должен беспрерывно наполнять открывшуюся в нем самом бездну, только чтобы жить? Не мог ли он, подобно некоторым людям светского круга, погибнуть из-за недостатка пищи для своих чрезмерных обманутых желаний? И разве оргия, бушевавшая в его духовном мире, не должна была привести его к внезапному самосожжению, как тела, пресыщенные алкоголем? Эта первая фаза умственного развития Луи была мне неизвестна; только в настоящее время мне удалось объяснить таким образом ее чудодейственные плоды. Ламберу было тогда тринадцать лет.

К счастью, я мог наблюдать первые дни второго этапа. Ламбер, и это его, быть может, спасло, должен был пережить все несчастья жизни в коллеже, и он потратил на это чрезмерное изобилие своих мыслей. После того как он довел все идеи до их чистейшего выражения, слова до их идеальной субстанции, дошел от этой субстанции до основных принципов и все сумел абстрагировать, он, чтобы жить, устремился к другим творческим усилиям разума. Подавленный несчастьями существования в коллеже и кризисами своей физической жизни, он погрузился в раздумье, постиг чувства, приоткрыл завесу новых наук, создал настоящее сонмище идей. Остановленный на бегу, слишком слабый для того, чтобы созерцать высшие сферы, он посвятил себя самосозерцанию. Тогда он показал мне сражение мысли, возражающей самой себе, ищущей раскрытия тайн природы, как врач, изучающий развитие собственной болезни. В этом состоянии силы и слабости,

детского очарования и сверхъестественного могущества только Луи Ламбер мог дать мне самую поэтическую и самую правдивую идею существа, которое мы называем ангелом; эту идею, правда, дала мне еще одна женщина, чье имя, черты, образ и жизнь я хотел бы скрыть от мира для того, чтобы быть единственным хранителем тайны ее существования и похоронить эту тайну в глубине моего сердца.

Третья фаза ускользнула от меня. Она началась после того, как я был разлучен с Луи, который вышел из коллежа только около середины 1815 года, когда ему исполнилось восемнадцать лет. Примерно за шесть месяцев до окончания коллежа Луи потерял мать и отца. Не находя в семье никого, с кем он мог бы сблизиться душой, по-прежнему пылкой, но после нашей разлуки всегда подавленной, он нашел убежище у своего дяди и опекуна, который был изгнан из прихода, как присягавший в свое время республике, и поселился в Блуа. Луи жил там некоторое время. Очень быстро его охватило желание завершить свое образование, которое он считал незаконченным, и он отправился в Париж, чтобы повидаться с госпожой де Сталь и получить знания из самых высших источников. Старый священник, чувствовавший большую слабость к своему племяннику, позволил Луи истратить свое наследство за три года пребывания в Париже, хотя Ламбер и жил там в страшной нищете. Это наследство состояло из нескольких тысяч франков. Ламбер вернулся в Блуа к началу 1820 года, изгнанный из Парижа страданиями, на которые обречены люди без денег. В течение всего времени, когда он там жил, он, вероятно, был во власти тайных гроз, ужасных бурь мысли, которым подвержены люди искусства, если судить по единственному факту, оставшемуся в памяти его дяди, и по единственному письму из всех написанных Луи Ламбером в эту эпоху и сохраненному дядей, может быть, потому, что оно было последнее и самое длинное из всех.

Вот прежде всего факты. Луи был однажды во Французском театре и сидел на скамейке второй галереи, вблизи одного из тех столбов, где сейчас размещены третьи ложи. Поднявшись во время первого антракта, он увидел молодую женщину, которая только что вошла в соседнюю ложу. Вид этой женщины, молодой, красивой, хо-

рошо одетой, может быть, декольтированной, вошедшей в сопровождении любовника, для которого ее лицо сияло всем очарованием любви, произвел на душу и чувства Ламбера такое мучительное впечатление, что он вынужден был выйти из зала. Если бы он не воспользовался последними отсветами разума, еще не погасшего окончательно, в первые моменты этой обжигающей страсти, может быть, он поддался бы возникшему тогда почти неодолимому желанию убить молодого человека, которому предназначались ее взгляды. Разве в нашем парижском свете это не было бы порывом любви дикаря, который бросается на женщину, как на свою добычу, проявлением животного инстинкта, слившимся с почти ослепительным порывом души, долгое время подавленной множеством своих мыслей? Наконец, разве это не было бы тем воображаемым ударом перочинного ножа, который когда-то был пережит ребенком и стал у взрослого человека молниеносным пробуждением самого властного требования любви?

Вот письмо, в котором он описывает состояние своей души, потрясенной зрелищем парижской цивилизации. Несомненно, эта бездна эгоизма постоянно оскорбляла его сердце, и он всегда страдал; быть может, он не встретил ни друзей, которые могли бы его утешить, ни врагов, создающих разнообразие жизни. Вынужденный постоянно жить в самом себе, не делясь ни с кем своими изысканнейшими наслаждениями, он, быть может, хотел достичь состояния постоянного экстаза, хотел жить почти растительной жизнью, как отшельники первых веков церкви, отказавшись от мира, управляемого разумом. Письмо, казалось, указывало на этот план, вдохновляющий все великие души в эпохи социального обновления. Но это решение было принято некоторыми из них в силу призвания. Разве не пытаются великие души сосредоточить свои силы в период долгого молчания, чтобы нарушить его, обретя способности управлять миром с помощью слова или действия? Конечно, Луи испытал много горечи среди людей и преследовал общество самой ужасной иронией, ничего из нее не извлекая, вот почему у него и вырвался такой отчаянный вопль, вот почему у этого бедняка явилось такое же желание, какое бывает у некоторых властителей вследствие пре-

сыщения всем, даже властью. Быть может, он завершил в уединении какой-нибудь большой труд, неясные контуры которого скользили в его уме? Всякий охотно поверит этому, читая отрывки его мыслей, где раскрывается борьба его души в тот момент, когда для него кончалась юность и начинала расцветать роковая способность к творчеству, породившая произведения зрелого человека. Это письмо имеет непосредственную связь с тем, что произошло в театре. Факт и его описание взаимно объясняют друг друга, душа и тело звучат в одном тоне. Эта буря сомнений и утверждений, туч и просветов, которые прорезывает молния, часто кончается страстной жаждой небесного сияния и достаточно освещает третью эпоху его воспитания, чтобы можно было понять ее всю целиком. Читая эти небрежно набросанные строки, перечитанные и переделанные соответственно настроениям его парижской жизни, можно увидеть, как на дубе во время его внутреннего роста лопается красивая зеленая кожица, как она покрывается трещинами, шероховатостями и постепенно возникает величественный облик громадного дерева, если, конечно, небесный гром и человеческий топор пощадят его.

Этим письмом заканчиваются как для мыслителя, так и для поэта замечательное детство и не понятая никем юность. Здесь вырисовывается контур его нравственного зародыша; философы будут жалеть о листве, пораженной заморозками еще в почках; но, конечно, они увидят цветы, распустившиеся в областях более возвышенных, чем самые высокие места на земле.

Париж. Сентябрь — ноябрь 1819.

Дорогой дядя, я вскоре должен покинуть эти места, где не в состоянии жить. Здесь нет ни одного человека, который любит то, что я люблю, занимается тем, что меня увлекает, удивляется тому, что удивляет меня. Вынужденный жить самим собой, я углубляюсь в себя и страдаю. Долго и терпеливо изучал я общество и пришел к грустным выводам и глубоким сомнениям. Здесь отправная точка для всего — деньги. Нужны деньги даже для того, чтобы обходиться без них. Но, хотя этот металл необходим и для тех, кто хочет спокойно думать, я не чувствую в себе мужества сделать его единственным

двигателем моих мыслей. Чтобы составить состояние, нужно выбрать поле деятельности, одним словом, купить с помощью некоторых привилегий положения или клиентуры, привилегий законных или умело созданных, право каждый день брать в чужом кошельке небольшую сумму, которая за год создаст небольшой капитал; этот капитал через двадцать лет даст человеку, живущему честно, не больше четырех или пяти тысяч франков ренты. За пятнадцать-шестнадцать лет, после окончания обучения, адвокат, нотариус, торговец — все терпеливые труженики — обеспечивают себе хлеб на старость. Я понял, что совершенно неспособен на что-нибудь подобное. Я предпочел мысль — действию, идею — деловому предприятию, созерцание — движению. У меня совершенно отсутствует сосредоточенное внимание, необходимое для желающих сделать карьеру. Всякое меркантильное предприятие, всякая необходимость требовать денег у других дурно кончится для меня, и я разорюсь. Если у меня ничего нет в данный момент, по крайней мере я ничего никому не должен. Нужно очень немного материальных средств для того, кто поставил своей целью свершение великих дел в области духовной; но хотя мне достаточно двадцати су в день, у меня нет средств для такого насыщенного трудом безделья. Если я хочу размышлять, материальные потребности выгоняют меня из святилища, где мечется моя мысль. Что будет со мной? Нищета меня не пугает. Если бы не сажали в тюрьму, не бесчестили, не презирали нищих, я бы охотно просил милостыню, чтобы спокойно решать те проблемы, которые меня интересуют. Но эта величайшая покорность, благодаря которой я мог бы развить мою мысль, освободив ее от тела, не может ничему помочь: опять-таки нужны деньги, чтобы произвести некоторые опыты. Если бы не это, я принял бы внешнюю нищету мыслителя, обладающего одновременно и землей и небом. Чтобы быть великим в бедности, достаточно никогда не унижаться. Человек, который борется и страдает, направляясь к благородной цели,— это, конечно, великолепное зрелище; но разве здесь у кого-нибудь хватит сил на борьбу? Можно карабкаться через скалы, но нельзя всегда топтаться в грязи. Здесь все мешает прямолинейному полету души, устремленной в будущее. Я бы не боялся жить

в пещере посреди пустыни, но здесь я боюсь. В пустыне я жил бы сам собой, ничем не отвлекаясь; здесь человек ощущает бездну потребностей, которые его принижают. Когда вы выйдете на улицу, погруженный в мечты, занятый мыслями, голос бедняка призывает вас назад, в мир голода и жажды, прося у вас милостыню. Нужны деньги даже для того, чтобы погулять. Все органы без конца утомляются пустяками и никогда не отдыхают. Нервное возбуждение поэта все время разрушается, и то, что должно было стать его славой, становится мучением: воображение превращается в его злейшего врага. Здесь раненый рабочий, бедная женщина в родах, заболевшая проститутка, покинутый ребенок, старик инвалид, пороки, даже преступления находят убежище и внимание; в то же время мир беспощаден к изобретателю, ко всякому мыслителю. Здесь все должно иметь немедленный реальный результат; здесь смеются над опытами, неудачными вначале, которые могут привести к самым великим открытиям, не уважают постоянных глубоких исследований, которые требуют длительного сосредоточения сил. Государство могло бы оплачивать талант, как оно оплачивает войска; но оно боится быть обманутым человеком, живущим интеллектом, как будто тот в силах длительно разыгрывать гения, не будучи им на самом деле. Ах, дорогой дядя, когда уничтожили монастырское уединение у подножия гор под зеленой молчаливой тенью деревьев, разве не должны были построить убежища для страждущих душ, которые одной своей мыслью порождают движение вперед целых наций или подготовляют новое и плодотворное развитие какой-нибудь науки?

20 сентября.

Вы знаете, что меня привело сюда стремление к науке; я нашел здесь людей по-настоящему образованных, часто удивительных; но отсутствие единства в научных исследованиях уничтожает почти все их усилия. Ни обучение, ни науку никто не возглавляет. Вы слушаете в Музеуме профессора, доказывающего то, что на улице Сен-Жак назовут немыслимыми глупостями. Человек из Медицинского института осыпает пощечинами представителя Коллеж де Франс. Сразу после приезда я пошел слушать старого академика, который проповедовал пяти-

стам молодым людям, что Корнель — это мужественный, гордый гений, что Расин нежен и элегичен, Мольер неподражаем, Вольтер в высшей степени умен, Боссюэ и Паскаль отчаянно сильны в рассуждениях. Профессор философии становится знаменит, объясняя, почему Платон это Платон. Другой составляет историю из слов, не заботясь об идеях. Тот объясняет вам Эсхила, другой с успехом доказывает, что городские коммуны были коммунами и ничем другим. Эти новые блестящие взгляды, пережевывающиеся по нескольку часов, и составляют то высшее образование, которое должно гигантскими шагами двинуть вперед человеческие знания. Если бы государство могло мыслить, я заподозрил бы его в том, что оно боится истинной гениальности, боится, что пробужденная гениальность подчинит общество разумной власти. Нации ушли бы вперед слишком далеко и слишком быстро; и на долю профессоров пришлась бы тогда роль дураков. Как же иначе объяснить преподавание без метода, без идеи будущего? Институт мог бы стать великим управлением мира, нравственности и разума, но он недавно был разрушен учреждением отдельных академий. Человеческие знания, следовательно, развиваются без руководства, без системы и направляются случайно, без намеченного пути следования. Эта небрежность, неуверенность существуют в политике так же, как в науке. В мире природы средства просты, а результат велик и чудесен; здесь же, в науке, как и в государстве, средства огромны, а результат ничтожен. Эта сила, которая в природе движется ровным шагом при постоянно увеличивающемся результате, эта всепроизводящая формула $A + \bar{A}$ разрушительна для общества. Современная политика противопоставляет одни человеческие силы другим, чтобы их нейтрализовать, вместо того чтобы комбинировать их и заставить действовать ради какой-то цели. Если говорить только о Европе от Цезаря до Константина, от маленького Константина до великого Аттилы, от гуннов до Карла Великого, от Карла Великого до Льва X, от Льва X до Филиппа II, от Филиппа II до Людовика XIV, от Венеции до Англии, от Англии до Наполеона, от Наполеона до Англии, я не вижу никакого постоянства в политике, и ее непрерывное кипение до сих пор не породило никакого прогресса. Нации де-

монстрируют свое величие либо памятниками, либо благополучием отдельных людей. Современные памятники могут ли равняться со старинными? Я сомневаюсь. Произведения искусства, непосредственно созданные отдельным человеком, творения ума или рук человека очень мало прогрессировали. Наслаждения Лукулла ничем не отличаются от наслаждений Самюэля Бернара, Божона или баварского короля. Исчезло и человеческое долголетие. Если судить добросовестно, надо признать, что ничто не изменилось, человек остался тем же самым: сила для него — единственный закон, успех — единственная мудрость. Иисус Христос, Магомет, Лютер только раскрасили разными красками тот круг, по которому двигались молодые нации. Никакая политика не остановила цивилизации, ее богатства, ее нравов, ее идей, союза сильных против слабых, страсти кочевать из Мемфиса в Тир, из Тира в Бальбек, из Тедмора в Карфаген, из Карфагена в Рим, из Рима в Константинополь, из Константинополя в Венецию, из Венеции в Испанию, из Испании в Англию так, что никаких следов не осталось ни от Мемфиса, ни от Тира, ни от Карфагена, ни от былой славы Рима, Венеции и Мадрида. Дух покинул эти могучие тела. Никто не мог уберечься от разрушения, не мог догадаться о правильности аксиомы: *когда следствие потеряло связь с причиной, его породившей, наступает дезорганизация.* Самый проницательный гений не может найти связи между этими великими социальными явлениями. Ни одна политическая теория не оказалась вечной. Правительства проходят, как люди, не передавая друг другу никаких указаний, и ни одна система не породила системы более совершенной, чем предыдущая. Что можно сказать о политике, если правительства, опиравшиеся на бога, погибли и в Индии и в Египте; если правительства меча и тиары исчезли; если правление одного рушится, а правление всех никогда не могло просуществовать долго; ни одна концепция о силе ума в применении к материальным интересам не стала долговечной, и в настоящее время все требует переделки так же, как во все эпохи, когда человек кричал: «Я страдаю!» Кодекс, на который смотрят как на прекраснейшее дело Наполеона,—самый драконовский из всех, какие мне известны. Доведенная до бесконечности территориальная раз-

дробленность, в основе которой лежит разделение богатств поровну, должна породить вырождение нации, гибель искусств и наук. На слишком раздробленной земле культивируются только хлебные злаки и вообще невысокие насаждения; леса и многие источники исчезают; не растят больше ни быков, ни лошадей. Исчезают средства нападения и защиты. Начинается нашествие, народ раздавлен, он потерял свои лучшие орудия, он потерял своих вождей. Вот история пустынь! Политика, следовательно, это наука, не имеющая ни определенных начал, ни незыблемых основ; она — гений текущего момента, постоянное приложение силы в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Человек, который может провидеть на два века вперед, умрет на лобном месте, под проклятия народа, или же — а это, мне кажется, еще хуже — будет исхлестан бесчисленными насмешками. Нации — это тоже личности, не мудрее и не сильнее человека, и их судьбы сходны. Раздумывать о человеке — разве не значит заниматься народами? Зрелище этого общества, у которого так шатки, непрочны и основы и то, что на них воздвигается, и причины, и действия, общества, в котором филантропия — это великолепная ошибка, а прогресс—бессмыслица, подтвердило мне ту истину, что подлинная жизнь в нас, а не вне нас; что подняться над людьми, чтобы управлять ими,— это значит играть несколько расширенную роль классного руководителя; и что люди, достаточно сильные, чтобы подняться до той ступени, с которой они могут наслаждаться, окидывая взглядом миры, не должны смотреть на то, что лежит у их ног.

4 ноября.

Я занят, безусловно, серьезными мыслями, я иду к некоторым открытиям, непобедимая сила увлекает меня к свету, который с юных лет блистал в сумерках моей нравственной жизни; но как назвать ту силу, которая связывает мне руки, затыкает рот и тянет меня в противоположную сторону от моего призвания? Нужно покинуть Париж, попрощаться с книгами библиотек, прекрасными очагами света, попрощаться с учеными, снисходительными и доступными для общения, с юными гениями, с которыми я дружил. Что меня отталкивает? Может быть, случай, а может быть, провидение? Обе идеи, обозначен-

ные этими словами, непримиримы друг с другом. Если случайности не существует, то надо принять фатализм или насильственную координацию всех фактов, подчиненных общему плану. Почему же мы сопротивляемся? Если человек не свободен, то чем становится здание его нравственного мира? А если он может строить свое будущее, если он по своему свободному выбору может остановить выполнение общего плана, то что же такое бог? Почему я явился в мир? Если я исследую самого себя, то я понимаю это: я нахожу в себе зародыши для развития; но тогда зачем же мне даны громадные способности, если не для того, чтобы их использовать? Если бы моя пытка стала для кого-нибудь примером, я бы согласился на продолжение ее. Но результат может быть таким же роковым, как судьба неведомого цветка, умирающего в глубине девственного леса, где никто не вдохнет его запах, не насладится его яркостью. Так же, как он напрасно льет в одиночестве свой аромат, я создаю здесь, на чердаке, идеи, которых никто не воспримет. Вчера вечером у окна вместе с молодым врачом по имени Мейро я ел хлеб и виноград. Мы беседовали как люди, которых несчастье сделало братьями, и я сказал ему:

— Я ухожу, вы остаетесь, возьмите мои концепции и развейте их!

— Я не могу,— ответил он с горечью и грустью,— здоровье у меня слишком слабое и не выдержит моих трудов, я должен умереть молодым, сражаясь с нищетой.

Мы посмотрели на небо и пожали друг другу руки. Мы встречались на лекциях по сравнительной анатомии в галереях Музеума, увлеченные одними и теми же проблемами, единством строения земли. Для него это было предчувствие гения, посланного, чтобы открыть новый путь на целине разума, для меня — вывод общей системы. Моя мысль хотела установить реальные связи, которые могут существовать между человеком и богом. Разве не в этом нуждается наша эпоха? Без каких-либо высших неоспоримых начал нельзя наложить узду на общество, дух критики и споров распустил его, и оно кричит теперь: «Ведите нас по дороге, где мы не встретим пропастей!» Вы меня спросите, какое отношение имеет сравнительная анатомия к вопросу, столь важному для грядущих судеб общества? Не следует ли убедить себя, что

человек — это цель всех земных возможностей, а затем спросить, не будет ли сам он возможностью, не имеющей завершения? Если человек связан со всем, то нет ли чего-либо над ним, с чем он связывается в свою очередь? Если в нем итог восходящих к нему необъясненных изменений, не должен ли он явиться связью между видимой и невидимой природой? Деятельность мира не абсурдна, она стремится к цели, и этой целью не может быть общество, построенное наподобие нашего. Между нами и небом есть ужасающий пробел. В таком положении мы не можем ни всегда наслаждаться, ни всегда страдать; нужны огромные перемены, чтобы достичь рая или ада, двух концепций, без которых бог не существует в глазах народа. Я знаю, что люди выдумали душу, чтобы выйти из затруднительного положения. Но мне как-то неприятно считать, что бог принимает человеческую низость, разочарования, наше отвращение, наше падение. Затем, как можем мы считать, что в нас есть божественная искра, если над ней могут возобладать несколько стаканов рома? Как вообразить себе сверхматериальные способности, которые ограничены материей и использование которых может быть сковано одним зерном опиума? Как представить себе, что мы будем еще нечто чувствовать, будучи лишены условий нашей чувствительности? Почему погибнет бог, если субстанция будет обладать способностью мыслить? Разве одушевление субстанции в ее бесчисленных разновидностях, проявление ее инстинктов легче объяснить, чем деятельность мышления? Разве движения, присущего мирам, недостаточно, чтобы доказать существование бога, и мы должны обращаться ко всевозможным нелепостям, порожденным нашей гордыней? Разве не достаточно для существа, отличающегося от других только более совершенными инстинктами, сознания, что мы можем после всех испытаний достичь лучшего бытия, хотя в одном отношении и обречены на гибель? Если в области морали не существует ни одного принципа, который не вел бы к абсурду или к противоречию с очевидностью, разве не время приступить к поискам догматов, начертанных в глубине природы вещей? Не нужно ли перевернуть всю философскую науку? Мы очень мало занимаемся так называемым небытием, которое нам предшествовало, и пытаемся исследовать то небытие, которое

нас ждет. Мы делаем бога ответственным за будущее, но не спрашиваем у него отчета о прошлом. А между тем так же необходимо знать, не имеем ли мы каких-либо корней в прошлом, как и то, на что мы обречены в будущем. Если мы были деистами или атеистами, то только с одной стороны. Вечен ли мир? Создан ли мир? Мы не можем представить ничего среднего между этими двумя положениями: одно ложно, другое правильно. Выбирайте. Каков бы ни был ваш выбор, величие бога, такого, каким мы его себе представляем, должно уменьшиться, что равносильно его отрицанию. Сделайте мир вечным: тогда, несомненно, бог ему подчинен. Предположите, что мир создан, тогда существование бога невозможно. Как мог он существовать целую вечность, не зная, что у него явится мысль создать мир? Как же он не знал заранее результатов? Откуда он взял материал? Видимо, из самого себя. Если мир исходит из бога, как же принять зло? Если же зло произошло из добра, то вы пришли к абсурду. Если же зла не существует, то чем становится общество с его законами? Всюду бездны! Всюду пропасть для разума. Нужно в корне перестроить науку об обществе. Послушайте, милый дядя: покуда какой-нибудь прекрасный гений не объяснит заведомое неравенство умов, общий смысл человечества, слово «бог» будет постоянно уязвимо, а общество будет существовать на зыбучем песке. Тайны различных нравственных зон, через которые проходит человек, раскроются в анализе всего животного мира в целом. Животный мир до сих пор рассматривался только в своих различиях, но не в явлениях сходства; в своих органических наружных признаках, но не в подлинных своих свойствах. Животные свойства малопомалу совершенствуются, следуя за избирательным законом. Эти свойства соответствуют силам, которые их выражают, и эти силы материальны в своем существе и делимы. Материальные свойства! Подумайте об этих двух словах. Ведь это такой же неразрешимый вопрос, как и вопрос о том, как материя была приведена в движение,— еще не исследованная бездна, трудности которой были скорее смещены, чем разрешены системой Ньютона. Наконец, постоянная комбинация света со всем, что живет на земле, требует нового исследования земного шара. То же самое животное различно в жарком поя-

се, в Индии или на севере. Под вертикальными или наклонными солнечными лучами развиваются различные формы природы, единые в своей основе, но по результатам не схожие ни внутренне, ни внешне. Явление зоологического мира, бросающееся нам в глаза при сравнении бабочек Бенгалии с бабочками Европы, еще ярче в нравственном мире. Нужен определенный лицевой угол, определенное количество мозговых извилин, чтобы получить Колумба, Рафаэля, Наполеона, Лапласа или Бетховена; бессолнечная долина порождает кретинов; сделайте из этого выводы. Откуда эти различия в человеке, зависящие от большей или меньшей удачи в распределении света? Существование огромного количества страдающих людей, более или менее активных, более или менее обеспеченных питанием, более или менее просвещенных, так трудно объяснить, что это вопиет против бога. Почему самые большие радости вызывают в нас желание покинуть землю, почему у всякого существа возникало и будет возникать стремление подняться ввысь? Движение — это великая душа, слияние которой с материей так же трудно объяснить, как произведения человеческой мысли. В настоящее время наука едина, невозможно коснуться политики, не занимаясь вопросами морали, а мораль связана со всеми научными проблемами. Мне кажется, что мы накануне великой битвы человечества; армия уже собралась, только я пока не вижу полководца...

25 ноября.

Поверьте мне, милый дядя, трудно отказаться без сожаления от жизни, которая нам свойственна. Я возвращаюсь в Блуа, но сердце мое мучительно сжимается; я умру и унесу с собой нужные миру истины. Никакие личные интересы не оскверняют моих сожалений. Что слава для человека, который уверен, что может подняться в более высокую сферу? У меня нет никакой любви к двум слогам «Лам» и «бер»: произнесут их небрежно или с уважением над моей могилой, это ничего не изменит в моей потусторонней судьбе. Я чувствую себя сильным, полным энергии, я мог бы стать могущественным; я ощущаю в себе такую просветленную жизнь, что она может воодушевить целый мир, и я точно заключен

в какой-то минерал, как, быть может, заключены цветы, которыми вы любуетесь на шее у птиц с Индийского полуострова; надо было бы охватить весь мир и обнять его, чтобы переделать; но разве те, кто его таким образом охватит и переплавит, не начали с того, что были колесиками в машине? Я оказался бы раздавленным. Магомету — сабля, Иисусу — крест, а мне — никому не известная смерть; завтра я еду в Блуа, а через несколько дней лягу в гроб.

Знаете ли вы, почему я вернулся к Сведенборгу, после того как я проделал громадную работу по изучению религий и, прочитав все работы, которые терпеливая Германия, Англия и Франция опубликовали за шестьдесят лет, доказал самому себе глубокую истину моих взглядов на Библию, сформировавшихся в молодости? Конечно, Сведенборг резюмирует все религии, вернее, единую общечеловеческую религию. Если культы существуют в бесчисленных формах, то их смысл и метафизическая конструкция никогда не менялись. В конце концов, у человека была только одна религия. Шиваизм, вишнуизм и браманизм, три первых человеческих культа, развившиеся в Тибете, в долине Инда и на обширных равнинах Ганга за несколько тысячелетий до Иисуса Христа, закончили свои войны принятием индусского Тримурти. Тримурти — это наша троица. Из этого догмата зародился в Персии магизм, в Египте — африканские религии и мозаизм, потом кабиризм и греко-римский политеизм. Излучения тримуртизма, принесенные мудрецами, которых люди преобразуют в полубогов (Митра, Вакх, Гермес, Геракл и др.), прививали азиатские мифы воображению каждой страны, которой они достигали. В то же время в Индии появляется Будда, самый знаменитый реформатор трех примитивных религий, и основывает свою церковь, к которой и сейчас принадлежит на двести миллионов человек больше, чем к христианской, провозглашает свое учение, питавшее могучую волю Христа и Конфуция. После этого христианство поднимает свое знамя. Позже Магомет сливает мозаизм и христианство; Библию и Евангелие в одну книгу, Коран, где он приспосабливает их к духу арабов. Наконец, Сведенборг выбирает из магизма, браманизма, буддизма и христианского мистицизма то, что в этих четырех религиях есть обще-

го, реального, божественного, и придает этим доктринам, так сказать, математическое доказательство. Для того, кто окунается в реки этих религий, не все основатели которых нам известны, совершенно ясно, что Зороастр, Моисей, Будда, Конфуций, Иисус Христос, Сведенборг руководствуются одними принципами и ставят себе одну цель. Но последний из них, Сведенборг, станет, быть может, Буддой севера. Как бы темны и расплывчаты ни были его книги, в них находятся элементы грандиозной социальной концепции. Его теократия великолепна, его религия единственная, которую может принять подлинно высокий дух. Только он один дает возможность коснуться бога, он пробуждает жажду веры, он освобождает величие бога от пеленок, в которые его замотали другие человеческие культы; он оставил его там, где он пребывает, заставив притягиваться к нему все созданные им вещи и существа, путем последовательных превращений, показывающих более близкое, более естественное будущее, чем католическая вечность. Он смыл с бога упрек, который делают ему нежные души, упрек в том, что он назначает вечную кару за ошибки одного мгновения, ибо в таком порядке нет ни справедливости, ни доброты. Каждый человек хочет знать, будет ли у него другая жизнь и имеет ли этот мир какой-нибудь смысл. Вот я и хочу осмелиться произвести этот опыт. Эта попытка может спасти мир, так же, как крест Иерусалима и сабля Мекки. И один и другой — сыновья пустыни. Из тридцати трех лет жизни Иисуса известны только девять; время его безвестности подготовило жизнь, полную славы. И мне тоже нужна пустыня!

Несмотря на трудности такого предприятия, я считал своим долгом попытаться описать молодость Ламбера, эту скрытую от всех жизнь, которой я обязан единственными счастливыми часами и единственными приятными воспоминаниями моего детства. За исключением этих двух лет, вся моя жизнь была полна лишь тревог и неприятностей. Если позже я и испытывал счастье, то оно всегда бывало неполным. Я, конечно, был очень многословен, но, не проникнув в глубину сердца и ума Ламбера — эти два слова крайне несовершенно выража-

ют бесконечно разнообразные формы его внутренней жизни,— будет очень трудно понять вторую половину его умственного развития, одинаково неизвестную как мне, так и миру, хотя ее оккультное завершение развернулось передо мной в течение нескольких часов. Все те, у кого эта книга еще не выпала из рук, я надеюсь, поймут события, которые мне осталось рассказать, события, составляющие в какой-то мере второе существование этого человека; почему не сказать — этого творческого сознания, в котором все было необыкновенно, даже его конец.

Когда Луи вернулся в Блуа, дядя постарался всячески развлечь его. Но бедный священник жил в этом благочестивом городке, как настоящий прокаженный. Никто не хотел принимать революционера, лишенного сана. Его общество состояло из нескольких людей, верных убеждениям, как тогда говорили, либеральным, патриотическим, конституционным, людей, к которым он ходил на партию виста или бостона. В первом доме, куда ввел его дядя, Луи увидел молодую особу, положение которой заставляло ее оставаться в этом обществе, отвергнутом людьми большого света, хотя у нее было настолько значительное состояние, что позже она, несомненно, смогла бы сделать партию среди высшей аристократии этого края.

Мадмуазель Полина де Вилльнуа была единственной наследницей богатств, накопленных ее дедушкой, евреем по имени Саломон, который, в противоположность обычаям своей нации, в старости женился на католичке. У него был сын, воспитанный в вере своей матери. После смерти отца молодой Саломон купил, по выражению того времени, должность, дающую дворянство, и превратил в баронство земли Вилльнуа, получив право на это имя. Он умер холостым, но оставил незаконную дочь, которой завещал бо́льшую часть своего состояния и. в частности, имение Вилльнуа. Один из его дядей, господин Жозеф Саломон, был назначен опекуном сиротки. Этот старый еврей так полюбил свою подопечную, что готов был принести самые большие жертвы, чтобы почетно выдать ее замуж. Из-за своего происхождения и сохранявшегося в провинции предубеждения против евреев мадмуазель де Вилльнуа, несмотря на свое богатство и состояние опекуна, не была принята в том избранном обществе, которое правильно или неправильно называется аристо-

кратическим. Между тем господин Жозеф Саломон заявлял, что за неимением провинциального дворянчика его подопечная поедет в Париж, чтобы выбрать там мужа среди пэров — либералов или монархистов; что же касается счастья, добрый опекун считал возможным гарантировать его определенными условиями брачного контракта. Мадмуазель де Вилльнуа было тогда двадцать лет. Ее исключительная красота и пленительный ум были для ее счастья менее шаткой гарантией, чем все то, что могло дать богатство. В ее чертах можно было увидеть самый высокий образец чистейшей еврейской красоты: широкий и чистый овал лица, отражающий нечто идеальное, дышащий всеми наслаждениями Востока, невозмутимой лазурью его неба, щедростью земли и сказочным богатством жизни. У нее были красивые миндалевидные глаза, оттененные густыми загнутыми ресницами. Библейская невинность озаряла ее чело. Кожа сохраняла матовую белизну одежды левитов. Обычно она была молчалива и сосредоточенна, но ее жесты, ее движения свидетельствовали о скрытом очаровании, так же как в словах сквозила мягкая и ласковая женственность. И все же у нее не было розовой свежести или яркого румянца, украшающего щеки женщины в беззаботном возрасте. Коричневатые оттенки, смешанные с красноватыми отсветами, заменяли румянец на этом лице и выдавали энергичный характер, нервную возбудимость, которую многие мужчины не любят в женщинах, но в которой иные распознают целомудренную чувствительность и гордую силу страсти. Как только Ламбер увидел мадмуазель де Вилльнуа, он угадал в ее облике ангела. Богатство его души, склонность к экстазу — все это вылилось в беспредельную любовь. Первая любовь юноши всегда бывает очень бурной, а у него, человека пылких и пламенных чувств, особого характера идей, замкнутого образа жизни, любовь приобрела неизмеримую мощь. Эта страсть была для него бездной, в которую несчастный бросил все, бездной, куда страшно заглянуть, потому что мысль самого Ламбера, такая гибкая и такая сильная, утонула в ней. Здесь все тайна, потому что все это произошло в духовном мире, закрытом для большей части людей, законы которого открылись ему, быть может, к несчастью для него самого. Когда мы случайно встрети-

лись с его дядей, он привел меня в комнату, где жил Ламбер в тот период своей жизни. Я хотел найти в ней какие-нибудь следы его творений, если он их оставил. Там среди бумаг, разбросанных в беспорядке, к которому старик отнесся с уважением, проникнутым удивительным, отличающим старых людей чувством сострадания, я нашел много писем, настолько неразборчивых, что их не стоило вручать мадмуазель де Вилльнуа. Хорошее знание почерка Ламбера позволило мне с течением времени разобрать иероглифы этой стенографии, созданной лихорадочным нетерпением страсти. Захваченный чувством, он писал, не заботясь о графическом совершенстве, стремясь не замедлять изложения своих мыслей. Вероятно, он переписывал эти бесформенные наброски, в которых часто все строчки сливались; но, опасаясь, быть может, что придает своим идеям довольно неудачную форму, он сперва по два раза начинал свои любовные письма. Как бы то ни было, но понадобился весь пыл моего культа его памяти и нечто вроде фанатизма, охватывающего человека при подобном предприятии, чтобы разгадать и восстановить смысл последующих пяти писем. Эти бумаги, которые я храню с неким благоговением,— единственные материальные свидетели его пылкой страсти. Мадмуазель де Вилльнуа, несомненно, уничтожила подлинники посланных ей писем, красноречивых свидетелей возбужденного ею лихорадочного бреда. Первое из этих писем — несомненно так называемый черновик — раскрывало и своей формой и многословием его колебания, сердечные волнения, бесконечные опасения, пробужденные желанием нравиться; сбивчивость выражений показывала неясность всех мыслей, которые охватили молодого человека, пишущего свое первое любовное письмо; о таком письме помнят всегда, и каждое его слово пробуждает долгие размышления; как великан, сгибающийся, чтобы войти в хижину, становится скромным и робким, так и самое необузданное чувство ищет сдержанных выражений, чтобы не испугать души молодой девушки. Никогда антиквар не трогал свои палимпсесты с бо́льшим уважением, чем я изучал и восстанавливал эти искалеченные обрывки, ибо страдание и радость священны для всех, кто знал такие же страдания и такие же радости.

I

Мадмуазель, когда вы прочтете это письмо — разумеется, если вы все же его прочтете,— моя жизнь будет в ваших руках, потому что я вас люблю, а для меня надеяться быть любимым — значит жить. Я знаю, быть может, другие, говоря о себе, уже много раз употребляли слова, которыми я пользуюсь, чтобы изобразить вам состояние моей души; все же верьте правдивости моих слов, они жалки, но искренни. Может быть, нехорошо признаваться таким образом в любви. Да, голос моего сердца советовал мне молча ждать, чтобы моя страсть тронула вас, а потом задушить ее, если эти немые свидетельства вам не понравятся; или же выразить ее еще целомудреннее, чем словами, если мне удастся заметить милосердие в ваших глазах. Долгое время опасался я задеть вашу юную чувствительность. Но теперь пишу вам, подчиняясь инстинкту, который исторгает у умирающих бесполезные стенания. Мне понадобилось все мое мужество, чтобы преодолеть гордость, не оставляющую меня и в несчастье, и перешагнуть через барьеры, которые предрассудки воздвигают между вами и мной. Многое пришлось мне подавить в своем уме и сердце, чтобы любить вас, несмотря на ваше богатство. Решившись написать вам, разве я не рисковал встретить презрение, которым женщины часто отвечают на признание в любви, воспринимая его только как лишний комплимент? Поистине, надо изо всех сил рвануться к счастью, потянуться к жизни и любви, как растение к свету, почувствовать себя бесконечно несчастным, чтобы победить муки и страх тайных размышлений, когда рассудок всевозможными способами доказывает нам тщетность наших желаний, скрытых в глубине сердца, а между тем надежда все же заставляет нас рискнуть всем. Я был счастлив, молча наблюдая за вами, я до такой степени был захвачен созерцанием вашей прекрасной души, что, видя вас, я не мог представить себе ничего, равного вам. Нет, я бы не осмелился говорить с вами, если бы не услышал известия о вашем отъезде. Какую пытку причинило мне одно это слово! Мое горе заставило меня понять силу моей привязанности к вам, ей нет границ. Мадмуазель, вы не узнаете никогда, по крайней мере я хочу, чтобы вы никогда не узнали, горя, возникающего от страха потерять един-

ственное счастье, расцветшее для нас на земле, единственное, бросившее хоть несколько лучей света во тьму моих бедствий. Вчера я почувствовал, что моя жизнь не во мне, а в вас. Во всем мире для меня существует только одна женщина, а моя душа поглощена одной мыслью. Я не смею сказать вам, какой выбор ставит передо мной моя любовь к вам. Желая обрести вас только по вашей собственной воле, я должен стараться не показывать вам глубину моих бедствий; ведь они воздействуют на благородные души сильнее, чем счастье. Я буду умалчивать перед вами о многом. Да, мое представление о любви слишком прекрасно, чтобы я мог омрачать его мыслями, чуждыми ее природе. Если моя душа достойна вашей, если моя жизнь чиста, ваше сердце великодушно почувствует это, и вы меня поймете. Мужчине суждено предлагать себя той, которая заставила его поверить в счастье; но ваше право — отвергнуть самое искреннее чувство, если оно не согласуется со смутными зовами вашего сердца,— я это знаю. Если судьба, которую вы мне готовите, не осуществит моих надежд, я взываю ко всей нежности вашей девственной души и благородному милосердию женщины. Ах, я вас умоляю на коленях — сожгите мое письмо, забудьте все. Не шутите с благоговейным чувством, слишком глубоко запечатленным в душе, чтобы оно могло исчезнуть. Разбейте мое сердце, но не терзайте его! Пусть признание моей первой любви, любви юной и чистой, отзовется только в юном и чистом сердце! Пусть оно умрет в нем, как молитва умирает в лоне бога! Я обязан благодарить вас: я провел пленительные часы, видя вас, отдаваясь самым нежным мечтам моей жизни; не завершайте это долгое, но временное счастье насмешкой, что так свойственно молодой девушке. Удовольствуйтесь тем, что оставите меня без ответа. Я сумею правильно истолковать ваше молчание, и вы меня больше не увидите. Если я обречен на то, чтобы всегда понимать счастье и всегда его терять, то, как падший ангел, неразрывно связанный с миром скорби, я все же сохраню чувство небесного блаженства, ну что ж, я сберегу и тайну моей любви и тайну моих несчастий. Прощайте! Да, я поручаю вас богу, я буду молиться за вас, буду просить его дать вам прекрасную жизнь: ибо даже изгнанный из вашего сердца, куда я вошел крадучись, против вашей воли, я не покину

вас никогда. Иначе какую ценность имели бы святые слова этого письма, моя первая и, быть может, последняя просьба? Если я когда-нибудь перестану думать о вас, любить вас, счастливый или несчастный, это будет означать, что я недостоин собственных страданий.

II

Вы не уезжаете! Значит, я любим! Я, бедное, никому не ведомое существо. Моя дорогая Полина, вы не знаете силы вашего взгляда, но я поверил ему, вы бросили его мне, чтобы сказать, что я избран вами, вами, молодой и прекрасной, у ног которой лежит весь мир. Чтобы дать вам понять, как я счастлив, нужно рассказать вам мою жизнь. Если бы вы меня оттолкнули, для меня бы все было кончено. Я слишком страдал. Да, моя любовь, благодетельная, прекрасная любовь, была последним порывом к счастливой жизни, к ней стремилась моя душа, уже надорвавшаяся в ненужных трудах, источенная страхами, заставлявшими меня сомневаться в самом себе, разъеденная отчаянием, часто призывавшим меня к смерти. Нет, никто в мире не знает ужаса, какой мое роковое воображение внушает самому себе. Оно часто поднимает меня в небеса и внезапно бросает на землю с огромной высоты. Внутренние порывы силы, несколько редких и тайных доказательств особого ясновидения говорят мне иногда, что мои возможности огромны. Тогда я охватываю мир мыслью, я его разрушаю, я его созидаю, я проникаю в него, я его понимаю или думаю, что понимаю; но внезапно пробуждаюсь один, ничтожный, окруженный глубокой ночной темнотой; я забываю просветы, в которые мне удалось заглянуть, я беспомощен, и нет сердца, где бы я мог укрыться. Невзгоды духовной жизни отражаются и на моем физическом существе. Природа моего духа такова, что я без оглядки отдаюсь и радостным ощущениям счастья и ужасающему ясновидению мысли, подвергающему их разрушительному анализу. Одаренный печальной способностью видеть с одинаковой ясностью препятствия и успехи, я счастлив или несчастлив в зависимости от мгновенного настроения. Вот почему, встретив вас, я почувствовал в вас ангельскую природу, я вдохнул воздух, благодетельный для моей пылающей

груди, я услышал в себе тот никогда не обманывающий голос, который предсказывал мне счастливую жизнь; но, видя также все барьеры, которые нас разделяют, я впервые понял предрассудки общества; я познал, как беспредельна их мелочность, и препятствия испугали меня больше, чем возбуждала возможность счастья; тотчас же я почувствовал ужасную реакцию, заставляющую мою пылкую душу замыкаться в самой себе. Улыбка, которая благодаря вам появилась на моих губах, внезапно превратилась в гримасу горечи, и я старался напускать на себя холодный вид в то время, как моя кровь кипела, возбужденная тысячью противоречивых чувств. Наконец, я снова узнал это грызущее чувство, к которому меня все еще не приучили двадцать три года подавленных вздохов и непризнанных излияний. И вот, Полина, взгляд, которым вы сообщили мне о моем счастье, внезапно обогрел мою жизнь и превратил несчастье в радость. Теперь я бы хотел, чтобы мои прежние страдания были еще более жестокими. Моя любовь внезапно обрела величие. Моя душа в одно мгновение стала огромной страной, в которой раньше не было благодетельного солнца, а ваш взгляд внезапно осветил ее ярким светом. Драгоценное мое Провидение! Вы будете всем для меня, бедного сироты, у которого нет других родственников, кроме дяди. Вы будете всей моей семьей так же, как вы мое единственное сокровище, как вы для меня — вселенная. Разве вы не отдали мне все блага земные этим целомудренным, чудотворным, застенчивым взглядом? Да, вы мне дали веру в самого себя и непостижимую смелость. Я могу теперь на все дерзнуть. Я вернулся в Блуа без всяких надежд. Пять лет занятий в Париже научили меня считать мир тюрьмой. Я постигал науки в целом, но не смел о них говорить. Мои идеи не могли быть обнародованы иначе, как под покровительством человека, достаточно смелого, чтобы выйти на подмостки прессы и громко говорить перед дураками, которых он презирает. Мне не хватало подобного бесстрашия. Я двигался, сломленный осуждением толпы, не надеясь, что она когда-нибудь меня выслушает. Я был и слишком низок и слишком высок! Я проглатывал собственные мысли, как другие проглатывают оскорбления. Я дошел до того, что стал презирать науку, укоряя ее в том, что она ничем не может содейст-

вовать подлинному счастью. Но со вчерашнего дня все во мне изменилось. Из-за вас я страстно пожелал пальмовых ветвей славы и всех триумфов таланта. Я хочу положить голову к вам на колени так, чтобы на нее устремились взгляды всего мира, я хочу вложить в свою любовь все идеи, придать ей все возможное могущество! Самую широкую известность может создать только мощь гения. И я могу, если захочу, устелить ваше ложе лаврами. Но если мирные похвалы науке вас не удовлетворят, у меня есть разящий меч слова, и я смогу быстро продвинуться по дороге почета и честолюбия там, где другие тащатся ползком. Приказывайте, Полина, я стану тем, кем вы захотите, чтобы я был. Моя железная воля может достичь всего. Я любим! Разве вооруженный такой мыслью мужчина не должен заставить все склониться перед ним? Все возможно для того, кто хочет всего. Будьте наградой за успех, и я завтра же выйду на ристалище. Чтобы завоевать такой взгляд, какой вы мне подарили, я перешагну через самую глубокую пропасть. Вы сделали понятными для меня баснословные подвиги рыцарей и самые причудливые рассказы «Тысячи и одной ночи». Теперь я верю в самые фантастические преувеличения в любви и в успех всех тех попыток, которые предпринимают заключенные, чтобы завоевать свободу. Вы пробудили тысячи способностей, дремавших во мне: терпение, примиренность, все силы сердца, все могущество души. Я живу вами и...— какая сладостная мысль! — ...для вас. Теперь все в жизни имеет для меня смысл. Я все понимаю, даже тщеславие богатства. Я мечтаю бросить все жемчужины Индии к вашим ногам; мне нравится воображать вас лежащей или среди самых красивых цветов, или на самых мягких тканях, и все сокровища земли кажутся мне едва достойными вас; для вас я хотел бы иметь власть распоряжаться музыкой ангельских арф и блеском звезд на небе. Бедный трудолюбивый поэт! Мои слова предлагают вам сокровища, которых у меня нет, в то время как я могу дать вам только мое сердце, где вы будете царствовать всегда. В нем все мои богатства. Но разве не являются сокровищем вечная признательность, улыбка, выражение которой будет бесконечно меняться от неколебимого счастья, постоянное стремление моей любви угадать желание вашей

любящей души? Разве небесный взгляд ваш не сказал нам, что мы можем всегда понять друг друга? Теперь каждый вечер я должен буду возносить к богу молитву, полную вами: дай счастье моей Полине! Но разве вы не наполните собой все мои дни, как вы уже наполнили мое сердце? Прощайте, я могу поручить вас только богу!

III

Полина! Скажи мне, чем я огорчил тебя вчера? Откажись от той гордости сердца, которая заставляет тайно претерпевать боль, причиненную любимым существом. Брани меня! Со вчерашнего дня какой-то смутный страх, что я оскорбил тебя, окутывает печалью жизнь сердца, которую ты сделала столь сладостной и столь богатой. Часто самая легкая вуаль между душами становится бронзовой стеной. Нет мелких проступков в любви! Если вы овладели духом этого прекрасного чувства, вы должны ощущать и все его страдания, и мы обязаны всегда заботиться о том, чтобы не оскорбить друг друга каким-нибудь неосторожным словом. Итак, мое драгоценное сокровище, вина тут несомненно моя, если вообще кто-нибудь из нас провинился. У меня не хватает гордыни притязать на понимание сердца женщины во всей глубине его нежности, во всей прелести его самопожертвования; я только постараюсь всегда угадывать цену того, что ты пожелаешь мне открыть из тайн твоего сердца. Говори со мной, ответь мне побыстрее! Ужасна печаль, в которую погружает нас сознание вины, она окутывает всю жизнь и заставляет сомневаться во всем! Сегодня я все утро сидел на обочине тропинки в овраге, смотря на башни Вильнуа и не смея подойти к нашей изгороди. Если бы ты увидела все то, что возникло в моей душе, какие печальные призраки прошли передо мной под этим серым небом, и его холодный вид увеличивал еще больше мое скорбное настроение! У меня возникли зловещие предчувствия. Я боялся, что не смогу дать тебе счастья. Нужно тебе все сказать, моя дорогая Полина. Бывают мгновения, когда меня словно покидает дух, которым я озарен. Силы мои словно уходят куда-то. Тогда все для меня становится тягостным, все фибры моего тела засты-

вают, каждое чувство размягчается, взгляд слабеет, язык немеет, воображение гаснет, желания умирают, и поддерживает меня одна лишь физическая сила. Даже если бы в этот момент ты была здесь во всей славе твоей красоты, если бы ты одаряла меня самыми чистыми улыбками и самыми нежными словами, пробудилась бы злая сила, она ослепила бы меня и самую пленительную мелодию превратила бы в беспорядочные звуки. В такие минуты — так мне по крайней мере кажется — передо мною появляется какой-то рассудочный дух, заставляющий меня видеть бездну небытия на дне самой богатой сокровищницы. Этот неумолимый дьявол косит все цветы, смеется над самыми нежными чувствами и говорит мне: «Хорошо, а что же дальше?» Он обесценивает самое прекрасное творение, вскрывая мне его основу, срывает покров с механизма вещей, пряча от меня гармонию, которую создает его работа. В эти ужасные мгновения, когда злой ангел завладевает моим существом, когда божественный свет меркнет в моей душе по неизвестной для меня причине, мне становится грустно и я страдаю, я хотел бы стать глухим и немым, я жажду смерти, видя в ней отдых. Эти часы сомнения и беспокойства, быть может, необходимы, они учат меня по крайней мере не гордиться теми порывами, которые уносят меня в небеса, где я полными пригоршнями черпаю идеи; и лишь после длительного полета по обширным просторам разума, после просветленных размышлений, обессиленный, утомленный, я низвергаюсь в преддверие ада. В такие моменты, мой ангел, женщина должна сомневаться в моей нежности или во всяком случае может в ней усомниться. Капризная порою, болезненная, грустная, она потребует сокровищ ласки и проницательной нежности, а у меня не найдется даже взгляда, чтобы ее утешить! Мне стыдно, Полина, признаться тебе, что тогда я смогу плакать вместе с тобой, но ничто не вырвет у меня ни одной улыбки. А между тем женщина находит в любви силы для того, чтобы скрывать свои горести. Для своего ребенка, для того, кого она любит, она умеет смеяться, страдая. Неужели ради тебя, Полина, я не смогу подражать женщине в этой возвышенной утонченности? Со вчерашнего дня я сомневаюсь в самом себе. Если я мог тебе не понравиться один раз, если я тебя не

понял, я боюсь, что мой роковой демон может увлечь меня за пределы нашей благостной сферы. Если у меня будет много этих ужасных мгновений, если моя бескрайняя любовь не сумеет искупить мрачные часы моей жизни, если я обречен остаться таким, какой я есть? Роковые вопросы! Могущество — это губительный дар, если все же то, что я в себе чувствую, это могущество. Полина, удали меня от себя, покинь меня! Я предпочитаю все страдания, все горести жизни мучительному сознанию, что ты несчастна из-за меня. Но, может быть, демон так сильно овладел моей душой, потому что около меня не было нежных белых рук, чтобы его отогнать? Никогда ни одна женщина не пролила на меня бальзама своих утешений, и я не знаю, не пробудятся ли в моем сердце новые силы, если в миг усталости любовь взмахнет крыльями над моей головой! Быть может, эти жестокие приступы грусти — просто следствие моего одиночества, страдание покинутой души, которая стонет и платит за свои сокровища неведомыми горестями. Легким радостям — легкие неприятности, огромному счастью — невыносимое страдание. Какая судьба! Если это правда, не должны ли мы трепетать от страха,— ведь мы так сверхчеловечески счастливы? Если природа отпускает нам все соответственно нашей ценности, в какую бездну должны мы упасть? Богаче всего одарены те любовники, которые умирают вместе в расцвете молодости и любви. Как это грустно! Не предчувствует ли моя душа печального будущего? Я исследую самого себя и спрашиваю, нет ли чего-нибудь во мне, что может принести тебе хоть малейшее беспокойство? Быть может, я люблю тебя эгоистично? Быть может, накладываю на плечи моей любимой более тяжелую ношу, чем та радость, которую дает твоему сердцу моя нежность? Если во мне существует какая-то непреодолимая сила, которой я повинуюсь, если я проклинаю, когда ты складываешь руки для молитвы, если какая-то печальная мысль давит меня, когда я хотел бы сесть у твоих ног и играть с тобой, как ребенок, разве ты не будешь ревновать к этому требовательному и причудливому духу? Сердце мое, понимаешь ли ты как следует, что я боюсь не быть целиком твоим, что я охотно отказался бы от всех скипетров, от всех пальмовых ветвей мира, чтобы сделать тебя моей вечной мыслью;

чтобы видеть в нашей пленительной любви прекрасную жизнь и прекрасную поэму; чтобы бросить в нее мою душу, отдать ей все силы и требовать у каждого часа тех радостей, которые он обязан тебе дать? И вот толпой возвращаются воспоминания о любви, облака печали рассеиваются. Прощай, я ухожу от тебя, чтобы еще больше принадлежать тебе. Дорогая моя душа, я жду одного слова, одного звука, который вернет мир моему сердцу. Я хочу знать, опечалил ли я мою Полину или какое-то неясное выражение твоего лица обмануло меня. После стольких счастливых часов я не хочу укорять себя в том, что я пришел к тебе без улыбки, сияющей любовью, без единого ласкового слова. Огорчить женщину, которую любишь, это преступление для меня, Полина. Скажи мне правду, не надо великодушной лжи, но не будь излишне жестокой, если прощаешь.

Отрывок

Можно ли считать счастьем столь всепоглощающую привязанность? Конечно, ибо разве годы страданий нельзя считать оплатой за один час любви? Вчера твоя едва ощутимая печаль скользнула через мою душу с быстротой мелькнувшей тени. Была ты печальна или страдала? Откуда эта печаль? Напиши мне побыстрей. Почему я сам не догадался об этом? Значит, мы еще не совсем соединились в мыслях. Я должен одинаково чувствовать твои горести и печали в двух или в тысяче лье от тебя. Я не поверю в свою любовь до тех пор, пока моя жизнь не сольется с твоей неразрывно, чтобы у нас была одна жизнь, одно сердце, одни мысли. Я должен быть там, где находишься ты, видеть то, что ты видишь, чувствовать то, что ты чувствуешь, и мысленно следовать за тобой. Разве не я первый узнал, что твоя коляска опрокинулась, что ты ушиблась? Но ведь в этот день я с тобой не расставался, я все время тебя видел. Когда мой дядя спросил меня, почему я побледнел, я сказал ему: «Мадмуазель де Вилльнуа только что упала». Так почему же вчера я не мог читать в твоей душе? Может быть, ты хотела скрыть от меня причину твоей печали? Но я догадался, что ты пыталась, хотя и неудачно, действовать в мою пользу, убедить в чем-то грозного Саломона

один вид которого леденит меня. Это человек не нашего неба. Почему ты хочешь, чтобы наше счастье, не похожее ни на чье другое, подчинялось законам света? Но я слишком люблю все бесконечные проявления твоей стыдливости, твою религиозность, твои суеверия и готов подчиниться любому мельчайшему твоему капризу. Все, что ты делаешь, должно быть прекрасно; нет ничего чище твоей мысли, красивей твоего лица, где отражается божественная душа. Я буду ждать твоего письма, а затем пойду навстречу сладостному мгновению, которое ты мне подаришь. Если бы ты знала, как я начинаю трепетать, едва завижу башенки, окаймленные светом луны, нашей подруги, нашей единственной наперсницы!

IV

Прощай, слава, прощай, будущее, прощай, жизнь, о которой я мечтал. Теперь, моя возлюбленная, вся моя слава в том, чтобы принадлежать тебе, быть достойным тебя; мое будущее — только в надежде видеть тебя; а разве моя жизнь не в том, чтобы быть у твоих ног, засыпать под твоим взглядом, дышать полной грудью в небесах, которые ты мне открыла? Все мои силы, все мои помыслы должны принадлежать тебе, тебе, сказавшей мне опьяняющие слова: «Я хочу пережить твои печали!» Отдавать часы — науке, идеи — миру, стихи — поэтам разве не значило бы похищать радости у любви, мгновения у счастья, чувства у твоей божественной души? Нет, нет, драгоценная жизнь моя, я хочу все сохранить для тебя, принести тебе все цветы моей души. Существует ли среди сокровищ земли и человеческого разума что-нибудь достаточно прекрасное, достаточно великолепное, чтобы вознаградить такое чистое, такое щедрое сердце, как твое, а я еще иногда осмеливаюсь соединять с ним мое сердце! Да, иногда я имею смелость верить, что могу любить так же сильно, как любишь ты. Но нет, ведь ты женщина-ангел; в выражении твоих чувств будет всегда больше очарования, чем в моих, больше гармонии в твоем голосе, больше чистоты в твоем взгляде. О, позволь мне верить, что ты существо более высокой сферы, чем та, в которой живу я; ты можешь гордиться тем, что покинула ее, а я — тем, что это заслужил; надеюсь, что ты

не раскаешься в том, что снизошла ко мне, бедному и несчастному. И если сердце, целиком принадлежащее женщине,— лучшее для нее убежище, ты всегда будешь владычицей моего сердца. Ни одна мысль, ни один поступок никогда не омрачит этого сердца, и оно останется драгоценным святилищем, пока ты удостоишь царить в нем; но разве ты не останешься в нем навсегда? Разве ты не дала мне пленительного обещания? И ныне и присно! Et nune et semper [1]. Я запечатлел под твоим портретом эти ритуальные слова, достойные тебя так же, как они достойны бога. Так и останутся эти слова «и ныне и присно и во веки веков», как и моя любовь. Нет, нет, мне никогда не исчерпать того, что огромно, бесконечно, беспредельно; таково и чувство, которое живет во мне для тебя, я постиг его неизмеримость, как мы постигаем пространство по размерам одной из его частей. Так я пережил невыразимые наслаждения, целые часы сладострастных размышлений, вспоминая какой-нибудь из твоих жестов или оттенок в какой-нибудь фразе. Значит, возникнут воспоминания, тяжестью которых я буду раздавлен, если даже мысль об одном часе нежной страсти вызывает у меня слезы радости, нежит, проникает в мою душу и становится неиссякаемым источником счастья. Любить — это жить, как живут ангелы. Мне кажется, что я никогда не исчерпаю наслаждение, которое испытываю, глядя на тебя. Это наслаждение самое скромное из всех,— хотя и для него никогда не хватает времени,— оно дало мне понять, что такое вечное созерцание бога, которому предаются серафимы и высшие духи; в этом нет ничего удивительного, если из его субстанции исходит свет, столь же богатый новыми чувствами, как сияние твоих глаз, твоего величавого чела, твоего прекрасного лица, небесного отражения твоей души. А душа — это наш двойник, чья чистая, неразрушимая форма делает любовь нашу бессмертной. Я бы хотел, чтобы существовал другой язык, а не тот, каким я пользуюсь, чтобы описать тебе постоянно расцветающие у меня в сердце наслаждения моей любви. Но, если уже существует язык, который мы создали, если наши взгляды — это ожившие слова, разве нам не нужно видеть друг друга, чтобы слы-

---

[1] И ныне и присно *(лат.)*.

шать глазами живые вопросы и ответы наших сердец, такие проникновенные, что ты мне сказала однажды вечером: «Молчите», когда я не говорил ни слова? Помнишь ли ты, драгоценная жизнь моя? Но разве я не вынужден пользоваться человеческими словами, слишком слабыми, чтобы передать божественные ощущения, когда блуждаю вдали от тебя, во мгле разлуки? Слова эти по крайней мере обнаруживают следы, оставшиеся в моей душе, подобно тому, как слово «бог» несовершенно выражает представление о таинственном начале начал. Кроме того, несмотря на мои знания и на обширные возможности языка, я никогда ничего не находил в этих выражениях, что могло бы изобразить тебе сладость того объятия, которое соединяет нас, растворяя мою жизнь в твоей, когда я думаю о тебе. И какими словами закончить письмо, если, перестав писать, я все равно не покидаю тебя? Что значит разлука, если это не смерть? Но разве смерть — разлука? Разве моя душа не сольется с твоей еще полнее? О моя вечная мысль! Прежде я на коленях предложил тебе мое сердце и всю мою жизнь; и разве теперь я смогу найти в душе новые цветы чувства, такие, каких я еще тебе не дарил? Это все равно, что послать тебе частицу тех сокровищ, которыми ты владеешь целиком. Разве не в тебе мое будущее? Как я жалею о прошлом! Я бы хотел отдать тебе все годы прошлого, над которыми я теперь не властен, чтобы ты царила над ними, как царишь сейчас над моей жизнью. Но какой смысл имело мое существование до того, как я узнал тебя? Оно было бы небытием, если бы я не был так несчастен.

Отрывок

Любимый мой ангел, какой пленительный вечер мы провели вчера! Какие богатства в твоем драгоценном сердце! Значит, и твоя любовь так же неистощима, как моя? Каждое слово несло мне новые радости, и каждый взгляд делал их еще глубже. Спокойное выражение твоего лица открывало бескрайний горизонт для наших мыслей. Да, все было бесконечно, как небо, и сладостно, как его лазурь. Прелесть твоего обожаемого лица отражалась, уж не знаю с помощью какого волшебства, в твоих милых движениях, в каждом легком жесте. Я хорошо

знал, что ты вся — обаяние и вся — любовь, но я не мог знать, до какой степени многолико твое очарование. Все соединилось, чтобы вызвать во мне страстные желания, чтобы побудить меня просить о первых милостях, в которых женщина всегда отказывает, несомненно, лишь для того, чтобы заставить возлюбленного похитить их у нее. Но нет, ты, драгоценная душа моей жизни, ты никогда не будешь знать заранее, сколько ты можешь дать моей любви, и все же будешь давать, быть может, не желая этого! Ты правдива, поэтому слушайся только своего сердца. Как сливается с ласковой гармонией чистого воздуха и спокойного неба нежность твоего голоса! Ни птичьего крика, ни дуновения; пустыня и мы! Неподвижная листва даже не трепетала, залитая восхитительными красками заката, в которых сочетаются свет и тени. Ты почувствовала эту небесную поэзию, ты, объединявшая столько разнообразных чувств, и так часто обращала взоры к небу, чтобы мне не отвечать! Ты, гордая и смеющаяся, скромная и деспотичная, целиком отдающаяся душой, мыслью, но ускользающая от самой робкой ласки. Драгоценная игра сердца: они еще звенят в моих ушах, еще кружатся, еще играют, эти пленительные, едва лепечущие, почти детские слова, которые не были ни обещаниями, ни признаниями, но давали любви прекрасные надежды без страха и без мучений. Какое целомудренное воспоминание на всю жизнь! Какой пышный расцвет всех цветов, рождающихся в глубине души; они могут увянуть от любого пустяка, но сейчас им все помогает пробуждаться и расцветать! Всегда будет так, не правда ли, моя любимая? Вспомнив утром свежие, живые, радостные чувства, приглушенно звучавшие в тот момент, я ощутил в душе счастье, которое заставило меня понять, что настоящая любовь — это океан чувств, вечных и всегда новых, и в него можно погружаться со все возрастающим наслаждением. Каждый день, каждое слово, каждая ласка, каждый взгляд должен отдать свою дань прошедшим радостям. Да, сердца, достаточно возвышенные, чтобы ничего не забывать, должны жить при каждом биении всеми пережитыми мгновениями счастья, как и всеми теми, которые им обещает будущее. Вот о чем я мечтал когда-то, и это перестало быть только мечтой. Разве я не встретил на земле ангела, который дал

мне познать все радости, чтобы вознаградить меня за то, что я перенес все страдания? Ангел неба ясный, я приветствую тебя поцелуем.

Я посылаю тебе этот гимн, вырвавшийся из моего сердца, я был обязан послать его тебе. Но он слишком несовершенно передает тебе мою благодарность и утренние молитвы, которые мое сердце каждый день посылает тебе, открывшей мне все евангелие сердца одним божественным словом: «Верьте!»

V

Как, сердце мое, больше нет препятствий?! Мы будем свободно принадлежать друг другу каждый день, каждый час, каждое мгновение, всегда! Мы сможем быть счастливы все дни нашей жизни, как теперь мы счастливы только украдкой, в редкие мгновения! Как! Наши чувства, такие чистые, такие глубокие, примут пленительную форму бесчисленных ласк, о которых я мечтал! Твоя маленькая ножка разуется для меня, и ты вся будешь моей! Это счастье меня убивает, подавляет. Моя голова слишком слаба, она разрывается под напором мыслей. Я плачу, смеюсь, я веду себя, как помешанный. Каждое удовольствие, как пылающая стрела, пронзает и жжет меня. В моем воображении ты появляешься перед моим восхищенным, отуманенным взором в бесчисленных и причудливых образах, созданных сладострастием. Наконец, вся наша жизнь здесь, передо мной, со своими бурными потоками, часами отдыха, радостями; она кипит, разливается, засыпает; затем просыпается молодой, свежей. Я вижу нас обоих вместе; мы идем одним и тем же шагом, живем одними мыслями, сердце к сердцу, мы понимаем друг друга, мы слышим друг друга, как эхо слышит и повторяет звуки через пространство! Можно ли прожить долго, пожирая каждое мгновение свою жизнь? Не умрем ли мы от первого объятия? И что это будет, если уже наши души слились в нежном вечернем поцелуе, отнявшем у нас все силы? Этот короткий поцелуй был развязкой всех моих желаний, бессильным посланцем всех молитв, вырвавшихся из моей души в часы нашей разлуки и спрятанных в глубине сердца, как угрызения совести. И я, который прятался в кустах, чтобы подслу-

шать твои шаги, когда ты возвращалась в замок, я смогу любоваться тобой сколько захочу, когда ты что-нибудь делаешь, смеешься, играешь, разговариваешь. Беспредельная радость! Ты и представить себе не можешь, какое блаженство я испытываю, когда вижу, как ты ходишь взад и вперед! Нужно быть мужчиной, чтобы постичь всю глубину этих ощущений. Каждое твое движение дает мне такое же наслаждение, какое чувствует мать, когда видит своего ребенка весело играющим или спящим. Очарование каждого твоего жеста всякий раз ново для меня. Мне кажется, что я готов целые ночи дышать твоим дыханием; я хотел бы неслышно войти во все дела твоей жизни, быть субстанцией твоих мыслей, быть тобой. Наконец-то я смогу никогда не покидать тебя! Никакое человеческое чувство не смутит нашу любовь, бесконечную в своих преображениях и чистую, как все, что едино; нашу любовь, широкую, как море, широкую, как небо! Ты моя! Вся моя! Теперь я смогу смотреть в глубину твоих глаз и видеть в них дорогую мне душу, которая то прячется, то открывает себя, и подстерегать все твои желания. Моя любимая, послушай о том, чего я еще не смел сказать тебе, но в чем могу сейчас признаться. Я ощущал в душе какой-то стыд, не дававший мне полностью выразить мои чувства, и я пытался облечь их в форму мыслей. Но теперь я хотел бы обнажить мое сердце, сказать тебе о всей пылкости моих мечтаний, раскрыть перед тобой кипящее честолюбие моих чувств, раздраженных одиночеством, в котором я жил, всегда пылающих ожиданием счастья, разбуженных тобой, нежностью твоих форм, привлекательностью твоих манер! Но разве можно выразить, как я взволнован в предчувствии неведомых наслаждений, которые дает обладание любимой женщиной, когда две души, тесно спаянные любовью, должны со всей силой отдаться неудержимому слиянию! Знай же, моя Полина, я целые часы проводил в оцепенении, порожденном силой моих страстных желаний, погружаясь в ощущение неведомой ласки, как падают в бездонную пропасть. В такие моменты вся моя жизнь, мои мысли, мои силы плавились и сливались в том, что я называю желанием, ибо у меня не хватает слов, чтобы выразить это несказанное опьянение. Теперь я могу тебе признаться, что в тот день, когда я, проявив жалкое

благоразумие, заставившее тебя сомневаться в моей любви, отказался взять твою руку, которую ты мне протягивала таким прелестным движением, у меня был один из тех припадков безумия, когда мужчина готов совершить убийство, чтобы овладеть женщиной. Да, если бы я почувствовал предложенное тобой пленительное пожатие так же живо, как звучал в моем сердце твой голос, я не знаю, до чего могла бы довести меня буря моих желаний. Но я могу молчать и долго страдать. Зачем говорить об этих печалях, когда мои видения скоро станут реальностью? Значит, мне дано будет всю нашу жизнь превратить в сплошную ласку! Дорогая, любимая, бывают такие отсветы на твоих черных волосах, что я готов был бы со слезами на глазах в течение долгих часов созерцать твой драгоценный облик, если бы ты не говорила мне, отворачиваясь: «Довольно! Мне же просто стыдно». Завтра о нашей любви узнают все! Ах, Полина, при мысли, что надо будет перенести взгляды посторонних, любопытство толпы, сердце мое сжимается. Поедем в Вилльнуа, будем жить вдали от всего. Я бы хотел, чтобы ни одно человеческое существо не входило в святилище, где ты станешь моей; я бы хотел, чтобы после нас оно больше не существовало, чтоб оно было разрушено. Да, я бы хотел спрятать от всего мира счастье, которое можем понять, почувствовать только мы двое и которое так безмерно, что я бросаюсь в него, чтобы умереть: это бездна. Не пугайся слез, оросивших это письмо: это слезы радости. Мое единственное счастье! Значит, мы с тобой никогда не расстанемся!

В 1823 году я ехал из Парижа в Турень на дилижансе. В Мере кондуктор посадил пассажира до Блуа. Введя его в ту часть повозки, где находился я, он шутливо сказал: «Вам здесь никто не помешает, господин Лефевр!»

Действительно, я был один.

Услышав это имя, увидев совершенно седого старика, который казался по крайней мере восьмидесятилетним, я совершенно естественно подумал о дяде Ламбера. После нескольких окольных вопросов я понял, что не ошибся. Добрый старик только что окончил сбор винограда в Мере и возвращался в Блуа. Я тотчас спросил у него о моем

прежнем «фезане». При первом же вопросе лицо старого ораториена, и без того серьезное и суровое, как лицо много перестрадавшего солдата, помрачнело и потемнело; морщины на лбу слегка углубились; он сжал губы, искоса поглядел на меня и спросил:

— Так вы не встречались с ним после коллежа?

— По чести говоря, нет,— ответил я.— Но мы оба одинаково виноваты, если забыли друг о друге. Вы же знаете, что молодые люди, покинув школьную скамью, ведут жизнь, настолько полную страстей и приключений, что им необходимо встретиться, чтобы понять, до какой степени они все еще любят друг друга. Все же иногда возникает в душе воспоминание детства, и, оказывается, невозможно забыть все, в особенности если дружба была такой тесной, как у меня и Ламбера. Нас даже прозвали «Поэт и Пифагор».

Я ему назвал свое имя; но как только он его услышал, его лицо еще больше помрачнело.

— Значит, вы не знаете его истории? — продолжал он.— Мой бедный племянник должен был жениться на самой богатой наследнице в Блуа; но накануне свадьбы он сошел с ума.

— Ламбер сошел с ума? — ошеломленно воскликнул я.— Каким образом? Ни у кого из тех, кого мне доводилось встречать, не было такой богатой памяти, такого блестяще организованного ума, такой проницательности суждений! Мощный дух, быть может, немного слишком увлеченный мистикой; но самое благородное сердце в мире. С ним, значит, случилось нечто совсем необыкновенное?

— Я вижу, что вы его хорошо знали,— сказал мне добряк.

От Мера до Блуа мы говорили о моем бедном товарище. Пришлось делать большие отклонения в сторону от основной нити событий, чтобы ознакомиться с некоторыми частностями, которые я уже сообщил читателю, чтобы факты из жизни моего друга предстали в той последовательности, которая может придать им интерес. Я рассказал дяде о наших тайных исследованиях, о том, что, в сущности, занимало его племянника; потом старик рассказал мне о событиях, происшедших в жизни Ламбера с тех пор, как мы расстались. По словам господина

Лефевра, у Ламбера появились некоторые признаки безумия еще до его женитьбы; но эти признаки не отличались от тех, какие встречаются у всех страстно влюбленных, а мне они показались еще менее характерными, когда я узнал силу его страсти к мадмуазель де Вилльнуа. В провинции, где идеи возникают редко, человек, полный новых мыслей, находящийся во власти одной системы, вроде Луи, мог прослыть самое меньшее чудаком. Его язык должен был удивлять тем более, чем реже он высказывался. Он говорил: «Этот человек не моего неба»— в тех случаях, когда другие говорили: «С ним каши не сваришь». У каждого талантливого человека есть свои особые выражения. Чем глубже гений, тем резче странности, определяющие разные ступени оригинальности. В провинции оригинальный человек всегда слывет полубезумцем. Первые слова господина Лефевра заставили меня сомневаться в сумасшествии моего товарища. Слушая старика, я внутренне относился к его рассказу критически. Самый серьезный случай произошел за несколько дней до свадьбы влюбленных. У Луи был очень характерный приступ каталепсии. В течение пятидесяти девяти часов он оставался неподвижным, устремив глаза в одну точку, не ел и не пил; это было то нервное состояние, в которое впадают некоторые люди, находящиеся во власти бурных страстей. Это явление редкое, но прекрасно знакомое любому врачу. Необыкновенно было только то, что у Луи до этого ни разу не было приступов этой болезни, хотя к ней предрасполагали и его привычка к экстатическим состояниям и сущность владевших им идей. Но его внешняя и внутренняя структура была настолько совершенна, что она могла долго выдерживать чрезмерное расходование душевных сил. Экзальтация, в которую его привело ожидание величайшего физического наслаждения, еще более усиленное целомудрием тела и силой души, наверное, и дала толчок к кризису, ни причина, ни следствия которого неизвестны. Случайно сохранившиеся письма очень хорошо показывают переход от чистого идеализма, в котором он жил, к самой обостренной чувственности. В свое время мы назвали замечательным это явление человеческой природы, в котором Ламбер усматривал случайное разделение наших двух основ и признаки полного исчезновения внутреннего существа,

использовавшего для этой цели свои неведомые свойства под воздействием какой-то еще не разгаданной причины. Эта болезнь — пропасть такая же глубокая, как сон,— имела прямое отношение к системе доказательств, которую Ламбер дал в своем «Трактате о воле». В момент, когда господин Лефевр говорил мне о первом припадке Луи, я внезапно вспомнил о разговоре, который у нас был на эту тему после чтения одной медицинской книги.

— Глубокое размышление, всепоглощающий экстаз,— сказал Луи в заключение,— это, быть может, каталепсия в зародыше.

В тот день, когда он кратко сформулировал эту мысль, он пытался связать между собой духовные явления цепью зависимостей, следуя шаг за шагом за всеми действиями разума, начиная с простых, инстинктивных, чисто животных движений, какими довольствуются многие люди, особенно те, кто целиком расходует все силы на механическую работу; затем он переходил к многообразию мыслей, к сравнению, обдумыванию, размышлению, созерцанию, наконец, к экстазу и каталепсии. Конечно, наметив таким образом различные ступени внутреннего могущества человека, Ламбер со всей наивностью юного возраста решил, что у него возник план прекрасной книги. Я вспоминаю, что благодаря случайности, заставляющей верить в предопределение, мы наткнулись на великий Мартиролог, где содержатся самые любопытные факты, говорящие о полном преодолении телесной жизни, что может быть доступно человеку, если его духовные силы достигают некоего пароксизма. Размышляя о следствиях фанатизма, Ламбер пришел к мысли, что те душевные движения, которым мы даем название чувств, вполне могли быть материальным потоком какого-нибудь флюида, который люди производят более или менее изобильно, в зависимости от способа, каким их органы поглощают животворящие субстанции в окружающей их среде. Мы страстно увлеклись каталепсией и с тем пылом, с каким дети относятся к своим предприятиям, старались переносить боль, думая о чем-нибудь другом. Мы изнуряли друг друга, делая некоторые эксперименты, уподобляясь припадочным прошлого века, религиозным фанатикам, чей опыт когда-нибудь послужит человеческой науке. Я становился Ламберу на живот и стоял на нем в те-

чение нескольких минут, причем он не испытывал никакой боли; но, несмотря на эти безумные попытки, припадка каталепсии у нас не произошло. Это отступление мне показалось необходимым, чтобы объяснить возникшие у меня спервоначалу сомнения, которые господин Лефевр полностью рассеял.

— Когда припадок прошел,— сказал он,— мой племянник погрузился в состояние глубочайшего ужаса, в меланхолию, которую ничто не могло рассеять. Он решил, что поражен бессилием. Я стал наблюдать за ним с заботливостью матери и успел остановить его в тот момент, когда он чуть не сделал самому себе ту операцию, которой Ориген приписывал возникновение своего дарования. Я поспешил увезти его в Париж, чтобы поручить заботам господина Эскироля. Во время путешествия Луи почти был все время погружен в дремоту и не узнавал меня. В Париже врачи объявили его неизлечимым и единодушно посоветовали оставить его в полном одиночестве, стараться не нарушать тишины, необходимой для его маловероятного выздоровления, а для этой цели поместить в прохладной комнате, где всегда царил бы полумрак. Мадмуазель де Вилльнуа, от которой я скрыл состояние Луи,— продолжал он, щуря глаза,— и свадьбу которой считали расстроившейся, приехала в Париж и узнала решение врачей. Тотчас же она пожелала увидеть Ламбера, который едва узнал ее; затем она решила, как это свойственно прекрасным душам, посвятить свою жизнь необходимым заботам о его выздоровлении. Она говорила, что была бы обязана все это сделать для своего мужа. Неужели же для возлюбленного надо делать меньше? И она увезла Луи в Вилльнуа, где они и живут вот уже два года.

Вместо того, чтобы продолжать путешествие, я вышел в Блуа с намерением увидеть Луи. Старик Лефевр потребовал, чтобы я остановился только в его доме, где он показал мне комнату своего племянника, книги и все принадлежавшие ему предметы. При виде каждой вещи из груди старика вырывалось скорбное восклицание, выдававшее и те надежды, которые возбудил в нем преждевременно созревший гений Ламбера, и ужасную скорбь непоправимой потери.

— Этот молодой человек знал все, сударь,— гово-

рил он, кладя на стол том, где заключались известные творения Спинозы.— Как такой замечательный ум мог свихнуться?

— Но, сударь,— ответил я,— не могло ли это быть следствием его исключительно мощной натуры? Если он действительно жертва еще не обследованного во всех отношениях кризиса, который мы называем «безумием», я готов считать причиной всего страсть. Занятия Луи, образ жизни, который он вел, довели его силы и способности до такого напряжения, что тело и дух его не выдержали бы и самого легкого дополнительного возбуждения: любовь должна была или сломать их, или поднять до необычных проявлений, на которые мы, быть может, клевещем, именуя их, так или иначе, без достаточного понимания. Наконец, может быть, он увидел в наслаждениях брака препятствие на пути совершенствования своих внутренних чувств и своего полета через духовные миры.

— О сударь,— ответил старик, внимательно выслушав меня,— ваше рассуждение очень логично, но даже если я в нем разберусь, то разве это печальное знание утешит меня в потере племянника?

Дядя Ламбера принадлежал к числу людей, живущих только сердцем.

На следующий день я уехал в Вилльнуа. Добрый старик сопровождал меня до окраин Блуа. Когда мы были на дороге, ведущей в Вилльнуа, он остановился и сказал мне:

— Вы понимаете, что я туда не хожу. Но не забудьте того, что я вам сказал. В присутствии мадмуазель де Вилльнуа не покажите виду, что Луи вам кажется сумасшедшим.

Он неподвижно стоял на месте, где я с ним расстался, и смотрел мне вслед, пока я не потерял его из вида. Я шел к замку Вилльнуа, охваченный глубочайшим волнением. Мои размышления углублялись при каждом шаге, который я делал по дороге, столько раз пройденной Луи, когда его сердце было полно надежды, а душа возбуждена любовными желаниями. Кусты, деревья, причудливые извивы тропинки, края которой были изрезаны мелкими оврагами,— все приобретало для меня необычайный интерес. Я хотел обрести здесь впечатления

и мысли моего бедного товарища. Несомненно, вечерние беседы на краю этой лощины, куда приходила к нему на свидание его возлюбленная, приобщили мадмуазель де Вилльнуа к тайнам этой благородной и богатой души, как когда-то, несколькими годами ранее, к ним приобщился я сам. Но наряду с руководившим мной почти благоговейным чувством больше всего занимал меня и вызывал во мне острое любопытство один факт — несокрушимая вера мадмуазель де Вилльнуа, о которой говорил мне добрый старик. Неужели она, в конце концов, заразилась безумием своего возлюбленного или же так глубоко проникла в его душу, что смогла постичь все его мысли, даже самые смутные? Я терялся перед этой изумительной загадкой чувства, оказавшегося сильнее самой вдохновенной любви, самого прекрасного самопожертвования. Умереть за другого — это почти обычная жертва. Жить, оставаясь верной единственной любви,— это героизм, принесший бессмертие мадмуазель Дюпюи. Великий Наполеон и лорд Байрон в любви своей имели преемников, но вдова Болингброка достойна восхищения. Однако мадмуазель Дюпюи могла жить воспоминанием о долгих годах счастья, в то время как мадмуазель де Вилльнуа, узнавшая только первые волнения любви, была для меня образцом самоотверженности в самом широком смысле этого слова. Сама почти впавшая в безумие, она достигла необычайной духовной высоты, но, понимая, истолковывая безумие, она добавляла к прелести своего великого сердца достойный изучения идеал страсти. Когда я увидел высокие башни замка, при виде которых так часто вздрагивал мой бедный Ламбер, сердце мое живо затрепетало. Я как бы приобщился к его жизни, к его положению, вспомнив все события нашей юности. Наконец, я дошел до большого пустынного двора, проникнул в вестибюль замка, никого не встретив. Шум моих шагов привлек пожилую женщину, которой я передал письмо Лефевра к мадмуазель де Вилльнуа. Вскоре та же женщина пришла за мной и ввела меня в низкую комнату с задернутыми шторами, выстланную черными и белыми плитами. В глубине этой комнаты я смутно увидел Луи Ламбера.

— Присядьте, сударь,— сказал мне нежный голос, доходивший до самого сердца.

Мадмуазель де Вилльнуа оказалась рядом со мной — а я этого и не заметил — и бесшумно принесла мне стул, которого я сначала не взял. Было так темно, что в первый момент мадмуазель де Вилльнуа и Луи показались мне бесформенными черными силуэтами, вырисовывавшимися в сумраке. Я сел во власти того чувства, которое охватывает нас помимо воли под темными сводами церкви. Мои глаза, еще ослепленные блеском солнца, только постепенно привыкли к этой искусственной ночи.

— Этот господин,— сказала она ему,— твой товарищ по коллежу.

Ламбер не ответил. Я смог наконец разглядеть его, и это было одно из тех впечатлений, которые навсегда врезаются в память. Он стоял, опираясь локтями на выступ, образованный деревянными панелями, так что спина, казалось, сгибалась под тяжестью его склоненной головы. Волосы, длинные, как у женщины, падали на плечи, обрамляя его лицо, что придавало ему сходство с бюстами великих людей эпохи Людовика XIV. Лицо же это было необыкновенно бледным. Он по своей привычке тер одну ногу о другую машинальным безостановочным движением; звук этого постоянного трения кости о кость был мучительным для слуха. Около него была моховая подстилка, положенная на доску.

— Он очень редко ложится,— сказала мне мадмуазель де Вилльнуа,— хотя каждый раз спит несколько дней подряд.

Луи стоял так, как мне довелось его видеть, день и ночь устремив глаза в одну точку, никогда не опуская и не поднимая век, как мы делаем обычно. Спросив у мадмуазель де Вилльнуа, не повредит ли Ламберу некоторое усиление света, с ее согласия я чуть-чуть отодвинул штору и смог увидеть выражение лица моего друга. Увы, это лицо уже покрылось морщинами, побелело, свет погас в его глазах, ставших стеклянными, как глаза слепца. Все его черты, казалось, судорожно вытянулись вверх. Я попытался несколько раз заговорить с ним, но он меня не услышал. Это был осколок человека, вырванный из могилы, победа жизни над смертью или смерти над жизнью. Я находился там примерно около часа, погруженный в какую-то необъяснимую задумчивость, во власти

тысячи скорбных мыслей. Я слушал мадмуазель де Вилльнуа, которая рассказывала мне все детали этой жизни ребенка в колыбели. Внезапно Луи перестал тереть ногу о ногу и медленно сказал:

— Ангелы — белые.

Я не могу объяснить, какое впечатление произвели на меня эти слова, звук любимого голоса, который я так мучительно жаждал услышать, уже перестав на это надеяться. Глаза мои наполнились слезами, и я тщетно старался их удержать. Невольное предчувствие промелькнуло в моей душе и заставило усомниться, что Луи потерял разум. Тем не менее я был совершенно уверен, что он меня не видит и не слышит; но гармония его голоса, казалось, выражавшая божественное счастье, придала этим словам непреодолимое могущество. Это было неполное раскрытие какого-то неведомого нам мира, но фраза прозвучала в наших душах, как некий изумительный колокольный звон среди глубокой ночи. Я больше не удивлялся тому, что мадмуазель де Вилльнуа считала Луи находящимся в здравом рассудке. Быть может, жизнь души поглотила у него жизнь тела. Быть может, подруга Ламбера была охвачена, как и я в тот момент, смутным ощущением иной, мелодической, вечно цветущей природы, которую мы называем *небом* в самом широком смысле этого слова. Эта женщина, этот ангел, всегда находилась здесь, сидя за пяльцами, и всякий раз, вытаскивая иголку, она грустно и нежно смотрела на Ламбера. Не в состоянии дольше выносить это ужасное зрелище, ибо я не мог, как мадмуазель де Вилльнуа, проникнуть во все его тайны, я вышел, и мы погуляли несколько минут, чтобы поговорить о ней и о Ламбере.

— Конечно,— сказала она мне,— Луи может показаться сумасшедшим, но он не сумасшедший, если слово «безумный» относится к тем, у кого по неизвестным причинам заболевает мозг и они не отдают себе отчета в своих действиях. В моем муже все координировано. Если он не узнал вас физически, не думайте, что он вас не видел. Ему удалось освободиться от своих телесных свойств, и он видит нас в другой форме, не знаю, в какой. Когда он говорит, то высказывает удивительные вещи. Но часто он лишь заканчивает словами мысль, возникшую в его душе,

или, наоборот, начинает какую-нибудь фразу, а заканчивает ее мысленно. Другим людям он кажется безумным; для меня, живущей в атмосфере его мыслей, все его идеи ясны. Я иду по дороге, проложенной его духом, и, хотя я не знаю всех ее поворотов, я все же надеюсь оказаться у цели вместе с ним. С кем не случалось множество раз, что он, размышляя о пустяках, приходил к очень важной идее через ряд представлений или воспоминаний? Часто, говоря о чем-нибудь малосущественном, невинной точке отправления какого-нибудь беглого размышления, мыслитель забывает или умалчивает об абстрактных связях, которые привели его к выводу, и продолжает говорить, показывая только последнее звено этой цепи размышлений. Обыкновенные люди, которым не свойственно столь стремительное движение мыслей и образов, не зная внутренней работы души, начинают смеяться над мечтателем, объявляют его безумцем, если для него обычны такого рода провалы памяти. Луи всегда такой: он с быстротою ласточки без конца летает в пространствах мысли, и я умею следовать за ним по всем ее извилинам. Вот история его безумия. Может быть, когда-нибудь Луи вернется к этой жизни, в которой мы прозябаем; но если он начал дышать воздухом небес раньше, чем нам дано будет существовать в них, почему должны мы хотеть, чтобы он очутился вновь среди нас? Я счастлива, слыша, как бьется его сердце, и все мое счастье в том, чтобы быть около него. Разве он не принадлежит мне целиком? За эти три года дважды он был моим в течение нескольких дней: в Швейцарии, куда я его возила, и в глубине Бретани, на острове, где он принимал морские ванны. Дважды я была очень счастлива! Я могу жить воспоминаниями.

— Но вы записываете слова, которые у него вырываются? — спросил я.

— Зачем? — ответила она.

Я промолчал, человеческая наука казалась ничтожной по сравнению с этой женщиной.

— В то время, как он начал говорить,— сказала она,— я, кажется, записала его первые фразы, но потом перестала это делать; я тогда в этом ничего не понимала.

Я взглядом попросил показать мне их; она меня поняла, и вот что мне удалось спасти от забвения.

I

На земле все является производным от эфирной субстанции, общей основы многих явлений, известных под неточными терминами: электричество, теплота, гальванический или магнетический ток и т. д. Все виды превращений этой субстанции и составляют то, что в просторечии называют материей.

II

Мозг — это сосуд, куда животное в соответствии с мощью этого органа переносит все, что может впитать из субстанции с помощью своих внешних чувств. Из мозга она исходит превращенной в волю. Воля — это флюид, присущий всякому существу, способному двигаться. Отсюда бесчисленные формы, которые принимает живое существо вследствие различных комбинаций с субстанцией. Его инстинкты рождены необходимостью, обусловленной средой, в которой оно развивается. Отсюда все разнообразие живого.

III

В человеке воля становится присущей ему силой, превосходящей в напряженности волю других видов животных.

IV

Воля зависит от субстанции, постоянно питаясь ею, находя ее во всех превращениях, проникая в нее мыслью, которая является особой производной человеческой воли в соединении с различными видами субстанции.

V

Мысль принимает бесчисленные формы, в зависимости от большего или меньшего совершенства человеческих органов.

VI

Воля проявляется через органы, которые обычно называются пятью внешними чувствами, но на самом деле сводятся к одному: способности видеть. Ощущение и вкус, слух и обоняние — это то же зрение, но приспособившееся

к измененной субстанции, которую человек может воспринять в двух состояниях: превращенном и непревращенном.

VII

Все вещи, попадающие благодаря форме в сферу единственного внешнего чувства — способности видеть,— сводятся к нескольким элементарным телам, основы которых находятся в воздухе или свете, или в воздухе и свете одновременно. Звук — это изменение воздуха; все цвета—это изменение света; всякий запах — это комбинация воздуха и света; таким образом, четыре аспекта материи в ее отношении к человеку: звук, цвет, запах и форма — одного и того же происхождения; ибо недалек тот день, когда все признают эту связь двух начал — света и воздуха. Мысль, которая рождена светом, выражается словами, рожденными звуком. В звуке все происходит, следовательно, от того вида субстанции, превращения которой различаются только числом, так сказать, дозировкой; пропорции этой дозировки и производят разнообразные индивидуумы или вещи в том, что именуется различными царствами природы.

VIII

Когда субстанция поглощена в достаточном количестве, она делает из человека инструмент огромной мощи, который входит в соприкосновение с самой основой субстанции и воздействует на природу, подобную большому потоку, поглощающему все мелкие. Когда волевой акт приводит в действие эту силу, независимую от мысли, тогда благодаря концентрации она обретает некоторые свойства субстанции, например, быстроту света, всепроникаемость электричества, способность насыщать тела, к чему надо прибавить способность понимать собственные возможности. Но в человеке есть нечто основное и всеподавляющее, что не поддается никакому анализу. Если человека расчленить на все составные части, то, может быть, можно будет найти элементы мысли и воли; но всегда обнаружится некое «х», которого нельзя объяснить, то самое «х», о которое я сам когда-то споткнулся. Это

«х» — слово,— оно сжигает и пожирает тех, кто не подготовлен к его восприятию. Оно и порождает субстанцию непрерывно.

IX

Гнев, как и все проявления наших страстей,— это поток человеческой силы, действующей, как электрический ток. Когда он прорывается, возникает сотрясение, которое действует на всех присутствующих, даже если они не являются ни объектом, ни причиной. Разве не встречаются люди, которые, осуществляя свое волнение. химически очищают чувства масс?

X

Фанатизм и все другие чувства — это живые силы. Эти силы у некоторых людей становятся потоками воли. которые объединяют и увлекают за собой все.

XI

Если пространство существует, то некоторые способности дают возможность преодолевать его с такой быстротой, что это равносильно уничтожению пространства. От твоей постели до границ мира всего два шага: воля — вера!

XII

Факты ничего не значат, они не существуют, после нас остаются только идеи.

XIII

Мир идей делится на три сферы: инстинкта, абстракции и ясновидения.

XIV

Большая часть доступного для наблюдения человечества — самая слабая его часть — живет в сфере инстинкта. Люди инстинкта родятся, работают и умирают, не поднимаясь до второй ступени человеческого ума — сферы абстракции.

XV

Сферой абстракции начинается общество. Если абстракция по сравнению с инстинктом — почти божествен-

ная сила, она становится бесконечной слабостью по сравнению с даром ясновидения; только с помощью ясновидения можно объяснить бога. Абстракция заключает в зародыше всю природу, хотя и менее очевидно, чем зерно, таящее в себе всю систему растения и его плодов. От абстракции родятся законы, искусства, деловые интересы, социальные идеи. Она и слава и бедствие мира. Слава она тем, что создала общество, бедствие тем, что освобождает человека от необходимости вступать в сферу ясновидения, через которую проходит одна из дорог к бесконечности. Человек судит обо всем по своим абстракциям: добро, зло, добродетель, преступление. Он взвешивает все на весах своих правовых формул, его правосудие слепо. Правосудие бога зрячее, и в этом все. Между царством абстракции и царством инстинкта неизбежно возникают промежуточные состояния, где инстинкт и абстракция смешаны в разнообразнейших пропорциях. У одних больше инстинктивного, чем абстрактного, и vice versa [1]. Кроме того, есть существа, в которых эти два действия нейтрализуются, так как управляют одинаковыми силами.

XVI

Ясновидение заключается в том, чтобы видеть предметы материального мира так же отчетливо, как и предметы мира духовного, во всех его разновидностях и последствиях. Самые прекрасные гении человечества — это те, которые покинули темную сферу абстракции и устремились к свету ясновидения. (Ясновидение — species — видение, спекулятивное мышление, умение видеть все сразу; speculum — зеркало или способ понять вещь, видя ее всю целиком.) Иисус был ясновидящим, он видел в каждом явлении его корни и плоды, прошлое, его породившее, его действие в настоящем, его развитие в будущем; взор Иисуса проникал в умственную жизнь других людей. Совершенство внутреннего зрения порождает дар ясновидения. Ясновидение порождает интуицию. Интуиция — это одна из способностей «внутреннего человека», следовательно, ясновидение — его свойство. Оно действует с помощью неуловимой чувствительности, не осознанной тем, кто ему подчиняется: Наполеон бессо-

[1] Наоборот *(лат.)*.

знательно уходил с того места, куда должно было попасть ядро.

XVII

Между сферами ясновидения и абстракции, так же как между сферами абстракции и инстинктивности, находятся создания, в которых различные свойства двух царств сливаются, производят смешанные существа: гениальных людей.

XVIII

Ясновидящий необходимо является самым совершенным выражением *человека*, кольцом, соединяющим видимый мир с внешними мирами: он действует, видит и чувствует своим внутренним существом. Абстрактивист думает, инстинктивист действует.

XIX

Отсюда три ступени для человеческого рода: инстинктивист ниже среднего уровня, абстрактивист находится на этом уровне, а ясновидящий выше его. Ясновидящий открывает человеку его истинный путь, в нем начинает пробуждаться бесконечность, и там он прозревает свою судьбу.

XX

Существуют три мира: естественный, духовный, божественный. Человечество проходит через естественный мир, который не остается незыблемым ни в своем существе, ни в своих проявлениях. Духовный мир незыблем в существе, но подвижен в проявлениях. Божественный мир незыблем и в существе и в проявлениях. Таким образом, существуют три культа: материальный, духовный, божественный, им соответствуют три формы, выражающиеся действием, словом, молитвой, иначе говоря, существуют факт, разумение и любовь. Инстинктивист ищет фактов, абстрактивист занимается идеями, ясновидящий видит конечную цель: он стремится к богу, ибо он его предчувствует или созерцает.

XXI

Так когда-нибудь обратный смысл выражения et Verbum caro factum est [1] будет кратким содержанием нового евангелия, которое заявит: «И плоть станет словом, и она станет словом бога».

XXII

Воскресение осуществляется ветром с небес, который взметает миры. Ангел, которого несет ветер, не говорит: «Мертвые, встаньте!» Он говорит: «Пусть встанут живые!»

Таковы те мысли, которым я с большим трудом придал формы, доступные нашему пониманию. У него были и другие, которые, не знаю, по каким причинам, Полина запомнила особенно отчетливо, их я записал; но они приводят в отчаяние разум, ибо, зная, какой гений их высказал, стремишься их понять. Я процитирую некоторые из них, чтобы закончить зарисовку этого образа. Может быть, их стоит процитировать еще и потому, что эти последние идеи лучше охватывают все миры, чем предыдущие, как будто применимые только к зоологическому миру. Но между этими двумя сериями фрагментов есть соответствие, очевидное для взора тех немногих людей, которым нравится погружаться в бездны такого рода идей.

I

Все на земле существует только в движении и числе.

II

Движение — это в какой-то мере действующее число.

III

Движение—это производная силы, рожденной словом и сопротивлением, что и является материей. Без сопротивления движение не имело бы результата, его действие было бы бесконечным. Всемирное тяготение Ньютона не есть закон, но следствие общего закона мирового движения.

---

[1] Слово станет плотью *(лат.)*.

IV

Между движением и сопротивлением возникает некое равновесие, которое и становится жизнью; как только одна из этих двух сил побеждает, жизнь прекращается.

V

Нигде движение не бывает бесплодным, повсюду оно порождает число, но, как в минерале, оно может быть нейтрализовано превосходящим по силе сопротивлением.

VI

Число, порождающее всяческое разнообразие, создает одновременно и гармонию, которая в своем самом высоком значении является связью между частями и единством.

VII

Без движения все было бы одним и тем же единством. Его производные, одинаковые в своей сущности, различаются только в числе, породившем его свойства.

VIII

Человек проявляется в свойствах, ангел — в сущности.

IX

Приобщая свое тело к элементарному действию, человеку, быть может, удастся приобщиться к свету своим внутренним миром.

X

Число — это разумный свидетель, присущий только человеку, благодаря которому он приходит к познанию слова.

XI

Есть число, которое нечистый не может переступить. Число, которым заканчивается творение.

XII

Единство — это отправная точка для всего, что было произведено; отсюда возникли сложные соединения, но конец их должен быть сходен с началом. Отсюда и выте-

кает формула спиритуализма: сложное единство, изменчивое единство и единство установившееся.

XIII

Вселенная — это разнообразие в единстве. Движение — это средство, число — результат. Конец — это возвращение всего существующего к единству, а это единство и есть бог.

XIV

Три и семь — два самых значительных числа для духовного мира.

XV

Два — это число, означающее размножение. Три—это духовный знак творения, так же как материальный знак окружности. Действительно, бог творил с помощью сферических линий. Прямая — это атрибут бесконечности; так человек, предчувствующий бесконечное, воспроизводит ее в своем творчестве.

Два—это число, означающее размножение. Три—это число, выражающее существование, включающее размножение и плод. Прибавьте четверицу, и вы получите семь, то есть формулу небес. Бог выше всего этого, он — единство.

После того как я еще раз повидал Ламбера, я расстался с его женой и оказался во власти идей, до такой степени противоположных общественной жизни, что я отказался, несмотря на обещание, вернуться в Вильнуа. Облик Луи произвел на меня неизъяснимо зловещее впечатление. Я побоялся снова оказаться в опьяняющей атмосфере, где экстаз казался столь заразительным. Каждый, как и я, мог почувствовать желание броситься в бесконечность, точно так же как солдаты во время лагерной стоянки у Булони убивали себя в укрытии, где один из них покончил с собой. Известно, что Наполеон должен был сжечь этот лесок, зараженный представлениями, дошедшими до состояния смертоносных миазмов. Может быть, в комнате Луи было то же самое, что в этом укрытии. Эти два факта являются доказатель-

ством его учения о передаче волевых импульсов. Я почувствовал необычайное волнение, превосходящее самое фантастическое воздействие чая, кофе, опиума, сна или лихорадки—таинственных возбудителей, столь ужасно влияющих на наш мозг. Быть может, я мог бы превратить в законченную книгу эти обрывки мыслей, понятные только для немногих умов, привыкших склоняться над краем бездны в надежде увидеть ее дно. Жизнь этого гигантского ума, который, несомненно, повсюду дал трещины, как слишком обширная держава, развернулась бы в повествовании о видениях этого существа, неполных из-за чрезмерной силы или чрезмерной слабости; но я бы предпочел просто отдать отчет в своих впечатлениях, вместо того чтобы создавать более или менее художественное произведение.

Ламбер умер двадцати восьми лет 25 сентября 1824 года на руках у своей подруги. Она похоронила его на одном из островов парка Вилльнуа. На его могиле стоит простой крест, высеченный из камня, без имени, без даты. Цветок, рожденный на краю бездны, должен был погибнуть безвестно, и никто не узнал ни его цвета, ни аромата. Как многие непонятые люди, он зачастую стремился гордо погрузиться в бездну, чтобы похоронить в ней тайны своей жизни! В то же время мадмуазель де Вилльнуа имела право написать на этом кресте имя Ламбера, присоединив к нему свое. Разве после смерти мужа эта единственная связь не была для нее единственной надеждой? Но тщеславие скорби чуждо верным душам. Замок Вилльнуа разрушается. Жена Ламбера не живет там больше, конечно, ради того, чтобы яснее видеть себя в нем издали такой, какой она была в то время. Разве не слышали все, как она говорила когда-то:

— Мне принадлежит его сердце, а богу — его гений.

Замок Сашэ. Июнь — июль 1832 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ФИЛОСОФСКИЕ ЭТЮДЫ

ЭЛИКСИР ДОЛГОЛЕТИЯ

Новелла «Эликсир долголетия» впервые была опубликована в «Ревю де Пари» 24 октября 1830 года. В 1831 году она вошла в первое издание «Философских романов и сказок». В 1846 году автор включил ее в пятнадцатый том «Человеческой комедии» (второй том «Философских этюдов»).

Фантастическая история о чудодейственном эликсире долголетия, обладателем которого стал богатый развратник, приобрела под пером Бальзака иронически острый антицерковный характер.

Герой новеллы дон Хуан Бельвидеро как своим именем, так и рядом характерных черт сближается с легендарным Дон-Жуаном. Но Бальзак дает новое осмысление этого образа. Его дон Хуан безудержен в удовлетворении своих прихотей и в то же время корыстен, расчетлив и лицемерен. За свои грехи он в противоположность легендарному Дон-Жуану не получает никакого возмездия. Напротив, церковь возвеличивает его, признает святым. Мерзкие ругательства и богохульства, которые изрыгает его ожившая от эликсира голова, толпа принимает за божественные откровения. «Дурак, вот и говори, что бог существует!» Это восклицание, которое служит концовкой новеллы, усиливает ее антицерковную направленность.

Стр. 17. *«...в сцене с господином Диманшем».*—Речь идет о сцене из комедии Мольера «Дон-Жуан», где Дон-Жуан ловкой лестью воздействует на своего кредитора.

ИИСУС ХРИСТОС ВО ФЛАНДРИИ

Рассказ впервые был напечатан в 1831 году в первом издании «Философских романов и сказок»; в 1836 году вошел в состав «Философских этюдов». В 1845 году рассказ был включен в первое издание «Человеческой комедии» (первый том «Философских этюдов»).

Легендарный сюжет, положенный в основу рассказа, служит Бальзаку для противопоставления двух миров: мира богатства, эгоизма, бессердечия и мира бедности, взаимной солидарности и человечности. Разные люди, оказавшиеся на барке, по мысли Бальзака, символизируют все общество, все его социальные слои. Каждый персонаж является олицетворением определенной социальной группы, воплощает тот или иной порок, ту или иную добродетель. Бальзак резко осуждает ничтожество, пустоту, душевное убожество знатных и богатых; о простых людях труда он говорит с большой любовью и глубоким уважением, только среди них находит он истинное человеческое благородство и достоинство.

Рассказ печатается под редакцией М. Н. Черневич.

Стр. 27. *Деборд-Вальмор*, Марселина (1785—1859) — французская поэтесса романтического направления, уроженка Фландрии (город Дуэ). Бальзак был дружен с Деборд-Вальмор и высоко ценил ее поэзию.

Остров Кадзант.— В настоящее время этот остров не существует: размыт морем в середине XVIII века.

КРАСНАЯ ГОСТИНИЦА

Впервые новелла была напечатана в 1831 году в августовских номерах «Ревю де Пари». В 1832 году она вошла в «Новые философские сказки» (издание Госселена). В 1846 году автор включил «Красную гостиницу» в пятнадцатый том «Человеческой комедии» (второй том «Философских этюдов»).

В новелле «Красная гостиница» показано начало карьеры банкира-убийцы Тайфера, выступающего в романах «Шагреневая кожа» и «Отец Горио».

Образ банкира Тайфера аналогичен ряду других героев «Человеческой комедии», идущих к вершинам богатства путем грязных махинаций и прямых преступлений.

Стр. 38. *Карем* — кулинар времен Бальзака.

Стр. 39. *Брийа-Саварен* (1755—1826) — автор книги «Физиология вкуса».

Стр. 70. *Фуа* (1775—1825) — наполеоновский генерал, во время Реставрации депутат парламента от либеральной партии.

Стр. 73. *Хацельдама* — «Поле крови» *(библ.)*.— Так называли поле, которое Иуда, согласно библейской легенде, купил за 30 сребреников, полученных им за предательство Иисуса Христа.

Стр. 74. *Дженни Динс* — героиня романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница».

НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР

В письме от 25 февраля 1867 года Маркс советует Энгельсу прочесть две повести Бальзака: «Неведомый шедевр» и «Прощенный Мельмот», «два маленьких шедевра, полных прелестной иронии».

Над «Неведомым шедевром» Бальзак работал в 1830 году. Впервые новелла была напечатана в 1831 году (31 июля и 6 августа) в журнале «Артист»; она была разделена на две части: «Мэтр Френхофер» и «Катрин Леско». Затем «Неведомый шедевр» был включен Бальзаком в третий том первого издания его «Философских романов и сказок». В 1845 году «Неведомый шедевр» вошел в пятнадцатый том «Человеческой комедии» (первый том «Философских этюдов»). В этом издании Бальзак датировал рассказ февралем 1832 года.

Действие в «Неведомом шедевре» отнесено к XVII веку, но проблемы искусства, поставленные автором, были актуальны и для времени Бальзака, времени формирования реализма, поисков новых путей во французской литературе и искусстве. Несомненно, что в новелле нашли отражение споры по вопросам эстетики, которые в начале 30-х годов разгорелись с особой остротой и силой. В «Неведомом шедевре» выражены некоторые заветные мысли и убеждения самого Бальзака относительно сущности искусства и задач художника.

В новелле показано, как стремление к высшему идеалу мастерства, направленное по ложному пути, превращается в поиски самодовлеющей совершенной формы, вступает в конфликт с подлинными возможностями творчества и становится гибельным и для произведения искусства и для его создателя.

Бальзак раскрывает пагубность для художника отрыва от действительности с ее запросами, ухода в «чистое искусство» в погоне за формой как таковой, глубокую опасность субъективизма в оценке художником своего творчества и его задач. Тем самым автор

«Неведомого шедевра» встает на борьбу за реализм в художественном творчестве.

Стр. 75. *Порбус.*— Франсуа Порбус-младший (1569—1622) — фламандский художник, который жил и работал в Париже.

Стр. 83. *Никола Пуссен* (1594—1665) — знаменитый французский художник.

Стр. 84. *Мабузе* — голландский художник Ян Госсарт (70-е годы XV в.— 30-е годы XVI в.), прозвище Мабузе получил по имени своего родного города.

ПРОЩАЙ!

Рассказ впервые был напечатан в газете «Мода» в 1830 году (15 мая и 5 июня) под названием «Воспоминания солдата. Прощай!». В 1832 году он был переиздан под новым названием «Долг женщины», во втором издании «Сцен частной жизни». В 1835 году Бальзак возвращается к первому варианту заглавия — «Прощай!» и включает рассказ в «Философские этюды». В 1846 году рассказ «Прощай!» печатается во втором томе «Философских этюдов» первого издания «Человеческой комедии».

Рассказ печатается под редакцией О. С. Лозовецкого.

Стр. 104. *Князь Фридрих Шварценберг* (1800—1852) — австрийский военачальник. Бальзак был с ним знаком; вместе с ним в 1835 году посетил долину Ваграма, где в 1809 году Наполеон разбил австрийские войска.

Депутат центра.— Представители центра — доктринеры — во французском парламенте во время Реставрации представляли интересы крупной буржуазии (конституционалисты-роялисты).

Стр. 107. *...вы беспощадны, как 304 статья Уголовного кодекса.*— 304 статья французского Уголовного кодекса присуждает убийцу к смертной казни.

Стр. 113. *...за одну из воспетых Оссианом дочерей воздуха...*— Оссиан — легендарный шотландский певец, живший, по преданию, в III веке н. э. Под его именем поэт Макферсон в 1762 году издал сборник своих поэтических произведений, написанных в романтическом духе.

Стр. 116. *Березина.*— Переправа через Березину в ноябре 1812 года — один из последних эпизодов разгрома наполеоновской армии в России. На западный берег Березины удалось переправиться лишь жалким остаткам армии Наполеона.

МЭТР КОРНЕЛИУС

При жизни Бальзака повесть «Мэтр Корнелиус» издавалась четыре раза. Первый раз она была напечатана в декабре 1831 года в журнале «Ревю де Пари». Повесть была разделена на три части: 1. «Церковные сцены в XV веке»; 2. «Колдун»; 3. «Кража сокровищ герцога де Бавьера». Второе издание повести вышло в 1832 году (она вошла в «Новые философские сказки»), третья глава в этом издании была разделена на две части, причем вторая из них была названа «Неведомое сокровище». В 1846 году Бальзак включил повесть в пятнадцатый том «Человеческой комедии» (второй том «Философских этюдов»).

В повести ясно выступают традиции «готического романа», «романа тайн и ужасов», которому писатель отдал дань в 20-е годы — период ученичества. Однако сквозь романтическую ткань уже видны некоторые черты бальзаковского реалистического метода, формировавшегося в начале 30-х годов: правдивость исторических деталей, глубина социально-философской проблематики, сочетающаяся с мастерством психолога, которое особенно сказывается в образах Корнелиуса и короля.

Основная проблема повести — роковая власть золота над человеком. Мэтр Корнелиус, средневековый коммерсант, сближается с образами современных Бальзаку тайных властителей французского буржуазного общества, подобных Гобсеку.

Стр. 171. *Имя св. Бавона странно подействовало на старого фламандца.*— Бавон — популярный во Франции святой, считавшийся покровителем Гента — родного города Корнелиуса Хугворста.

Стр. 184. *«Квентин Дорвард»* — роман Вальтера Скотта, в котором изображен двор Людовика XI.

ЛУИ ЛАМБЕР

Повесть «Луи Ламбер» впервые была опубликована в октябре 1832 года в «Новых философских рассказах» под первоначальным заглавием «Биографическая заметка о Луи Ламбере». В том же году она выходит отдельным изданием. Бальзак продолжает работу над повестью и в 1833 году печатает новый вариант под названием «Интеллектуальная история Луи Ламбера». В этом варианте добавлен раздел «Мысли Луи Ламбера».

В августе 1835 года в журнале «Ревю де Пари» печатаются «Письма Луи Ламбера из Парижа». Бальзак включает их в по-

весть, которая в новом, значительно расширенном варианте входит в 1835 году в состав «Мистической книги» («Луи Ламбер», «Серафита»).

В 1836 году «Луи Ламбер» печатается в «Философских этюдах». В 1846 году повесть была включена в первое издание «Человеческой комедии» («Философские этюды»).

Бальзак очень много работал над этим произведением и придавал ему большое значение. В письме к сестре Лоре Сюрвиль он писал в 1832 году: «Луи Ламбер» стоил мне большого труда! Сколько мне пришлось перечитать разных книг, чтобы написать эту повесть!». А в письме к Ганской Бальзак сообщал: «Эту книгу я написал для себя и немногих других».

В повести «Луи Ламбер» Бальзак хотел дать обстоятельное изложение своих философских воззрений, поставить вопрос о сущности и границах человеческого мышления, о психических процессах, происходящих в сознании человека.

Он писал Лоре Сюрвиль 20 июля 1832 года: «Биографическая заметка о Луи Ламбере — произведение, в котором я хотел помериться силами с Гете и Байроном, с «Фаустом» и «Манфредом».

Луи Ламбер — гениальный юный философ, в сознании которого все время происходит борьба между спиритуализмом и материализмом. Он воспринимает все многообразие действительности как проявление видоизменения одной и той же субстанции — материи: «На земле все является производным от эфирной субстанции, общей основы многих явлений, известных под неточными терминами: электричество, теплота, гальванический или магнетический ток и т. д. Все виды превращений этой субстанции и составляют то, что в просторечии называют материей» (стр. 308).

Луи Ламберу свойственно ошибочное, механистическое понимание мысли как вещественного результата — продукта поглощения субстанции — материи и переработки ее в мозгу человека.

Материалистические, подчас механистические взгляды Ламбера вступают в противоречие с его увлечением мистическими воззрениями Сведенборга, Сен-Мартена и других мистиков. Бальзак подробно излагает учение реакционного шведского философа-мистика Сведенборга, идеями которого он одно время интересовался. Сведенборг утверждал, в частности, возможность духовного существования человека вне зависимости от его физической, телесной жизни.

В «Луи Ламбере» Бальзак возвращается к проблеме, общей для многих его философских повестей. Он говорит о разрушитель-

ном действии мысли, о губительном воздействии маниакальной страсти, одной навязчивой идеи, способной убить человека, разрушить его. Так погибает Луи Ламбер — жертва чрезмерного развития самоанализа, рефлекторности, крайней обостренности всех чувств.

Бальзаку удается избежать психопатологии в рассказе о Луи Ламбере. Он правдиво раскрывает трагедию гениального человека в столкновении с меркантильным буржуазным обществом. В уста Ламбера писатель вкладывает резкое осуждение буржуазной цивилизации, утилитаризма и духовного убожества буржуазного общества.

Повесть «Луи Ламбер» содержит богатый и интересный автобиографический материал. Рассказ о юношеских годах Луи Ламбера — это рассказ о юности Бальзака, о годах его учения в Вандомском коллеже, о первых неудачных литературных опытах, об истории его умственного развития. Страницы, посвященные описанию Вандомского коллежа, лучшие в повести. Отмечая большую жизненную психологическую правду рассказа о детстве и ранней юности героя, художник Эжен Делакруа писал Бальзаку: «Позвольте мне в виде благодарности поделиться с Вами мыслями, пришедшими ко мне по поводу Вашего «Ламбера». Является ли Ламбер порождением Вашего мозга, или же он существовал в действительности,— в обоих случаях Вы равно являетесь его создателем... Я знавал Ламберов и характеры, подобные ему. Я сам был нечто вроде Ламбера, без его глубины, конечно, но что касается до очаровательных часов, которые ребенок проводит среди своих поэтических мечтаний, что касается до этой отчужденности, в которую он погружается посреди своего класса, уткнувши нос в книгу и делая вид, что слушает объяснения, в то время как воображение его путешествует и строит воздушные замки,— я знавал все это, как Вы, как Ваш Ламбер, как, осмелюсь сказать, все дети» [1].

Повесть печатается под редакцией Н. Я. Рыковой.

Стр. 208. *Ныне и всегда нежно любимой — посвящаю* — обращение к г-же Лоре де Берни (1777—1836) — первой любви Бальзака. До самой смерти г-жи де Берни Бальзак относился к ней с большой нежностью.

Стр. 209. *Ораторианец* — член религиозного общества Ораторианцев, основанного в Западной Европе в XVI веке и получив-

---

1 Яворская. «Романтизм и реализм во Франции в XIX веке». М. 1938, стр. 151.

шего свое название от ораторий — молитвенных домов. Ораторианцы имели много коллежей, пытались приспособить науку и философию к целям пропаганды католицизма.

Вандомский коллеж.— Здесь и далее Бальзак вспоминает свои ученические годы в Вандомском коллеже, где он пробыл с 1807 по 1813 год.

Г-жа де Сталь, Жермена (1766—1817) — французская либеральная писательница; автор романтических романов «Коринна» и «Дельфина»; выступала против диктатуры Наполеона, который изгнал ее из Франции. Госпожа де Сталь вернулась на родину лишь после падения Наполеона.

Стр. 212. *В качестве присягнувшего революции священника.*— В период французской буржуазной революции 1789 года священники обязывались принести присягу на верность республике и конституции; отказавшиеся от принесения присяги лишались права совершать богослужение.

Стр. 213. *Битва при Аустерлице.*— 2 декабря 1805 года под Аустерлицем в Моравии (Чехословакия) австрийская и русская армии потерпели поражение в сражении с Наполеоном.

Апокалипсис — одна из книг христианского «Нового завета», содержащая мистические «пророчества», рисующая ужасы и страшные бедствия, якобы предстоящие миру.

Стр. 214. *Г-жа Гюйон*, Жанна-Мария (1648—1717) — автор религиозно-мистических сочинений.

«Небо и ад» — основное произведение реакционного шведского философа-мистика Эммануила Сведенборга (1688—1772). Сведенборг утверждал, что будто бы существует невидимый мистический мир, населенный ангелами, которые занимают промежуточное положение между людьми и божествами.

Сен-Мартен, Луи-Клод (1743—1803)— реакционный французский философ-мистик. Воздействие философских взглядов Сен-Мартена на Бальзака проявляется в «Луи Ламбере» и «Серафите».

Жане, Жан-Батист (1755—1840) — французский поэт, увлекавшийся мистикой.

Стр. 215. *События 1814—1815 годов* — то есть отречение Наполеона I, первая Реставрация Бурбонов, период «Ста дней», когда Наполеон вновь вернулся к власти, и его вторичное отречение.

Стр. 216. *Конгрегация* — объединение католических монастырей, принадлежащих к одному и тому же ордену; во время Реставрации были важнейшими проводниками политической реакции.

Стр. 218. *Мэтр Жак* — персонаж комедии Мольера «Скупой», служивший своему хозяину Гарпагону одновременно и кучером и поваром; в переносном смысле — мастер на все руки.

Стр. 222. *Монкальм, Пико делла Мирандола, Паскаль* — крупные мыслители и ученые, выдающиеся способности которых проявились уже в очень раннем возрасте. *Пико делла Мирандола* (1463—1494) — итальянский гуманист, философ, поэт. *Паскаль*, Блэз (1623—1662) — французский философ, писатель, математик, физик, установил закон распространения давления в жидкостях (закон Паскаля).

Стр. 223. *Эпопея об Инках* — автобиографический эпизод, о котором упоминает в своих воспоминаниях сестра Бальзака, Лора де Сюрвиль. *Инки* — древнейший народ Мексики, уничтоженный испанскими завоевателями.

Стр. 224. *Пифагор* (ок. 580 — ок. 500 г. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, ученый-математик, считал числа сущностью всех вещей, в музыке и математике видел основное средство воспитания человека.

Стр. 232. *Гревская площадь* — площадь в Париже, на которой до Июльской революции 1830 года происходили публичные казни.

Стр. 234. *«Прокаженный из долины Аосты»* — роман реакционного французского писателя Ксавье де Местра (1763—1852), вышедший в 1811 году.

Стр. 238. *Якоб Бёме* (1575—1624) — немецкий мистик, утверждавший, что ему были видения потустороннего мира.

Стр. 239. *Кай Гракх* (153—121 г. до н. э.) — римский трибун, защищавший интересы народа.

Стр. 241. *Кювье, Жорж* (1769—1832) — французский естествоиспытатель, палеонтолог. На основании выведенного им закона соотношения частей организма животного Кювье по отдельным костям восстанавливал строение скелета ископаемых животных; отстаивал метафизическую теорию о неизменности видов в природе, выдвинул учение о геологических катастрофах, якобы объясняющих развитие животного мира.

Стр. 244. *Месмер*, Франц-Антон (1733—1815) — австрийский врач, получивший сенсационную известность своей антинаучной теорией так называемого «животного магнетизма».

Лафатер, Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский ученый, философ и богослов, автор псевдонаучной системы физиогномики, якобы определявшей характер человека по чертам его лица.

Галль, Франц-Иосиф (1758—1828) — австрийский врач и ана-

том, выдвинул антинаучную теорию — френологию — о якобы существующей связи между наружным строением черепа и умственными способностями человека и его характером.

Стр. 246. *Локк, Джон* (1632—1704) — английский философ-сенсуалист, автор книги «Опыт о человеческом разуме».

Стр. 248. *Биша,* Мари-Франсуа-Ксавье (1771—1802) — французский анатом, физиолог и врач.

Стр. 249. *Декарт.* Ренэ (1596—1650) — французский философ и математик. Слепой, бездоказательной вере Декарт противопоставлял разум. «Сомнение» было для Декарта исходным пунктом его философских рассуждений.

Стр. 254. *Оккультное орудие.*— Оккультизм — общее название лженаук о различных «таинственных силах» и «сверхъестественных свойствах» природы. К оккультизму относятся различные виды магии, гадания, спиритизм и т. д. Бальзак одно время увлекался оккультизмом.

Стр. 255. *Кардано,* Джероламо (1501—1576) — итальянский философ, математик, врач, увлекался мистицизмом, предсказал день своей смерти и фактически уморил себя голодом, чтобы оправдать предсказание.

Аполлоний Тианский — греческий философ-мистик (I в. н. э.).

Плотин (205—270 г. н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, последователь Платона, утверждал возможность познания бога в состоянии экстаза.

Стр. 272. *Лукулл* (106—56 г. до н. э.) — римский государственный деятель, прославился своими пирами, роскошью и богатством.

Бернар, Самюэль (1651—1739) — крупный финансист при Людовике XIV.

Божон, Никола́ (1718—1786) — крупный банкир, старался приобрести репутацию мецената и благотворителя.

Доведенная до бесконечности территориальная раздробленность...— Согласно Гражданскому кодексу, введенному Наполеоном в 1804 году, было уничтожено право первородства, то есть преимущественное право старшего сына нераздельно наследовать состояние отца. Право наследования получили все дети. Это вело к раздроблению земельных владений дворянства.

Стр. 278. *Шиваизм, вишнуизм и браманизм* — поклонение богам Шиве, Вишну и Брахме — верховной триаде индуистской религии (Тримурти — то есть троица).

Далее Бальзак говорит о развитии политеистических религий, то есть религий, основанных на поклонении нескольким богам.

Магизм — религиозная система, созданная в Мидии (VII в. до н. э.), в среде мидийского племени магов, которые одни имели право быть жрецами. Для магизма был характерен дуализм.

Мозаизм, или *маздеизм* — религия древних народов Малой Азии, основанная на дуалистическом культе доброго бога Мазды и бога зла Аримана.

Кабиризм — поклонение божествам плодородия кабирам. Культ кабиров был распространен в Малой Азии и оттуда пришел в Древнюю Грецию.

Конфуций (551—479 г. до н. э.) — по китайской традиции — мудрец, философ, основатель конфуцианства — религиозно-морального учения Древнего Китая. Идеология конфуцианства построена на культе предков, почитании монарха, родителей и старших.

Стр. 279. *Зороастр*, или Заратуштра — мифический пророк — реформатор древнеиранской религии, положивший, по преданию, начало религии маздеизма.

Моисей — библейский легендарный персонаж, вождь и законодатель древних евреев, считается основоположником религии иудаизма.

Мекка — священный город мусульман (магометан).

Стр. 281. *Левиты* — священнослужители у древних иудеев.

Стр. 282. *Палимпсесты* — в древности и во времена средневековья рукопись, написанная на пергаменте по смытому или соскобленному тексту.

Стр. 287... *пожелал пальмовых ветвей* — то есть захотел стать академиком. Парадные мундиры академиков украшены изображением пальмовых ветвей.

Стр. 301. *Великий Мартиролог* — список мучеников католической церкви, созданный по распоряжению папы Григория XIII. Опубликован в 1536 году.

Стр. 302. *Ориген* — богослов (конец II — начало III в. н. э.). Согласно легенде, он себя ослепил, чтобы, не вызывая пересудов, иметь возможность объяснять женщинам священные книги.

Стр. 303. *Спиноза*, Барух (1632—1677) — голландский философ, отвергал бога как творца природы, считая, что сама природа есть бог.

Стр. 304. *Мадмуазель Дюпюи* — верная подруга лорда Болингброка (1678—1751), английского политического деятеля, бывшего неоднократно министром.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

Философские этюды

Эликсир долголетия. *Перевод Б. А. Грифцова* 5
Иисус Христос во Фландрии. *Перевод Н. И. Столяровой* . 27
Красная гостиница. *Перевод Н. И. Немчиновой* 38
Неведомый шедевр. *Перевод И. Брюсовой* 75
Прощай! *Перевод Р. А. Гурович* 104
Мэтр Корнелиус. *Перевод М. Ф. Мошенко* 146
Луи Ламбер. *Перевод Г. В Рубцовой* 208

Примечания 317

ВАЛЬЗАК
Собрание сочинений
в 24 томах. Том XIX.

Редакторы тома:
О.С. Лозовецкий, М. Н. Черневич,
Н. Я. Рыкова.

Иллюстрации художника
П Н. Пинкисевича.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 1/X 1960 г. Тираж 349 000 экз. Изд. № 1612. Зак. 2125.
Бум. л. 5,12. Печ. л. 7,56 + 2 вкл. (0,2 п. л.). Уч.-изд. л. 17,92.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.